



Вячеслав Яковлевич Шишков

Емельян Пугачев, т.1

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174084
В.Шишков Емельян Пугачев, т.1: Эксмо; Москва; 1998
ISBN 5-04-001163-6*

Аннотация

Жизнь, полную побед и поражений, хмельной вольной любви и отчаянной удали прожил Емельян Пугачев, прежде чем топор палача взлетел над его головой. Россия XVIII века... Необузданные нравы, дикие страсти, казачья и мужичья вольница, рвущаяся из степей, охваченных мятежом, к Москве и Питеру. Заговоры, хитросплетения интриг при дворе «матушки-государыни» Екатерины II, столь же сластолюбивой, сколь и жестокой. А рядом с ней прославленные государственные мужи... Все это воскрешает знаменитая эпопея Вячеслава Шишкова – мощное, многокрасочное повествование об одной из самых драматических эпох русской истории.

Содержание

Книга первая	5
Часть первая	5
Глава I	5
1	5
2	6
3	8
4	9
5	12
6	13
7	15
8	18
Глава II	21
1	21
2	23
3	25
4	27
Глава III	33
1	33
2	35
3	38
4	40
5	42
6	43
7	43
Глава IV	45
1	45
2	46
3	47
4	48
5	51
Глава V	53
1	53
2	56
3	58
4	59
5	61
Глава VI	64
1	64
2	65
3	66
4	68
Глава VII	69
1	69
2	71
3	74
4	78

5	80
Глава VIII	82
1	82
2	83
3	86
4	89
5	90
6	92
Глава IX	93
1	93
2	95
3	97
Глава X	100
1	100
2	102
3	103
Глава XI	105
1	105
2	107
3	109
4	111
Глава XII	113
1	113
2	115
3	117
4	120
Глава XIII	122
1	122
2	125
3	127
4	129
Глава XIV	131
1	131
2	132
3	133
4	136
5	137
Глава XV	138
1	138
2	141
3	142
4	144
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Вячеслав Шишков Емельян Пугачев, т.1

Книга первая

Часть первая

Глава I

Казак Пугачев. Сражение при Гросс-Эггерсдорфе

1

Казак Емельян Пугачев родился в Зимовейской станице Войска Донского. Родители его жили в бедности, занимались хлебопашеством.

Емельян – парнишка озорной, любил драки, преотлично воровал на бахчах арбузы, лихо ездил без седла, умел попеть и поплясать. Отец его, Иван Пугач, да и старики-станичники говорили ему:

– Ну, Омелька, казак из тебя добрый будет... Расти, брат! Турку бить пойдешь...

– Я в Запорожье утеку, в Сечу, – отвечал парнишка, поблескивая темными, большими, чуть раскосыми глазами.

До их станицы иным часом долетали кой-какие вести об удивительных воинственных людях, живущих по Днепру, – на островах Хортице и Тамаковском да по речке Подпильной.

Как-то в летнюю пору Емельян со сверстниками забрался на островок, что против их родной станицы.

– Запорожцы! – кричал он детворе. – Тут Запорожская Сеча будет у нас. Вали все добро в кучу. Оно общее. А я кошевой атаман – Омелька Грозный... Ежели кто украдет – того на раду, на суд, камень к ногам да в воду... Во как у нас!

Ребята складывали в кучу сухари, лепешки, яйца. Васька-сосед баклагу пива притащил, Ерошка – одноглазого живого петуха (привязали за ногу к тачке). У всех луки, стрелы, копья, деревянные сабли.

Гостила о ту пору в Зимовейской, у своей тетки, ледащенькая девчонка из соседней станицы Есауловской. Мальчишки и ее уманили с собой, хотя Омелька знал, что в настоящую Сечу бабам впуску нет.

Соньке он сделал снисхождение.

По приказу атамана она остригла ему овечьими ножницами голову, оставив только на темени клочок волос – чуприну.

– Оселедец зовется, – пояснил Омелька Грозный. Он наклеил себе из конского хвоста запорожские усищи, взял в руку палку с воткнутым на конце зеленым яблоком. – Это покацак буздыхан зовется, булава. Кто меня не станет слушать, чалпан долой с плеч.

Одноглазый петух то и дело распевал ку-ка-ре-ку, а к вечеру, когда запорожцы проголодались, певуну оттяпали голову, ощипали его. Костер горел ярко, от котла с петухом вкусный пар валил. Запорожцы наелись, стали пить пиво. Хотя пива было маловато, но все по казакским обычаям притворились пьяными, ходили по острову в обнимку, пели песни. Васька дернул Соньку за косичку. Сонька закричала, смазала Ваську ложкой по щеке, тот заплакал и дважды ударил девчонку кулаком в нос. Девчонка замотала головой и тоже заплакала.

Из кустов выскочил атаман Грозный.

– Эге-ге... Соньку забижать? Ладно... – Он созвал всех на раду, в круг, взял булаву с объединенным кем-то яблоком.

Васька присужден был к розгам. Спустили с него штаны и дали дерку.

– Плакать не моги, а то камень к ногам да в воду...

Сонька торжествовала. С умилением она посматривала на длинноусого запорожца, защитника своего, атамана Грозного.

– Сеча, спать! – приказал Емельян. – А чуть тревога, все вскакивать. Сей ночи будем брать в полон Царьград с турецким султаном. А встретятся молоденькие туркини – тоже хватай в нашу Сечу. На хорошеньких поженимся...

Сонька сразу сникла и надулась. Исподлобья посматривая на Емельку, она сказала:

– Дурак стриженный. Баран! Вот уж-ужо матке скажу, она те вздует... И про петуха скажу.

– Геть, замолчь! – прикрикнул атаман, закурил батькину с тютюном люльку, заплевался, закашлялся. – Ну, старики-станишники, – обратился он к детворе, – теперь по своим куреням и спать.

Ночью раздалась тревога. Сонька со всех сил колотила палкой в котел. Емельян свистал и гикал:

– Гей, Сеча!.. Все на конь... В поход, куренные атаманы – молодцы! Постоим за веру православную! Айда Царьград воевать.

Через час они уже были на бахче. Им удалось связать пасечника, древнего дедку Наума. Он был сильно пьян, тарачил глаза на свору ребятишек, мычал, плевался. Омелька Грозный командовал:

– Хорошень вяжи султана!.. Стой за правую веру! Срезай кавуны, которые поядреней.

А утром всю «запорожскую сечу» больно пересекли вицами родители. Омельке Грозному досталась особо жаркая пареха: и за несусветное озорство, и за стриженую, как у худой овцы, башку. Попало и Соньке от тетки ее.

Через десять лет девчонка выросла. Возмужал и Емельян. Их поженили. С той поры Сонька стала Софьей Дмитриевной Пугачевой.

Но прошла веселая неделя, и сердце Софьи из жарких ночей упало прямо в ледяную стужу: Емельяна угнали в Пруссию, отдав под начало полковника Ильи Денисова, походного атамана донских полков.

2

Русское воинство под водительством главнокомандующего, старого графа Апраксина, покинув Польшу, с весны 1757 года, отряд за отрядом, стало вступать в пределы Пруссии. Телеги, арбы, таратайки растянулись на многие версты (во всей армии было до тридцати тысяч подвод).

Проехав Польшу с грязнейшими дорогами и бедным населением, Емельян Пугачев заметил, что пошли места, совсем отменные от польских. Теперь попадались чистые, хорошо построенные селения, мощенные камнем, обсаженные деревьями хорошие дороги, прочные мосты. Всюду исправный порядок, довольство. Жители не бежали от русских, а сидели в своих домах; женщины выносили солдатам свежую воду, квас, а иногда и хлеб да парочку яиц. Словом, русское войско двигалось как будто по дружеской стране. Пугачева это удивляло.

Он не понимал, как не понимало и большинство солдат, из-за чего идет война. Правда, в праздничные дни, когда служили в походных церквах обедни, полковые священники в проповедях призывали проливать кровь свою и вражью во имя Божие, обещая царство небес-

ное за доблестную смерть на поле брани. А за что проливать кровь – об этом проповедники помалкивали. Начальство тоже пыталось иногда объяснить, раздавало манифесты, царицыны разные указы, но толку было мало. Пугачев спрашивал хорунжих, есаулов, те в один голос отвечали: «По указу ее императорского величества государыни Елизаветы».

Семилетняя война имеет свою, довольно сложную историю. Она была продолжением войны за так называемое «Австрийское наследство»¹. Король прусский Фридрих II, одаренный стратег, был политиком ловким, лишенным совести и благопристойности. Он, не стесняясь, говорил:

– Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имели все права на занятую территорию.

Руководствуясь этим правилом, он возмечтал захватить часть земель своей союзницы Австрии, где была королевой Мария-Терезия.

Незадолго до войны Фридрих был союзником Франции и врагом Англии, находившейся в жестокой колониальной войне с Францией. В то же время Россия состояла в давнишнем дружественном союзе с Австрией и в деловом договорном соглашении с Англией. Но воинственный Фридрих разом разрушил политическое равновесие Европы, существовавшее десятки лет. И вышло так, что путем интриг и темных комбинаций союзница России Англия, к немалому возмущению русского двора, перешла на сторону своего старого врага Пруссии, а Франция, уstraшенная ростом прусского военного могущества и оскорбленная вероломством своего бывшего союзника Фридриха, переметнувшегося на сторону Англии, объявила себя защитницей Австрии. Россия, опасаясь захватнической политики Фридриха II, высказала свое непреклонное намерение оставаться верной своей союзнице – Австрии.

Таким образом, нарушив свои прежние взаимоотношения, европейские державы разбились на два враждующих лагеря: против Пруссии и Англии оказались три великие державы – Россия, Франция, Австрия. А вскоре к ним примкнула еще и Швеция.

Фридрих II никак не ожидал, что Россия ввяжется в эту войну. Правда, он был невысокого мнения о русской армии. «Москвитяне суть дикие орды, – говорил король, – они никак не могут сопротивляться моим благоустроенным войскам».

Тем не менее, видя перед собой столь грозную коалицию, он несколько опешил.

Он имел под ружьем двести тысяч войска, против него шло триста. Однако надежда была на то, что пока русский медведь соберется с силами и выползет из своей берлоги, он, Фридрих, успеет по отдельности разгромить своих врагов. Чтоб ослабить русских, он мечтал поднять против них турок и устроить в Петербурге дворцовый переворот. Но Турция, не подготовленная к войне, наотрез отказалась ссориться с Россией. В перспективе оставался Петербург.

Фридрих знал, что русская императрица Елизавета к нему издавна питает отвращение, зато был почти уверен, что великий князь, голштинiec Петр, считавший себя вечным подмастерьем Фридриха, окажет ему помощь. С женой Петра – Екатериной, немкой по природе, пожалуй, тоже можно варить пиво. Если в ней расщекотать тщеславие, если обольстить ее призраком короны, она может оказаться в числе его клеветов. Да, да, он опутает Россию сетью всяческих интриг и затем на поле брани поставит эту державу на колени!

Итак, подкуп, интриги, шпионаж – вот верные союзники Фридриха II.

В это время при русском дворе состоял в качестве английского посланника молодой, образованный, энергичный и ловкий сэр Уильямс. Он сразу же стал агентом Фридриха и, тонко маскируясь, начал действовать во вред российским интересам.

¹ 1740—1748 гг.

3

Уже стоял конец июня, но погода все еще холодная, трава чуть-чуть пробивалась, свежего корма лошадям не было, покупали овес и сено. Поэтому кавалерийские отряды часто посылались за фуражом по окрестным селениям и поместьям, платили за фураж наличными, все шло как не надо лучше.

Но вскорости случилась пренеприятная оказия. Был выслан на разведку отряд в полтысячи сабель драгунского полка, чугуевских и донских казаков. Отрядом командовал легкомысленный французик Де-ла-Рю. Проехав два десятка миль и не видя неприятеля, майор заключил, что неприятель сидит еще очень далеко, где-то у черта на куличках. В деревне Кумелен он вольготно расположился с отрядом на бивак, стал гулять и пить, а глядя на него, стал бражничать и весь его отряд. Вдруг – тревога: «Неприятель, неприятель!» Бражники носились по деревне, ловили коней, кричали. Пьяный майор, раскачиваясь в седле, мчался вдоль улицы, махал саблей, орал пронзительно: «За деревню! Стройся... Сабли вон!...»

И не успели еще драгуны как следует построиться, как увидели мчащихся на них желтых и черных прусских гусаров. Казаки с флангов ударили на неприятеля, стараясь превеликим гиканьем и криком устроить врага. Но прусские гусары не робкого десятка – они дали по казакам два хороших из пистолетов залпа, казаки повернули коней и врассыпную – наутек, гусары устремились прямо на русских драгунов. Те опрометью, без выстрела, поскакали по полям. Неприятель, «сидя на плечах» драгунов, гнал их через две деревни, пока с русской стороны не подоспел сикурс. Наших убито было шестьдесят человек, двадцать шесть захвачено в плен, у неприятеля оказалась сраженною одна лошадь.

Восемнадцатилетний Емельян Пугачев получил в этой стычке первую боевую закалку. Красный, чубастый, весь как кипятилок, он кричал на своих: «Так-то вы, дьяволы, воюете?!» Свои посылали его к черту, трясали бородами, обзывали «щенячьей лапой».

Постыдное бегство наших произвело на армию угнетающее впечатление: стало быть, враг силен, а мы слабы. Фельдмаршал, рассвирепев, разжаловал майора Де-ла-Рю в солдаты, а вахмистра его команды Дрябова, отличившегося храбростью, произвел в поручики.

Вскоре через понтонные мосты были переброшены из-за реки Прегель и остальные части армии вместе с главной квартирой фельдмаршала Апраксина. Пучеглазый, внушительного телосложения, тучный и обрюзгший, фельдмаршал ехал в богатом, с графскими гербами, экипаже вместе с двумя собачонками – кудлатой и облезшей, за ним на двадцати пяти трехконных рыдванах следовало его личное имущество и штат прислуги – повара, лакеи, камердинеры, два куафера, негр, священник и портной, везли походную церковь, несколько палаток, кухню, погреб вин. Было похоже, что это передвигается не главный полководец, которому вверено стотысячное воинство, а знатный вельможа совершает от безделья пышное путешествие по европейским странам. Глядя на эту обременительную для армии канитель, солдаты горестно шептались у костров.

На последнем апраксинском возу, набитом ящиками с бакалеей и всяческими сладостями, сидел юркий, плутоватый человек, лакей не лакей, а доверенный Апраксина – некий Барышников, держал золотую клетку с попугаем. Пугачев тут как тут, трясется на лошаденке рядом с возом и все посматривает на невиданную птицу, все посматривает. Птица серая, нос крючком, на голове красный хохолок, а на клетке золоченая княжеская корона. А попугай молчал-молчал, да и прогнусил казаку по-человечьи:

– Здравья желаю, ваше величество!

Пугачев, вытаращив глаза, скакнул с лошаденкой в сторону, схватился за шапку.

– Вот это птаха, – сказал он, оправившись, и вновь подъехал к возу. – Дядька, а как твоя птаха зовется?

– Попугай.

– А пошто ж ее пугать?

– Бестолочь! Название у ей такое – попугай. А ты кто и по какой причине здесь око-
лачиваешься?

– Нам приказано господину фельдмаршалу палатку ставить...

В это время попугай отчетливо залопотал:

– Пушка, пушка... Баталия.

У Пугачева зашевелились на затылке волосы, он мысленно перекрестился и подумал:
«Ну и чертова птичка... Не иначе – оборотень».

Хмурым взором он окинул растянувшийся на версту фельдмаршальский обоз, взглянул на пару жирных окороков, висевших на перекладине последнего воза, ему страшно захотелось есть, а брюхо его с непривычки болело от незнаемой в России картошки... Он запальчиво крикнул Барышникову:

– А вы, должно, с графом на свадьбу к Фридриху собрались. Гляди, он вас женит! – и, стегнув лошаденку, помчался с дороги в лес.

На днях был занят без боя чистенький городок Гумбинен и несколько селений. В конце июля произошла вторая стычка казаков с отрядом неприятеля. На этот раз казаки опрокинули пруссаков и загнали их в болото. Пугачев впервые окровавил тут свою саблю, был этим счастлив, чувствовал себя как под хмельком. Да и вся армия приободрилась: стало быть, пруссаки тоже умеют казать спины.

4

Время проходило в мелких стычках. Войска двигались в боевом порядке, всяк находился в своей части, и Пугачеву нельзя было слоняться где попало.

В середине августа войска снова переправились через реку Прегель, вышли на Гросс-Эггерсдорфское поле. Вся русская армия расположилась на прекрасном, хорошо укрепленном природою месте. Так, по крайней мере, казалось военачальникам.

Место это представляло собой возвышенную равнину, версты две длиной, около версты шириной. Сзади – с обрывистыми и крутыми берегами река, ограждающая тыл армии, впереди – неширокая, в полторы версты, полоса непролазного леса, подошедшего справа к самой реке, а с чет- вертой стороны, слева – огромный и глубокий буерак. Из этого места было лишь два выхода: справа – небольшая прогалина между лесом и рекой, слева – проход в четверть версты между лесом и буераком. Стотысячная армия расположилась тылом к реке, фронтом к лесу, а за полосой леса простиралось обширное Гросс-Эггерсдорфское поле.

О неприятеле ни слуху ни духу. Как будто его и нет. Разбив палатки, армия проводила время в праздности.

Но Пугачев не дремал, для него безделье хуже смерти. Он еще в Польше познакомился со старым бомбардиром Павлом Носовым. Пожилой, но крепкий еще вояка полюбил веселого и дотошного казака, который о всем любопытствовал: как устроена пушка, как ее наводят, как из нее палят. Да не только о всем этом любопытствовал, а и выказал тут же на глазах бомбардира большую в обращении с оружием сметливость.

Вот и теперь вдвоем сидели они возле потухшего костра. Емеля подтачивал прорезь в пушечном запале, пел донские песни, старик чинил штаны. Только что выстиранные подштанники бомбардира сушились на шесте, голые ноги его волосаты, тощи, в левой икре выхвачен осколком гранаты кусок мускула, давнишняя рана затянута синеватой кожей.

– Конечно, место доброе, оборониться можно, – сказал Носов, – только командиры наши не вовсе хороши... Надо бы чрез лес дороги ладить к полю, а мы вот с тобой, Омелька, песни поем.

– Да, – ответил Емельян. – Ежели поднапрут на нас со всех сторон, нам и податься некуда...

– Напереть – не напрут, – возразил старик, раскуривая трубку, – а выходы отсюда тесноваты, с обозом каша будет.

Пугачев подумал, большеглазо посмотрел в сторону реки, сказал:

– И на кой прах все обозы сюда постащили? Я бы их оставил за рекой, а через реку мосты навел бы, лесу-то много здесь.

Под пегими усами старика растеклась приятная улыбка, он прищурился на парня, тряхнул головой, ласково сказал:

– Башка у тебя варит... Дело говоришь. Тебе бы, Омелька, ахвицером быть... Только вот темный ты, навроде меня: читать-писать не смыслишь.

– К грамоте у меня сердце не больно лежит, дядя Павел. Я воевать люблю. Пошто мне грамота? Вот, сказывают, солдата Дрябова и без грамоты в офицеры произвели. Чуешь?

– Дрябов не солдат, а вахмистр был.

– Все едино, что хлеб, что мякина. Не барин же! Вот и я добыюсь. Душа из меня вон, добыюсь!..

– Бахвал ты, – так же ласково забрюзжал старик, вдевая в иглу провощенную нитку. – У тебя, чтоб быть ахвицером, кишка тонка. Это дело господское... А мы с тобой, Омелька, в подлом сословии родились. Голытьба мы.

Емельян перестал мурлыкать песню, отложил в сторону напильник.

– Это какое такое подлое сословие? – спросил он сквозь зубы и покосился на изрытое морщинами лицо бомбардира.

Тот стал, кряхтя, надевать штаны.

– Мы подлого звания с тобой, Омелька. Голытьба! И вся солдатня наша подлого звания... Не люди мы.

– А кто же?! – вскричал Пугачев и ударил себя в грудь.

Прогудел вдали пушечный выстрел, за ним другой – поближе. Никто не обратил на них внимания. Но вот ударили еще три выстрела.

В армии поднялась тревога. По плацдарму уже носились на лошадях адъютанты с ординарцами, кричали:

– Выходи в строй!.. Выводи полки перед фрунт... Ше-ве-ли-и-ись...

Люди бросали все, чем занимались, выскакивали из палаток, седлали лошадей, хватали ружья, надевали амуницию, бежали каждый к месту своего полка, строились в ряды. Повсюду негромкий шум, звяк оружия, беготня, понуждение от начальства. Очень быстро боевые полки были на своих местах, ожидая повеления, куда идти. И уже всем мерещился за лесом неприятель. Большинство солдат еще ни разу не бывали в деле. Всех прохватывал внутренний холодок, в острых образах рисовалась первая встреча с врагом, кровавый бой.

Заиграла музыка, развернулись знамена, полки с великой поспешностью были выведены за лес, на просторное Эггерсдорфское поле. А там – что за притча? – неприятеля нет и в помине, поле чисто, вдали лес чернел, и хоть бы один человек попался на глаза. Пусто.

Простояли до вечера, сожгли деревню и церемониальным маршем возвратились в лагерь. О неприятеле опять забыли думать. Офицеры играли в карты, пили вино, шутили; генерал-майор Хомяков в двадцатый раз перебирал коллекцию тростей; фельдмаршал Апраксин за обедом объелся жареным поросенком с кашей, ему дважды ставили клизму;

казаки пели и плясали; солдаты стирали в реке, искали друг у друга в головах, собирали грибы в лесу.

Ночь прошла благополучно. Поутру били не генеральный марш, а зорю, значит, и сей день армия будет в спокойствии стоять на месте.

Однако после полудня, когда армия обедала, стукнул выстрел вестовой пушки. В это время бомбардир Носов снял с тагана котелок похлебки из баранины, а Пугачев вытащил из-за голенища деревянную ложку.

– Ого, – сказал старик, – тревога! Пожалуй, и пожрать не дадут.

– Наматывай!..

Оба, обжигаясь, принялись хлебать. Ударил второй выстрел. В армии началось легкое движение. Пугачев поймал кусок баранины и по-волчьи проворно рвал его зубами.

Ударил третий выстрел. Тогда поднялись по всему лагерю великое смятение и шум. У бомбардира с Пугачевым упали из рук ложки. Всюду беготня, крик и понуждение. Земля тряслась от тяжести и грохота пушек, вывозимых откормленными лошадьми на позицию. Воздух дрожал от гиканья погонщиков и фурлейтов, стегających лошадей кнутами.

Через час полки были выведены в поле и построены. Пред войсками уже разъезжал великолепный фельдмаршал Апраксин, окруженный великолепнейшей свитой. Конь под огромным фельдмаршалом скакал, плясал, бил ногами. Фельдмаршал кряхтел, но лицо у него грозное, он часто сплевывал гнилую отрыжку, утирался надушенным платком.

В свите гарцевал на рослом коне генерал-майор Петр Панин, живой и подвижный, глаза насмешливы, губы сжаты в ядовитой улыбке, – он косился на толстое брюхо фельдмаршала.

Сытые кони начищены, лоснятся, отливают на солнце атласом. И все блестит, и все сверкает: оружие, наборная сбруя, чеканные седла, расшитые шелком и золотом дорогие попоны.

Армия стояла обращенная лицом к врагу. Но врага и на этот раз не было в помине. С чувством напряженного ожидания армия стоит час и два.

– Черт знает, – нахлобучивая шляпу на глаза, чтоб не палило солнце, раздраженно бросает фельдмаршал свите. – Где же неприятель? Какого же рожна он не идет?.. Трусит?..

– Нет, граф, неприятель храбр и скоропоспешен, – отозвался известный дерзкий остряк Петр Иванович Панин, в глазах его полускрытый смех. – Неприятель или заканчивает обед и пьет шампанское, или обходит вас с тыла.

– Вы думаете? – Граф Апраксин подымает густые брови и, болезненно постанывая, косится вполупорот через плечо назад, где тыл. – Не может тому случиться, чтоб с тылу...

– А кроме сего, мне мыслится, – продолжал Панин, отмахиваясь красным платком от комаров, – мне мыслится, что никогда так не бывает, чтоб одна армия стояла наготове, при всем параде, с пушками, а другая, вражеская, таким же парадом шла навстречу. Баталии зачастую начинаются внезапно. Но ради чего мы сюда пришли и здесь стоим, как индюки? Осмелюсь, граф, узнать...

– Утром разведка донесла, – пожимая плечами, стал как бы оправдываться граф Апраксин, – будто граф Дона, самый лучший прусский генерал, стоит за лесом с сорока эскадронами гусаров да драгунов, а главные силы пруссаков подходят к лесу.

Вдали, то здесь то там, потрескивала ружейная перестрелка казачьей разведки с неприятелем. С пригорка было пущено в лес несколько бомб из шуваловских дальнобойных гаубиц. Стоявшая под лесом деревня загорелась. Ответа из-за леса не последовало. Полки снова были отведены в лагерь.

5

Главная ставка Апраксина – целый поселок: большие и маленькие палатки для адъютантов и прислуги, походная церковь, склады, кухня, канцелярия, парикмахерская, баня.

В круглой палатке фельдмаршала начался военный совет. Большой овальный стол накрыт красною скатертью с золотыми кистями (граф любил во всем пышность), горело в шандалах и канделябрах сорок восемь свечей, за столом сам Апраксин и генералитет в походной форме. По правую руку Апраксина – генерал Веймарн (он все время войны «водил» Апраксина, как бычка на веревочке), по левую – молодой, но очень талантливый генерал Вильбуа, который частенько говаривал своим приятелям: «При нынешних порядках у меня пропадает всякая охота воевать. Черт их возьми!.. Здесь надо притворяться таким же дураком, как и все... Иначе всех сделаешь себе врагами». На столе хорошая немецкая карта, гусиные перья, карандаши, бумага; на коленях Апраксина черный мопс, такой же пучеглазый и тупорылый, как хозяин. Земля прикрыта коврами. Накурено. Тикают бронзовые часы. Два лакея снимают щипцами нагар со свечей, подают кофе, разливают по бокалам и рюмкам вино и ликеры.

Пыхтя и посапывая, Апраксин говорит ленивым, надтреснутым тенорком:

– По всему видимому, неприятель не хочет нам дать открытой баталии, он боится высунуть из лесу свой нос и выйти в поле. По всему видимому, он пытается, заняв самую тесную дефилию, заградить нам путь к дальнейшему продвижению нашей армии вперед и всем тем воспрепятствовать, чтоб мы его не обошли и не вышли прямо к Кенигсбергу. Таково мое мнение после зрелых размышлений. А вы как мыслите, молодежь? Граф Румянцев, вы? Генерал Вильбуа?

Курносый, толстощекий, быстрый взглядом, Румянцев повел плечом и командирским, слегка осипшим басом с горячностью сказал:

– Мой сказ короток, ваше сиятельство. Нам надлежит немедля идти врагу навстречу, принудить дать баталию и разбить его в пух и в прах.

«Баталия, баталия!» – крикнул из клетки попугай тоже командирским басом и почесал лапкой за ухом.

Генералитет улыбнулся. Вильбуа и Румянцев громко захохотали. Мопс не то с завистью, не то с презрением покосился на чертову птичку и с чувством собачьего достоинства лизнул хозяина в дряблый подбородок.

Апраксин поцеловал мопса в шиворот (граф Захар Чернышев сделал брезгливую гримасу). Обведя присутствующих ленивым взором, фельдмаршал спросил:

– Но куда и каким местом к нему идти? Ежели прямо через Эггерсдорфское поле – идти не можно: враг стоит за большим лесом, а сквозь оный только одна узкая дорога, да и та пруссаками занята. Как вы, господа, сей тактический вопрос желали бы разрешить?

После коротких рассуждений решено вести войска через поле, обходить лес с левой стороны и опрокинуться на врага всей силой.

– А главное: не мешкать, действовать быстро, – сказали в один голос Румянцев и Чернышев.

– Совершенно согласен с вами, господа генералы, – кивнул им Апраксин. – Мы и впрямь во всем поспешаем слишком... медленно... И так уж канцлер Бестужев, Алексей Петрович, то и дело пишет мне: «Поспешай, поспешай, про тебя небылицы по Питеру плетут». Да и матушка Елизавета недовольна, апробацией не жалуется – долго, мол, в Польше позадержались вы. А как тут поспешать?.. Поспесишь – людей насмешишь.

– А не поспесишь, врага упустишь, ваше сиятельство, – ядовито заговорил Петр Панин и незаметно переглянулся с Румянцевым. – И кто с умом спешит, тот всегда и во всем

успевает. Возьмем генерала Фермора. Он в Либаве присоединил к себе подвезенные морем наши полки, восемнадцатого июня вступил в Пруссию, двадцатого обложил Мемель, а уже двадцать четвертого эту крепость взял. А мы полгода пропировали в Польше и до сих пор не унюхали, чем пахнет вражий порох... Государыня императрица за столь сугубое поспешание вряд ли по головке погладит нас.

Апраксин сидел весь красный, будто Панин не словами стегал его, а парил в жаркой бане веником. Маскируя свое смущение, он стал сонливо зевать и закрепщивать гнилозубый рот, потом, ища хоть в ком-нибудь поддержки и не находя ее, обиженно сказал:

– Ау, ау... Плохой я главнокомандующий. Я фельдмаршал мирный, а не военный. Я так и государыне молвил. Ну что ж, господа, назначайте вместо меня Фермора, он генерал боевой. Сменяйте, сменяйте меня... ежели дана вам на то власть. А ежели этой власти за вами нет, то... повелеваю!.. – Апраксин сбросил с колен мопса и встал. Весь генералитет точно так же поднялся. – Повелеваю: завтра чем свет по вестовой моей пушке выступать в поход. А вам, Петр Иванович, – выпучив глаза, обратился он к злословному Панину, – зная вас за отважного воина, я предоставляю случай особо отличиться. Для сего определяю вас в самое жаркое дело.

«Ах ты, старый кабан», – подумал Панин и – вслух:

– Я *жары* не боюсь, ваше сиятельство. Но не терплю тех, кто тщится нагнать на меня холоду. Я не труслив, но горд. А пруссаков бояться – на войну не ходить. Весь к услугам вашего сиятельства!

Генералитет отпущен.

Апраксин устал. Ленивый и нерасторопный, он не подумал о разработке диспозиции войск на завтрашний день, он только успел набросать коротенький приказ по армии и прилег часок-другой всхрапнуть. А там видно будет, ночь-то длинна.

Выходя из палатки, Панин шепнул Румянцеву:

– Не смею утверждать категорически, но мнится мне, что этот безмозглый баран не побрезгует положить в карман от прусского командования кое-какой куртаж.

– О да, – живо согласился Румянцев. – Его медлительность припахивает изменой.

– Во всяком случае, она равносильна измене, – подхватил Панин.

По армии объявлен приказ: всех солдат снабдить на трое суток провизией, вывести «перед фронт», всем ночевать «в ружье».

Каким-то случаем прусское командование свело о предстоящем наступлении русских. И пока граф Апраксин спал себе и почивал спокойно, проворный враг плел хитроумные сети, чтобы погубить нас.

6

Пред утром 19 августа густой туман рассеялся. Лошади, опустив головы, дремали. На траве, на палатках и всюду лежала роса.

Ударила вестовая пушка, лагерь пришел в движение. Вместо обычной зори стали бить генеральный марш. Значит, готовься к походу. Вскоре прозвучал сигнал: «На воза!», и войска тотчас стали снимать все палатки, мазать колеса дегтем, впрягать в повозки лошадей, грузить имущество. Фурлейты спрашивали: «Брать ли рогатки?» Приказ: «Брать, брать». (Деревянных рогаток – тысячи, целый лес. Они большая обуза. Их возят в особых телегах за каждым полком для прикрытия фронта от неприятельской конницы.)

Через двадцать минут обозы тронулись в путь. Было еще темно.

Равнина – где лагерь – как дно муравейника. Все копошилось, серело, алело, чернело, двигалось взад и вперед, вправо и влево. Люди сползались в живые кучки, эти кучки росли, то вытягиваясь в линию, то сжимаясь в квадрат. Кучек все больше и больше. Вот они оше-

тинились сталью. По всем направлениям засновали всадники. С тысячи мест сизыми киверами потянулись к небу дымки догорающих костров.

Емельян Пугачев кой-как, вразвалку, сидит в седле вблизи палатки атамана Денисова. Конь под ним высокий, белый. Емельян привел его из ночной разведки: смахнул башку прусскому драгуну-барину, а коня его увел. Коню этому сегодня хватит работы: Пугачев за свою особую расторопность назначен был вчера ординарцем полковника-атамана Денисова.

Донцы еще прохлаждаются, наскоро пьют кипяток с солью и хлебом. Грузный, заспанный Денисов выходит из палатки, вестовой подает ему умываться. За рекой по далекому горизонту медленно растекалась заря. В лесу куковала ранняя кукушка.

В противоположной стороне, почти за две версты от Пугачева, там, где темный выход в Эггерсдорфское поле, – сплошное огромное месиво, оттуда доносились невообразимый шум, треск, скрип, выкрики. Денисов, вытираясь рушником, спросил Пугачева:

– Что там такое?

– А это, надо полагать, обозы сбились в кучу... Порядку нет, ваше высокородие.

– А ну, слетай!

Пугачев гикнул и умчался.

У выхода в поле действительно творилось нечто ужасное. Впереди тесной дефилеи, через которую тянулись бесчисленные обозы, растекалась ручьевина по заболоченной местности. Непролазным киселем густела грязь. Передние повозки завязли, задние стали напирать на них, обгонять их и – по грудь коням – увязали сами, на них надвигались задние. Тут же, вперемежку с повозками, шли побатальонно воинские части.

В конце концов лавина не в одну тысячу повозок закупорила весь проход – пушкой не пробьешь. Здесь все перемешалось: артиллерия с ящиками и снарядами, солдатские обозы, генеральские экипажи, многие сотни телег с рогатками, офицерские повозки.

А сзади на это месиво из лошадей, солдат, повозок напирала двинувшиеся полки. Всюду крики: «Дорогу, дорогу!» – но дороги не было.

И в момент такой бестолковщины, в момент отчаянных, но безуспешных попыток освободить проход, по войску и обозам покатила сначала тихая молва: «Пруссак наступают, они уже близко»; затем разговоры – все крепче и крепче, вот послышались отдельные панические выкрики: «Неприятель, неприятель!» Но путем никто ничего не знал еще.

Тем временем 2-й Московский полк, уже выведенный в Эггерсдорфское поле, вдруг увидел перед собой грозные шеренги спешившего к нему врага. Полк стоял как раз у выхода с забитой обозами прогалины и прикрывал доступ в лагерь. Командиры и солдаты диву дались: каким манером враг, никем не замеченный, мог пройти версты четыре по полю и почти сесть на шею нашим? А где ж была разведка? И о чем думало главное командование?

Небольшая колонна артиллерии, находящаяся при Московском полку, тотчас открыла по неприятелю огонь.

Этот близкий гром пушек произвел в обозной толпе смятение. Люди сразу как бы поскользили с ума. Поднялись вопли.

В одном месте командиры кричали: «Сюда! Сюда! Артиллерию сюда!» В другом раздавалось: «Конницу скорей, конницу!» Но яростней всех был вопль: «Обозы прочь, назад!.. Прочь, прочь! Обозы назад, назад, назад!..» Возницы и фурманы с гиком и руганью в три кнута полосовали лошадей. Генералы, полковники и простые офицеры потеряли всякий разум, они совалились возле обозов без памяти, не зная, что им делать.

Почти все полки еще находились за обозом, в лагере, а пробраться на поле с амуницией, с пушками сквозь густейший непролазный лес было невозможно. «Просеки, просеки рубить!» – бестолково раздавалась запоздавшая команда. Но тут уже не до просек. Полки дожидались, пока расчистят от обоза злосчастную прогалину. Успел вывести свою дивизию на бранное поле лишь генерал-аншеф Лопухин.

А пушки гревели и гревели. Неприятельские ядра, проносясь со свистом, уже стали шуркать по обозам.

Часть донцов умудрилась пробраться меж обозами и опушкой леса и, спешившись, выстроилась на отдаленном пригорке в левой стороне поля. Пригорок прикрыт с тыла болотом и кустарником. Тут же была и батарея со старым бомбардиром Павлом Носовым. Вскоре подошел еще армейский полк.

Емельян Пугачев сидел на коне, ждал поручений атамана, во все стороны вертел головой. Справа и вперед от него видно было все Эггерсдорфское поле, на нем – прусская армия как на ладони. А за полем, верстах в пяти, зеленел огромный лес. Атаман Денисов то и дело прикладывал к глазу подзорную трубу.

Начинало светать. Вставало солнце.

Пруссак выгнулись двумя длинными линиями на том самом месте, где вчера стояли две развернутых линии русских. И снова – возмущенные наши голоса:

– Каким это способом пруссаки подкрались к нам? Этакое позорище! Проспать врага... С потрохами продают нас.

7

Гросс-Эггерсдорфская битва началась ровно в восемь часов утра.

Наши немногие гренадерские полки только еще выстраивались вдоль опушки леса. Между тем первая линия пруссаков быстрым шагом уже двинулась в атаку и, приблизившись, дала по нашим залп. Русские не отвечали. «Почему наши молчат?» – заговорили между собой люди на пригорке, где Пугачев. Но русские молчали, потому что продолжали строиться, вытягиваться в линию, да и пули неприятеля пока не долетали.

Пруссак, заряжая на ходу ружья, продвинулись еще на несколько сажен и дали второй залп. Русские опять смолчали. Они все еще вытягивали боевую свою линию. «Бегом, бегом!» – покрикивали там офицеры. Петр Панин скакал на коне, поощряя солдат: «Поспешай, братцы, да в лоб его, в лоб!» Второй залп кой-кого из гренадеров зацепил, человек десять упало. Зарядив на ходу ружья, пруссаки дали третий дружный залп. Их фронт стал помаленьку заволакиваться дымом.

Тем временем русские полки уже успели развернуть свой фронт больше чем на версту. Генерал Лопухин, бесстрашно проносясь на коне вдоль фронта, командовал: «Стрелять метко, в три шеренги, залпами!» И сразу треснул дружный залп. Загревели русские пушки. Началась жаркая, врассыпную, перестрелка.

Все затянуло дымом.

Через поле отдельными частями перебежали подкрепления из второй линии пруссаков, подвозились порох и снаряды, прыгали по кочкам пушки, скакали взад и вперед вражеские ординарцы.

Враг упорную атаку направил в два места: против главного входа в лагерь, где кипела перестрелка, и против второго входа с левой стороны. Но там стойко держался 1-й Гренадерский полк под командою полковника Языкова. Враг всюду действовал по заранее составленной диспозиции, а русские валили «наобум святых» как Бог на душу положит.

Враг измышлял запереть русских в лагере и всех, кто там был, передуть.

Главнокомандующий Апраксин, окруженный свитой, громоздился на коне в значительном отдалении от битвы. Он не отрывал от глаз трубу, но плохо видел и мало понимал в происходящем. Он почти не отдавал никаких приказов, только покрикивал: «Валяй, валяй!»

Пугачев первый заметил кавалерию, показавшуюся на правом фланге врага. Заметил ее и Панин. Он подскакал к графу Апраксину.

– Ваше сиятельство! Прикажите казакам атаковать неприятельскую конницу.

– Валяй, валяй, голубчик, валяй! Ах, это вы, Петр Иванович? – замахал трубой и заохал Апраксин.

Панин полетел стрелой на пригорок к атаману Денисову. Пугачев стрелой с пригорка от Денисова к Апраксину.

– Стой, казак! – на всем скаку крикнул Панин. Оба коня враз остановились. Приседая на задние ноги, они пахали землю передними.

– Куда?

– К главнокомандующему... Конница вражья объявилась.

– Передай приказ атаману Денисову – взять вражью конницу в пики!

Кругом пахло порохом. Сизо-голубыми клочьями тянулись струи дыма. Всюду задиричивый треск ружейных выстрелов и то близкие, то далекие раскаты пушечной пальбы.

Пугачев подкатил к своим. Полторы тысячи донцов уже успели сесть на коней. Раздалась команда. Туча казаков – пики наперевес – с пронзительным гиканьем стремительно мчалась на врага. Прусская конница поджидала атаку недвижно. Подпустив донцов поближе, пруссаки дали по ним уверенный залп. Донцы опешили, ряды их смешались, гиканье смолкло, многие упали с коней. Пальнули в пруссаков беглым огнем. Пруссак вновь ответили залпом. Донцы повернули коней и марш-марш назад. Прусские кирасиры и драгуны – палаши наголо – помчались за ними. Обскакивая болото с кустарником, они гнали казаков к русскому фронту и, настигнув, стали их рубить. Казакам некуда деваться. Тогда левый наш фланг расступился, пропустил лавину донцов. Первый эскадрон прусских кирасиров успел прорваться на хвосте донцов за русский фронт и там рубил направо и налево, кого придется. В нашем тылу – вой, крик, паника. Меж тем полки неприятельской конницы в полном порядке поэскадронно неудержимо текли быстрой рекой чрез поле на передовую линию русских. Казалось, враги презирали страх, смерть и нашу пехоту, угрожая стоптать ее.

Атаман Денисов наблюдал с возвышения, бесновался: «Ах, черти, ах, черти!» И крикнул стоявшему рядом с ним Пугачеву: «Лети на батарею... Огонь картечью! Разини, дьяволы!» Пугачев, весь дрожа, поскакал. Бомбардиры уже успели повернуть батарею в сторону мчавшейся конницы врага, забивали пушки картечью.

Пугачев вместе с бомбардиром Носовым стал наводить в сторону неприятеля медную пушку. Прусские эскадроны, взвывая густейшую пыль, один за другим четко скакали. Наша пехота овладела собой, стала отстреливаться, пытаясь сомкнуть разорванный фронт.

«Пли!» И вдруг ахнули сразу пять пушек. Залп был удачен, картечь сражала пруссаков десятками, сотнями. Фронт пехоты сомкнулся. С правого фланга скакали три сотни чугуевцев. А сзади них мчался Панин. «Пли!» И снова оглушительный залп. Вражеские эскадроны смешались, повернули назад, в беспорядке поскакали полем обратно к лесу. Донцы оправились, вместе с чугуевцами бросились преследовать врага, рубили, сажали на пики. Эскадрон, прорвавшийся за русский фронт, был весь уничтожен.

Пугачев так увлекся баталией, что забыл свою обязанность ординарца. Вольной птицей перелетал он теперь с места на место, куда его тянула удаль.

А над фронтом, где разгорался жестокий бой, стояло густейшее облако дыма: с той и другой стороны продолжалась неумолчная ружейная перестрелка, пальба из пушек и гаубиц.

Перевес был целиком на стороне неприятеля. Мы были очень малочисленны, у нас дралось всего одиннадцать полков. И резерв в нужном количестве к нам не поступал: от своих главных сил, от лагеря, мы были отрезаны.

Апраксин вконец растерялся. Все шло самотеком, вразброд, каждый военачальник действовал на свой страх и риск. Сильная артиллерия пруссаков работала отлично, тогда как большая часть русской завязла в болотах, застряла среди обоза в лагере и, лишь постепенно выпрастываясь, орудие за орудием, медленно выходила на позиции. Хотя обозы в нашем лагере, двигаясь назад, постепенно освобождали выход в поле и казалось, что теперь можно

кой-как выводить из лагеря войска и подвозить снаряды, но сметливый враг в оба выхода из лагеря направил свою силу артиллерийского огня, а затем двинул в бой свежие полки.

Пугачев, рискуя жизнью, проник на коне в запертый со всех сторон русский лагерь. Там был видимый порядок: полки стояли под ружьем, артиллерия в упряжке. Но вместе с тем – всеобщая какая-то выжидательная напряженность и тупое уныние среди людей. Прислушиваясь к канонаде, к долетавшим чрез лес глухим звукам битвы и не в силах помочь своим братьям, многие солдаты горестно трясли головами, крадучись утирали мокрые глаза, а иные плакали в открытую, справедливо ожесточаясь на погибельные распоряжки командования.

Пугачев увидел: от лагеря чрез лес ведут к бранному полю две просеки, но топоров мало, работы хватит на неделю. «Эх, черти генералы... Вразумить вас некому», – подумал он и спросил бородатого лесоруба:

– Пошто войско не посылают на фронт?

– Два полка прутся лесом на выручку, – ответил бородач. – С пушками было тронулись да со снарядами. Только, вишь, побросали все, куда тут... Вон она, пушка-то, вон другая... Несподручно. Ради этого и просеку ведем, понял?

– Кто спослал полки-то?

– Сам Румянцев. Эвот-эвот он сидит рядом с графом Чернышевым... Курносый такой, толсторожий... А нет ли у ты покурить, казак?

Но Пугачев, ничтоже сумняшеся, уже подлетел к двум молодым графам, сидевшим друг против друга на барабанах. Подъехал, спрыгнул с коня, вытянулся во фронт и, охваченный жаром битвы, бесстрашно обратился к быстроглазому Румянцеву:

– Ваше превосходительство! Треба солдат на фронт поболее... Двух полков маловато. Наших дюже колотят...

– Откуда ты?

– От графа Апраксина, – соврал Пугачев. – Вам приказ велено отдать...

Глаза Румянцева под высоко вскинутыми бровями сердито запрыгали, он вскочил и крикнул:

– Пошли его, старого мопса, ко всем чертям!.. – Румянцев знал, что фельдмаршал Апраксин в немилости у царицы Елизаветы, и в выражениях по его адресу не церемонился. Апраксина и прочих генералов он стал пушить сплеча по матушке. (Пугачев приятно улыбнулся.) Обращаясь к Чернышеву, Румянцев возбужденно заговорил: – Чрез каждые десять минут шлют ко мне гонцов, даже Панин был: «Выводи, выводи...» А как я выведу, раз мы, по милости Апраксина, заперты?.. Я давно послал Рязанский полк тем местом, где обозы захрясли, а много ли из полка на фронт явилось? Две роты... А ребята – молодец к молодцу. – Румянцев вздохнул, передернул плечами и, выколачивая короткую трубку о барабан, сердито добавил: – Беда, ежели львами командует баран.

– Н-да-а... – протянул Чернышев. – Пожалуй, лучше, когда баранами командует лев.

– В сто раз лучше!

Помедля и ничуть не стесняясь присутствия Пугачева, граф Захар Чернышев сказал:

– Он до крайности ленив и труслив, наш Апраксин. В третьем году пьяный гетман Разумовский едва морду не набил ему. Граф только побряхтел, и – никакого отпора... Трус!

Румянцев вынул изо рта трубку, сплюнул и с желчностью проговорил:

– Этот толстобрюхий бегемот выписал себе из Петербурга двенадцать пар шикарного обмундирования, надеясь в Риге да в Варшаве сражаться с дамами. Вот скотина!.. С таким фельдмаршалом не до побед.

Из лесу выводили под руки раненых с забинтованными лбами, окровавленными лицами, вытекшими глазами, с руками на перевязи, некоторые, шатаясь, шли самостоятельно, некоторые со стоном ползли на четвереньках. Это – изувеченные на Эггерсдорфском

поле гренадеры, каким-то чудом пробравшиеся сквозь лес, чрез который трудно пройти даже медведю. Все тянулись к полевому лазарету, что расположился в трех больших палатках. Оттуда доносились вопли и проклятья. Пугачев, косясь на лазарет, спросил Румянцева:

– Прикажете ехать?

Румянцев в ответ махнул рукой, подозвал к себе кого-то из раненых. Пугачев придержался сесть в седло, его одолевало мальчишеское любопытство.

– Где ранен?

– На левом фланге, ваше-ство...

– Сядь, – и Румянцев подкатил пожилому гренадеру свой барабан. – Ну что, жарко в бою?

– Жарко... А ен все лезет да лезет. Наших много полегло, к лесу подаваться стали, а он знай лезет, знай лезет... Распорядок добрый у него, а у нас порядку ни синь-пороху. Только генерал Лопухин за всех орудует...

Генерал-аншеф В. А. Лопухин, видя, как обессилевшие солдаты его дивизии шаг за шагом стали отходить назад, то скакал на коне перед отступавшими, то, бросив раненую лошадь, бежал по рядам войск, чуть не плача, умолял:

– Братцы, ребяташки... Стойте, не рушьте фрунта! За честь России! Братцы, за мной!.. – Изнеможенный, он сам истекал кровью, перебитая рука болталась, в сапоге жмыхала кровь.

Летали, рвались неприятельские бомбы, стегала картечь, пули с визгом вырывали обреченных. Мужественные гренадеры и прочие потрепанные неприятелем полки все еще держались, как непреборимая стена.

Однако от минуты к минуте русскому фронту становилось тяжелей. Вот уже два часа отстреливались от ретивого врага, но были на исходе порох и свинец. Некоторые смельчаки с отчаянием бросались вперед, выхватывали из сумки убитого противника порох, патроны и посылали во врага его же пули. Иные, раненые, окровавленные, прижавшись спиной к дереву, бессильно оборонялись штыками, били врага прикладами. Иные, в припадке безумия, остервенело кидались в толпу неприятеля, мысля поразить их всех, и, растерзанные, гибли.

Наши ряды сильно поредели, офицеры побиты и поранены, фронт дрогнул, круто подался вспять, ближе к лесу. Неприятель, заметив эту ретираду, с удвоенным ожесточением бросился на отступавших.

Завязался дьявольский рукопашный бой.

Того, кто обессилел, кололи, топтали, как падаль, резали, душили. Русских осталось немного; неприятель подавлял числом и натиском свежих сил. Изнемогающий генерал Лопухин поощрял своих. Кричал безумным голосом:

– Вперед! Коли! Коли!..

Вот его схватили и, залитого кровью, волокли по земле в полон. Трое наших гренадеров, забыв, что сами погибали, разъяренными волками бросились выручать своего генерала и, уже мертвого, растерзанного, перетасили на свою сторону.

Вся опушка леса оглашалась воплем, стоном, криками убиваемых. Кровь текла ручьями. Прижатые к лесу, богатыри-гренадеры все еще продолжали обороняться с яростью. Но враг уже врзался в обоз и победоносно бежал дальше, в самый лагерь. Полное поражение русских было очевидно. Враг торжествовал.

8

И вдруг:

– Идут!.. Наши идут... Держись, ребята!!! – прозвенел чей-то резкий, как медный звук трубы, голос. Это орал что есть силы Пугачев. Он гикнул: – Р-рубай, так и так!.. Рубай!!! — выхватил саблю и врезался в ряды противника.

Из лесу вымахнули четыре всадника. Впереди на вороном скакуне Румянцев. За ним рота за ротой выбегали из гущи непролазного леса солдаты 3-го Гренадерского и Новгородского полков.

Они быстро – бегом, бегом – строились в боевой порядок. Пред их фронтом, гневный, проскакал Румянцев.

– Ребята, осмотрись! – командовал он. – Целься верней! Залп!

С треском ударило несколько тысяч еще холодных, не закопченных порохом ружей.

– Залп!!!

И вновь убийственный залп.

– Довольно, – приказал Румянцев. Его сабля сверкнула на солнце. – Ребята, в штыки!!!

И с оглушающим ревом «ура, ура!» несколько тысяч бодрых солдат ринулись в бой. За ними, забыв усталость, бросились измученные гренадерские полки, Московский, Рязанский, и остатки дивизии Лопухина.

Крепкий фронт неприятеля на протяжении двух верст был опрокинут. Пруссак пробовали сопротивляться, стреляли, оборонялись штыками, но русские, не останавливаясь, стремительно перли вперед, сметая все на своем пути.

Враг побежал.

– Валяй, валяй, валяй! С нами Бог! – носился на грузном коне в тылу наших войск грузный Апраксин. Его так растрясло, он так был взволнован и нервно раздавлен событиями, что больше не в силах держаться в седле. С адъютантом и взводом гусаров он отъехал в самое безопасное место, повалился в холодок и, раскинув руки и ноги, пыхтел, как морж на льдине.

Сражением руководили теперь генералы Румянцев и Фермор. Пушки неприятеля, хотя и не особенно метко, все же тревожили наших. Но с правого фланга уже спешили на быстрых конях чугуевцы – в атаку на батареи врага.

С левого фланга скакали донцы, за ними – полтысячи полуголых калмыков: они спустились по пояс красные суконные бешметы и, ошетилив пики, с визгом мчались колоть и топтать утекших пруссаков.

Пугачев, давно отбившись от своих, работал то с гусарами, то с пехотой, колол и рубил, счастливо спасаясь от смерти.

Горячий генерал-майор Петр Панин, увлеченный удачным исходом сражения, ускакал далеко вперед, вслед за гусарами. Тут было жарко. Неприятель на это место двинул из-за леса остатки резервов. Тут шел ожесточенный бой, последняя ставка неприятеля. Завязалась огневая перестрелка. Пугачев палил из винтовки.

Вдруг видит он: на левом фланге отряда конь Панина с разбегу упал на колени, Панин перелетел через конскую шею; конь, прошитый вражьи пулями, перевернулся на бок, взлягнул ногами, затих. К Панину с криком «Эге! Генерал, генерал!» стремительно бежало с десяток пруссаков. Пугачев ударил плетью коня, что есть силы подскакал к генералу, прыгнул:

– Садись враз, – и подсобил белому от страха и потерявшему силы Панину залезть в седло.

– А ты как же?

– Не сумлевайтесь, у меня ноги волчьи, утеку! – и Пугачев ударил коня ладонью по холке.

– Спасибо, казак! – и Панин прищипорил коня.

Над Эггерсдорфским полем, от леса до леса, висела пылица и желто-сизый дым. Горели деревни.

Баталия кончилась. Почва подмокла от конской и человеческой крови. Было 3 часа дня 19 августа 1757 года.

Панин долго допытывался потом и не мог отыскать казака, который даровал ему жизнь на поле сражения. Он хотел оказать казаку-герою высокую милость.

Чрез семнадцать лет, и тоже на поле брани, но при других обстоятельствах, судьба вновь столкнет лицом к лицу графа Петра Панина и донского казака Емельяна Пугачева – мужицкого царя. Казак узнает графа и не подаст о том виду. Граф не узнает казака, но барской рукой отблагодарит его за спасение от смерти – громкой, на всю Россию, пощечиной. Сердце казака обольется тогда кипучей кровью и желчью.

Когда все стало приходить в порядок, казак Пугачев держал ответ пред атаманом Денисовым.

– Где твой конь?

– Убили.

– Ты мой ординарец... Куда ты, песий сын, пропал?

– Воевал.

– Где мой рысак Пегаш? Он выдан тебе под присмотр.

– Я воевал... Я пруссаков бил. За всем не усмотришь. Сбежал, должно, ваш конь.

Полковник Илья Денисов, суровый службист, кликнул двух старых преданных ему казаков и приказал им: ординарца Емельяна Пугачева за его тяжкие преступления по службе выдрать нещадно плетью.

К Пугачеву тотчас же подошли два пожилых казака.

– А ну-ка, молодчик, спускай портки, – сказал сквозь зубы рыжебородый, с плеткой в руке, детина.

Пугачев, тяжело дыша, выжидательно уставился в усатое лицо полковника Денисова, как бы вопрошая мрачного начальника – шутит он или взаправду действует?

– Ну! Вали его на землю, – приказал Денисов.

– Ваше высокоблагородие, – взмолился Пугачев. – За что же это? Ведь я по-честному воевал. А ваш Пегаш...

– Молчать!

– Пегаш ваш найдется, вашескородие... Да я вам рысака такого добуду, что...

– Молчать, безрогая скотина!.. Хуже будет.

Пугачева схватили, брякнули на землю.

– Не позорьте, пощадите, вашескородие... Заслужу! – закричал Пугачев истошно.

Поверженный вниз лицом, он умолк, взглянул на притихших, хмурых зевак вокруг, зажмурился, стиснул зубы и скрюченными пальцами вцепился в пахучую полынь-траву.

Экзекуция началась, но, как ни усердствовал рыжебородый, Пугачев терпел: ни стопа, ни вздоха, только скрипел зубами.

– Довольно! – крикнул атаман Денисов.

Емельян встал, с трудом натянул рубаху, его из стороны в сторону покачивало. Он выплюнул набившуюся в рот землю со стебельком полыни и стоял против атамана, вперив взор ему под ноги.

– Можешь идти, Пугачев, – сказал атаман. – Другой раз помни...

Пугачев нога за ногу пошел прочь. Да, он будет помнить... Ему век не забыть этой награды за боевой труд его.

Спина болезненно ныла, словно обваренная кипятком, сквозь рубаху пятнами проступала кровь.

– Больно, Омеля? – сочувственно спрашивали провожавшие его товарищи.

Вместо ответа Емельян так взглянул на них, что люди прикусили языки.

А через день-другой Пугачев носился среди казаков как ни в чем не бывало. Разве только стал он менее разговорчив, а уж если принимался «точить лясы», то тут ему – никто не перечь. Со старшими по войску он приметно играл надвое: поддакивая и соглашаясь, он вместе с тем таил в глазах бесшабашную ухмылку, точно говоря про себя: «Вот он я, попробуй-ка ухватить меня».

И тот же атаман Денисов, приглядываясь к Емельяну, говорил о нем не иначе как о «превеликом бестии».

– Храбр и дерзок хлопец, но зело двусмыслен. Мало я его драл.

Впрочем, и это, новое, в Емельяне с течением времени примелькалось и перестало задевать внимание окружающих.

27 августа, поздно вечером, в Царское Село, где жила императрица Елизавета, прискакал с театра войны курьер: генерал-майор Петр Панин с трубящими в серебряные трубы почтальонами. Он привез известие о нашей полной победе 19 августа над прусским фельдмаршалом Левальдом на берегах Прегеля, при деревне Гросс-Эггерсдорф. Обнимая Панина, Елизавета прослезилась. А на другой день, в четыре часа утра, с Петропавловской крепости прогрехотал сто один пушечный выстрел. Столица торжественно стала праздновать первую над пруссаками викторию.

Глава II

Бой при деревне Цорндорф. Вечеринка у братьев Орловых

1

В сущности, празднества оказались преждевременными: русская армия, вместо преследования неприятеля, стала отходить к границе, оставляя врагам с таким трудом завоеванные земли. Поспешное отступление походило на бегство: приказано жечь фуры, топить в воде порох и снаряды, заклепывать пушки. Солдаты недоумевали, по всем воинским частям стало перелетать из уст в уста страшное слово: «измена». Союзники громко выражали свое возмущение по поводу ничем не оправданных действий русского командования. Конечно, был недоволен всем этим и правящий Петербург.

Главкомандующий фельдмаршал Апраксин был смещен, на его место назначен генерал Фермор.

Война затягивалась. Необходимо было подсылать в действующую армию подкрепления из России. Рекрутский набор дал сорок три тысячи человек, из них укомплектовано в полки двадцать четыре тысячи рекрутов, а куда подевались остальные девятнадцать тысяч – неизвестно. Сенат запрашивал об этом Военную коллегию, но быстро собрать надлежащие сведения о пропавших рекрутах было невозможно: почта работала столь медленно, что приказ, отправленный из Петербурга, например, в Смоленск, тащился туда месяц и двенадцать дней.

В исходе зимы генерал кriegс-комиссар князь Яков Шаховской, проезжая по улицам Москвы, повстречал вблизи главного военного госпиталя странный обоз: на нескольких дровнях валялись рекруты.

– Стой! Куда? – спросил он сопровождавшего обоз унтер-офицера.

– Да вот на людей хвороба напала, ваше превосходительство, – ответил тот. – Возили в госпиталь, да не приняли, сказывают: места нет, в обрат велели везти в команду.

– А скажи-ка ты мне, унтер, не таясь, из-за чего такая хвороба ежегодно нападает на молодых парней, на новобранцев? – спросил князь.

Унтер помялся, взглянул в добродушное стариковское лицо князя и сказал:

– Ежели молвить по правде, ваше превосходительство, сие приключается от непорядка. Рекрутов из деревень пригоняют, а жительство им не приготовлено и кормиться им, сердешным, почитай, нечем. И околачиваются они в лютую стужу где попало, по дворам да по улицам. А ночуют либо в торговых банях из милости, либо где-нито под мостом, али в складах дровяных, по-собачьи. Вот и студятся. А бабы, глядя на них, плачут, вот, мол, сколь сладко нашим сынкам царскую-то службу отбывать. Чрез сие великий ропот идет промеж народа...

– Ну, это ты далеко шагнул, унтер, а по сути прав, прав, – вздохнув и печально покивав головой, сказал старик.

Лежавшие на дровнях больные, с посиневшими лицами, новобранцы тоскливо и растерянно посматривали на князя, с робостью умоляли: «Ради Бога, не оставь, барин... Умираем». А некоторые казались полумертвыми, остекленевшими глазами они безжизненно глядели в морозное небо.

– Повертывай за мной, – приказал унтер-офицеру князь Шаховской.

Возле главного крыльца госпиталя, куда подкатил в карете князь, стояло еще четверо дровней с умирающими и больными. Князь едва успел выйти из кареты, как к нему сбежали по ступенькам крыльца главный врач и комиссар.

– Это позорище, господа, – набросился на них Шаховской.

Больные и умирающие, услыша «заступление» за них, завывали с дровней, закричали:

– Погибаем, спасите, добрые люди!

Тогда главный врач и комиссар оба вдруг стали, торопясь, говорить Шаховскому:

– Ваше сиятельство, не извольте ходить дальше крыльца, у нас тут люди в жестоких лихорадках да в прилипчивых горячках. Ими не токмо покои, но сени наполнены. Сделалась великая духота, а окна по зимнему делу отворять не можно. Они не токмо один другого заражают, но и прислугу ввергают в болезнь. А посему присылаемые команды мы отсылаем обратно, чтоб не умножать на счет госпиталя численность мертвых.

Тут два подошедших от дровней унтер-офицера доложили князю: несколько человек уже умерли в пути, а иные, находясь в прежалком от стужи состоянии, замерзают...

– Вот что, – сказал взволнованный князь врачу. – Приказываю немедленно вывести из госпиталя на частные квартиры все посторонние службы, а в освободившееся помещение принять больных. Немедленно!

Врач и комиссар, кланяясь, ответили:

– Способа к тому, ваше сиятельство, никакого нет. Никто ни за какую цену, боясь заразы, не решается для сей цели уступить свой дом.

Князь вспомнил, что недалеко от госпиталя, на берегу Яузы-реки, имеется немалое деревянное строение, в коем помещалась дворцовая пивоварня, но в отсутствие ее величества производство напитков там ныне сокращено. Князь своей властью приказал: перевести прачечную и всех госпитальных служителей в пивоваренный дворцового ведомства двор. Приказ князя был исполнен.

Шаховской этим случаем поверг себя в печальные размышления: уж ежели в Москве обращаются с новобранцами хуже, чем с собаками, то что же в остальной России? Так вот куда подевались девятнадцать тысяч недостающих рекрутов!

Находящееся в Петербурге дворцовое ведомство, обиженное самочинством Шаховского и по проискам братьев Шуваловых, послало на него жалобу в сенат. А вскоре из Петербурга приехал к Шаховскому офицер и подал ему бумагу от начальника страшной Тайной канцелярии Александра Шувалова: «Ее императорскому величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом пивоваренном доме те камеры, в коих для собствен-

ного употребления ее величества производятся пиво и кислые щи, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют...» и т. д., а в конце бумаги приказ: «Всех больных и прачек немедленно перевести из той пивоварни в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах, а также и вашей спальни».

Князь Шаховской сразу заскучал. Он дал себе зарок никогда впредь не вступаться в милом своем отечестве за угнетенных и страдающих.

Действующая армия стояла тем временем на винтер-квартирах. Среди офицерства ходили упорные слухи, что бывший главнокомандующий Апраксин будет предан суду за государственную измену. Многие считали изменой неожиданное отступление после нашей победы при Гросс-Эггерсдорфском поле.

Огромный обоз с личным имуществом Апраксина стал грузиться для отправки в Россию. А месяца за два перед этим преданный графу Апраксину прасол Барышников, тот, что, сидя на возу, вел разговор с Емельяном Пугачевым о птичке-попугайке, повез в Петербург семь бочонков знаменитых селедок в дар графине и письмо графа к ее сиятельству.

Далее по поводу этих необычных селедок начинаются разные сплетни и домыслы. Будто бы граф сказал Барышникову :

– Вот тебе накладные, голубчик, вот тебе пропуска через заставы, сдай графине селедки в целости и письмо не утерай. Селедки превкусные, я их купил задешево.

Барышников катил на тройке, селедки сдал в целости, получил от графини благодарность. Графиня спросила:

– Неужели, голубчик, граф не вручил тебе письма на мое имя?

– Никак нет, ваше сиятельство.

Через три месяца приехал граф. Облобызав графиню, он прежде всего будто бы спросил:

– Ну как, вкусны ль селедочки?

– Очень замечательные, – ответила графиня, – последний бочонок доедаем.

Граф побелел, спросил:

– А мое письмо? А золото?

– Никакого золота не видела, никакого письма не получила.

Тут Апраксин будто бы выдохнул: «Ах он, мерзавец!» – и упал мертвым.

На самом же деле было несколько иначе. Графа Апраксина отозвали не в Петербург, а в Нарву и предали суду. Туда тайным образом приезжал «великий инквизитор» А. Шувалов снимать с него допросы. Следствие и суд тянулись больше года. Апраксина перевели поближе к Петербургу, в селение Четыре Руки, где во время допроса с ним приключился разрыв сердца.

А вскоре после его смерти на петербургском горизонте появился и стал действовать маленький безвестный человек из бедных посадских города Вязьмы – Иван Сидорович Барышников, впоследствии ставший большим и знатным.

2

В начале 1758 года столица Восточной Пруссии славный город Кенигсберг сдался без боя. Русские встречены были колокольным по всему городу звоном, на башнях и возле городских ворот играли в трубы и литавры, граждане стояли шпалерами в угрюмом молчании.

Емельян Пугачев ехал на каурой кобыленке, в тороках у него сухари и поросенок, закупленный им в попутном селении. Выставив из-под шапки черный чуб, он с любопытством глазел на красивый город, на чисто одетых жителей. А румяной девчонке с подобранными косами подмигнул и помахал шапкой:

– Эй, как тебя... Матреша! Вот и мы...

В Емельяне Пугачеве вдруг заговорило чувство патриота: город сдался без боя, значит – русская армия сильна. А ежели хитрый Фридрих иным часом и порядочно-таки накладывает русским, это от плохих начальников. Был главнокомандующим толстомясый «крякун» граф Апраксин, будто бы вором оказался, взятку взял, родине изменил – отозвали в Питер. Был главнокомандующим генерал Фермор, тоже не из прятных.

Казачий отряд расположился на торговой площади против кирхи и ратуши с высокой башней. Было холодно, ленивый порошок снежок. Зажгли костры.

У Пугачева, пока он добывал огня, поросенка украли, а сухари он отнес в подарок бомбардиру Павлу Носову, старому другу и наставнику его по стрельбе из пушки.

К кострам приходили горожане – большей частью подвыпившие мастеровщина да мальчишки, садились у костров, что-то талалакали по-своему; но Емельян ничего не понимал. Делились табаком, приносили пиво, картофель, вяленую рыбу. Приходили подчас и женщины.

Подошла Матильда с таким-таким широким задом, должно быть, прачка; руки красные, моклыжки на пальцах стерты, на плече корзина. А с прачкой – девушка, голубые глаза блестят, и губки аккуратные. Надо быть, прачкина дочка. У дальних костров толпился народ, солдаты пели песни, плясали. А возле Емельянина костра остались только эти двое. Девчонка улыбается да все посматривает на Емельяна, все посматривает... А Емельян лицом чист, глаза веселые, кой-какие черные усишки стали пробиваться. Девчонка глядела-глядела, да и говорит:

– Ви ист дайне наме? (Как твое имя?)

– Исть дать вам?.. – переспросил Пугачев. – Да чего я вам дам, сам все съел... На вот! – и он, порывшись в вещевом мешке, подал девушке завалящий ржаной сухарь.

Та затрясла головой и отстранилась, а толстозадая поставила корзину, взялась за бока и захохотала на всю площадь. Девушка, обращаясь к казаку, опять что-то залопотала не по-русски. Емельян мазнул пальцем по усишкам, прикинул в мыслях и ответил:

– Нетути, я не женат пока, я холостой. Хочешь замуж за меня?

Девушка переглянулась с матерью, улыбнулась и потупилась. Емельян от пива был совсем веселенький. Он подумал, что девчонка, пожалуй, непрочь бы выйти за него на небольшое время замуж: мужики все на войне, одно старичье осталось...

– Да вы садитесь, чего стоять-то... В ногах правды нет! – Сидя на брошенном у костра седле, он подтащил войлочный потник, раскинул его возле себя и вежливо потянул девушку к себе за край подола. – Садись, Настя, не бойся!

Та быстро нагнулась и с хохотом ударила Емельяна по озорной руке. Емельян, приятно всхрипнув, также захохотал и сказал толстой прачке, елико возможно поясняя свои слова жестами:

– А ты, мамаша, шагала бы отсюда прочь... Глянь – прешпект какой важнецкий, церковь Божья. Иди, пройдишь.

– Найн, найн, – затрясла головой прачка.

– Ну, най, так най... Черт с тобой, старая ведьма! – сказал Емельян с досадой.

В нем вдруг взыграла кровь донского степняка, он вскочил, вмиг облапил завизжавшую девушку, два раза чмокнул в щеку, а третий раз в уста. Но грузная прачка, хрипло заорав, дала ему такого леща по шее, что Емельян посунулся носом. И обе женщины с руганью побежали прочь.

С угла на угол сонно закричали караульные, залаяли сторожевые псы. От соседнего костра раздавался смех.

– Эй, Омелька!.. Баба-то удалей тебя, ладно смазала, – скалил зубы проснувшийся казак.

Емельян потер шею, опять присел к костру, стрельнул смеющимся глазом вслед удалявшимся злодейкам, пробурчал:

– Погодь, погодь, немецкая корова.

Он вынул оселок, поплевал на него, стал натачивать саблю. Собаки смолкли, снова тишина. Редкий летел снежок. На площади сквозь мглу серели торговые будки и ларьки. Где-то через площадь высоко огонек мутнел. С башни ратуши плавно прозвучал серебряный звон – одиннадцать. Прошел быстрым маршем военный патруль. Казачьи костры погасли.

Емелька громко позевнул, поскреб пятерней густые волосы, привязал к ноге дремавшую свою лошаденку и, сладко улыбаясь грезам, завалился спать, седло в голову. Сны снились военные – топот копыт, барабан, звон сабель.

Пугачев жил весь в битвах. Жажда подвига, отвага, мечта о лихих наездах охватили его всего. Он мало думал о доме, о родных и совсем не думал о смерти. Он сжился с боевой обстановкой и чувствовал себя в ней как рыба в большой реке.

Его часть вскоре отозвана была из Кенигсберга на поле военных действий.

3

4 августа 1758 года русские войска подошли к Кюстрину и калеными ядрами в несколько дней сожгли почти весь город. Фридрих, находившийся возле Праги, кинулся на выручку крепости. Он тайком переправился чрез реку Одер ниже Кюстрина и этим маршем отрезал наши главные силы от корпуса генерала Румянцева, стоявшего в нескольких милях вниз по Одру.

Главкомандующий генерал Фермор снял осаду и, отойдя к деревне Цорндорф, расположился на выгодных позициях.

В девять часов утра 14 августа Фридрих излюбленным своим косым ударом напал на правое крыло русской армии, где стоял новонабранный корпус, люди которого хотя и были сильны, но еще не нюхали пороху. И все-таки они встретили шеренги прусских grenадеров дружным ружейным огнем, а русская конница, врубившись в ряды врага, принудила пруссаков попятиться. Русские успели забрать двадцать шесть неприятельских пушек.

Но тут приключилось несчастье. Русская многочисленная конница, со свистом и гиканьем вырвавшись из каре, подняла густейшую пыль, а сильный ветер, как на грех, дул в нашу сторону. Вторая русская линия сразу окуталась тучами пыли и дыма. Пыль залепила глаза, и – ничего не видать. Русские, залп за залпом, палили наугад, пули летели то в нашу конницу, то в нашу переднюю линию. Пользуясь удобнейшим случаем, прусский генерал Зейдлиц ударил всей своей кавалерией по русской коннице и опрокинул ее на нашу пехоту. Он сразу перепутал наши ряды, не стало ни фронта, ни линий, солдаты, разбившись врозь, дрались уже отдельными кучками. А пыль все гуще и гуще. Все стали незрячими. Еще минута, и русские перемешались с пруссаками. Стоном все застонало, началась резня.

А донские казаки, утекая, все еще оборонялись от кавалерии Зейдлица. Пугачев с азартом, с прикриком рубил и рубил. Он сбросил чекмень, потерял шапку, вот сабля его с силой ударила в чужое железо, сломалась, а кобыленка под ним зашаталась, осела и рухнула. И быть бы ему растоптанным стальными копытами вражеской конницы, но спасла его все та же непроглядная пыль. Ага, вот оно дерево, осокорь! Укрывшись за деревом, он мигом припал на левое колено и крепко упер в землю древко пики, прикрученной к правой руке выше локтя, а стальным острием ее и зорким глазом караулил врага, как зверолов медведя. Пред ним темной метелицей клубились пыль и дым, мимо него, гремя доспехами, скакали прусские всадники. Звяк, топот, хряст, выстрелы – и пика поймала вынырнувшую из пыльной завесы чью-то грудь. «О, майн Гот!...» – и проткнутый прусский всадник упал. Пугачев

разом к его коню, разом в седло, и куда-то понес его испугавшийся конь. Все это было делом минуты. Ружейные выстрелы, пушки гремят, крики, ругань, команда...

На правом крыле, где новобранцы, бой продолжался. Был полдень. Яркое солнце било прямо в глаза русским воинам, солнце слепило их. Под натиском сильнейшего врага новобранцы дорого продавали свою жизнь: падали, умирали, но не сдавались и не помышляли о бегстве. Но в конце концов пруссаки их смяли.

Во втором часу дня Фридрих приказал атаковать и левое крыло русской армии. Тут пруссаки наткнулись на закаленные боевые полки. Бравый кирасирский полк первый принял на плечи удар врага. Сухощавый длиннолицый полковник Петр Дмитриевич Еропкин отважно бился в первых рядах. Обок с ним богатырски рубил длинным палашем дважды раненный и не бросивший фронта молодой офицер Григорий Орлов.

Дружный ружейный огонь, молодецкая контратака ошеломили врага, и, потеряв мужество, враг вскоре побежал врассыпную. На глазах удивленного короля русские гнали пруссаков в болото, в трясину, поражая без милосердия. Сам король очутился в крайней опасности: почти вся свита его была побита, поранена, король ускакал, а флигель-адъютант короля, граф Шверин, взят в плен.

На левом крыле наша победа была очевидна.

Вдруг примчалась конница Зейдлица. Опрокинутые, спасавшиеся бегством пруссаки ободрились, их пехота снова бросилась вперед, завязалась упорная битва.

Русские пушки работали метко, ядра и бомбы врывались в гущу наступающих пруссаков.

– Пушка горячая, вашблагородие, дать бы остыть, – предупреждал Павел Носов подоспевшего офицера Григория Орлова. – Подряд двенадцать разов палили... Как бы не хряпнула.

– Черт с ней... Дуй тринадцатый!

– Ой, разорвет...

– Дай-ка я наведу, – и отважный Григорий Орлов, раненный в руку и ногу, сдерживая острую боль, подбежал к пушке.

Горячий бой гремел по всему фронту с переменным успехом. Русские войска упорно сопротивлялись численно превосходящим пруссакам. Особенно отличались наши мушкетерские полки. Третий мушкетерский под командой Бибикова потерял в бою почти всех офицеров и много солдат. Юный поручик Михельсон был тяжело ранен штыком в голову. С обеих сторон потери были огромны.

Пугачев с казаком Семибратовым вез в тороках, как в люльке, старика-генерала Броуна, получившего семнадцать ран. Множество санитаров с носилками непрерывно подбирали изувеченных воинов.

Солнце меркло, садилось, а бой все гремел.

Поздний вечер. Обе стороны расстреляли весь порох, дрались врукопашную. Штыки, сабли, приклады, ножи – все было пущено в ход. Душили один другого руками, в кровь царапали лица, грызлись, как звери. Все люди как бы посходили с ума.

Но вот прихлынула тьма. А вместе с ней нечеловеческая ярость бойцов начала резко выдыхаться: воля парализовалась, мускулы потеряли силу, веки враз отяжелели, бойцов охватила какая-то дурманная, необоримая сонливость. Сражение всюду стало само собой стихать. Вконец ослабевшие противники, прерывая ожесточенную драку, с закрытыми, как у лунатиков, глазами, падали там, где захватила их ночь. И почти сразу же крепко засыпали. Живые валялись в темноте попережку с мертвецами, русские – с пруссаками. Над страшным ночлегом носились бредовые выкрики, вопли, неестественный хохот, визг. Люди, оплоумев, вскакивали, махали руками: «Коли! Пли! Ур-р-ра!» – и снова валялись на политую кровью луговину.

Главные силы обеих армий всю ночь простояли под ружьем. Солдаты, кой-как поужинавши сухарями с водой, всю ночь не смыкали глаз: враг рядом, а Фридрих коварен, хитер. Павел Носов сидел на лафете пушки и, чтоб не сборо́л сон, тихонько мурлыкал солдатские песни. А Емельян Пугачев и не слышал, как заснул. Его разбудила утренняя зоревая пушка.

Ночь прошла. Стали бить зорю. Солдаты по своим частям вместе со священниками и дячками пели утреннюю молитву. Вновь начались небольшие стычки с неприятелем.

Никто не мог решить, кому же принадлежит победа. Весь штаб советовал Фермору дать немцам бой: русская армия сильна, солдаты только-только «вошли во вкус»... Но Фермор, струсив, приказал отступать. Русские стали отходить не спеша и в полном порядке. Фридрих преследовать их не отважился: у него не было поро́ху, люди и кони его утомились. Он ушел в Кюстрин.

И опять стали роптать у костров младшие офицеры и солдаты:

– Лютеранин... немец... Подкуплен... Какой он командующий! С корпусом Румянцева не сумел соединиться. А всю армию построил встречу ветра, против солнца и едва всех не погубил. Изменник!..

Слово «измена» звучало в русской армии с самого начала войны. И не без основания.

Пружины, нажатые в Петербурге английскими посланниками Уильямсом и Кейтом, действовали вовсю. В дело измены родине были совращены фельдмаршал Апраксин, друг и поклонник Фридриха II граф Головкин и другие. Фридрих получал нужные ему сведения и от прочих лиц, проживавших в Петербурге: от своей сестры принцессы Оранской, саксонского резидента Функе, шведа Горна, курляндца Мирбаха, голландского посланника ван Сварта, пользовавшегося, через попустительство Бестужева, наибольшим доверием русского двора.

Все эти предатели, а с ними и множество других, были подкуплены английским и прусским золотом.

И лишь наследник русского престола великий князь Петр Федорович действовал в качестве прусского шпиона безвозмездно, ради преклонения пред Фридрихом II, ради презрения к России. Иногда присутствуя на заседаниях военной конференции, он все ее военнотактические планы с поспешностью пересылал в ставку Фридриха, который таким образом узнавал их раньше, чем русское командование.

Сотня, где был Пугачев, получила задание конвоировать наших раненых офицеров в город Кенигсберг. Расставаясь с Пугачевым, старый служака Павел Носов сказал:

– Ну, бывай здоров, сынок! Не ведаю, доведется ли свидеться. Уж больно свирепа война-то, чуешь. Ох, Господи, прости... Как бой – ничего, притерпишься. А как оглянешься назад, – по спине мурашки. И глянь – какие храбрые, сукины коты, стрель их в пятку!.. Что наши солдаты, что немецкие. Да не отстают и господа офицеры. Хоша бы взять Григория Григорьевича Орлова. Чем не орел? По всем статьям – ирой!

4

Мелкопоместных дворян Орловых было пять братьев. Блистательной славой при дворе пользовался Григорий Григорьевич Орлов.

Двадцатипятилетний силач, красавец, он вел жизнь, полную разгула и веселости. В прусской войне, в ожесточенной битве при Цорндорфе, офицер Григорий Орлов удивил войска неустрашимой своей храбростью, равнодушием к опасностям, азартной игрой в смерть и в жизнь. Он получил в бою три ранения, но все-таки остался жив и не покинул своего поста.

В той же битве взятый в плен адъютант прусского короля граф Шверин в марте 1759 года перевезен в Петербург. К соблазну многих, ему отвели только что отстроенный великолепный дворец Строганова у Полицейского моста на Невском; вообще, он чувствовал себя в России не как военнопленный, а как «знатный иностранец».

Великий князь Петр принял графа Шверина с распростертыми объятиями, вместе с ним бражничал, открыто катался по городу. Петр однажды сказал ему:

– Я считал бы первойшей честью для себя служить в армии великого полководца короля Фридриха.

– Если будет позволено вашим высочеством, я почту за особое счастье довести о сем до сведения его величества, моего владыки, – воскликнул Шверин, с изумлением уставившись в наивно веселое лицо Петра.

– Нет, – чуть задумавшись, ответил Петр, – пусть это останется между нами. А впрочем... И знаете что, дорогой мой граф? Если б я был императором, вы не были бы военнопленным.

Бывший адъютант Фридриха II граф Шверин облобызал руку наследника русского престола.

Григорий Орлов тоже возвратился с театра войны в Питер, был в звании пристава при числен к графу Шверину и, вместе с графом, начал бывать при малом дворе, где впервые встретился с великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой Петра Федоровича, наследника престола. И сразу же подпал он под неотразимое обаяние молодой княгини.

В следующем, 1760 году, он уже артиллерийский поручик и личный адъютант генерал-фельдцейхмейстера, самого блестящего из русских вельмож графа Петра Шувалова, двоюродного брата Ивана Ивановича Шувалова, всесильного фаворита царствующей императрицы Елизаветы.

Ветреный Орлов к прелестницам никогда равнодушен не был. Он верен своей натуре остался и теперь. Как только сделался адъютантом Шувалова, нимало не смущаясь, тотчас же впал в блуд и отбил у своего сиятельного начальника любовницу, известную по красоте и развращенности княгиню Елену Куракину. С графом Петром Ивановичем Шуваловым от сего приключились скоропостижные немощи: геморрой, колики, кровавый понос и трясавица. И если б не тайное заступничество великой княгини Екатерины Алексеевны, падкому на любовь Григорию Орлову грозили бы неисчислимые невзгоды.

Ноябрь. Темная ночь. Мокрая с холодом непогодь. Нева злится. Небо черное, мрачное. Скрипят на Невском редкие заправленные маслом фонари. Будочники с алебардами топчутся возле своих будок, дуют от холода в пригоршни, сердито покрикивают в тьму: «Эй, кто идет? По-да-а-льше!»

Санкт-Петербург спит. Только у Григория Орлова на Малой Морской в окнах свет, парадная дверь настежь, дом полон гостей.

В двух первых комнатах молодые офицеры, сослуживцы Григория Орлова, режутся в карты. В третьей, где кабинет хозяина, веселый шум, взрывы раскатистого хохота: Григорий и Алексей Орловы рассказывают гостям похабные анекдоты. Тут были: капитан Преображенского полка Бредихин, измайловцы – два брата Рославлевы, Ласунский и прочие. Все молодежь. В коротких перерывах раздается:

– Митька, трубку! Митька, трубку!

Проворный казачок в голубой рубахе и сафьяновых сапогах с загнутыми носами то и дело подает гостям курящиеся трубки с длинными, в полтора аршина, черешневыми чубуками. Весь кабинет набит густыми клубами табачного дыма – едва мерцают в канделябрах огоньки.

Только что вошедший со свежего воздуха капитан преображенец Пассек принялся от адского дыма чихать и кашлять:

– Фу-фу... Да что вы, черти, как надымили! Ну чисто на прусской баталии у вас... Митька, трубку!

Его последние слова были приняты в хохот.

Григорий Орлов сказал:

– Что ж, прусский дух нам должен быть зело приятен: хоть и воюем с пруссаками, а между прочим они нам не враги...

– Как так? – приподнял густые брови Пассек.

– Не притворяйся, голубчик, дурачком, – продолжал Орлов по-французски, чтоб не понял казачок. Он говорил на чужеземном языке неважно, с запинкой, не вдруг подбирая слова. – Матушке государыне Елизавете надлежит скоро к праотцам переселиться, а будущий император наш, всему свету ведомо, почитает Фридриха Второго своим другом и во всем подражает ему.

Пассек подергал пальцами вправо-влево свой мясистый длинный нос, что-то пробурчал и устало повалился на турецкую кушетку. Он высок, широкоплеч, грузен, выражение лица приветливое, умное, носит парик, большой щеголь, часа по два проводит у зеркала. Как и большинство офицеров – картежник.

– Да-да, братцы-гвардейцы, – сказал густым басом верзила и силач Алексей Орлов. У него вдоль левой щеки глубокий сабельный шрам, нанесенный в пьяной драке лейб-компанцем Александром Ивановичем. – Приходит нам всем, гвардейцам, неминуемая беда. Великий князь нашу гвардию янычарами считает. Не кем-нибудь, а я-ны-ча-рами, ха-ха!.. И грозит унять.

– Хуже, – перебил его Григорий. – Недавно его высочество изволил выразиться так: «Гвардейцы только блокируют резиденцию, они не способны к военным экзерцициям и всегда для правительства опасны».

– Дурак, а умный, – кто-то неестественным голосом проквакал от печки и, сипло перхая, захихикал.

– Кто-кто дурак? – и все, широко улыбаясь, повернули головы в темный угол, к печке.

– А я знаю, про кого его сиятельство сказали: дурак, а умный, – прозвенел из полумрака веселый голос казачка. Мальчонка успел нализаться сладкого вина из опорожненных бутылок, не в меру стал развязен, сыпал табак мимо трубок, натыкался на мебель. – Это про великого князя... сказано.

Все громко, как грохот камней, захохотали, дым дрогнул, и дрогнули стекла. Из соседней комнаты на взрыв смеха прибежали Хитрово, семнадцатилетний вахмистр Потемкин и еще двое офицеров. Тоже принялись невесть чему хохотать. Хохотал за компанию и курносый Митька.

Григорий Орлов нахмурился и постучал в пол трубкой.

– Митька, – сказал он, – я тебе, мизерабль несчастный, до колен уши оттяну, я тебя завтра же продам на рынке, как курицу, а замест тебя арапчонка куплю. Пшел вон!

Казачок всхлипнул, стал тереть кулаками глаза и, пошатываясь, побрел к двери. Всем сделалось жаль маленького Митьку.

– Устами младенца сам Бог глаголет, – заметил капитан Пассек и подмигнул Митьке в спину.

– Эти боги на кухне околачиваются, – возразил Алексей Орлов, – денщики, да солдаты, да торговцы из мелочных лавчонок, сиречь – простой народ. Видали, господа? Это очень примечательно.

– Митька! – крикнул подобревший хозяин. – Встань передо мной, как лист перед травой...

Полупьяный, с воспаленными глазами, казачок выскочил из-за портьеры и повалился в ноги хозяину.

– Я вижу, подлец, что у тебя в безмозглой башке творится. Я тебя насквозь вижу, – притворно запугивал он Митьку, грозя пальцем. – Встань! И ежели ты, петух щипаный, еще

хоть раз скажешь или только подумаешь, что его высочество великий князь дурак, я тебе, знаешь, что сделаю?

– Зна-а-ю, – виновато хныкал Митька.

Все прыснули. Человек у печки подавился смехом и закашлялся. Митька ушел.

Григорий Орлов прикрыл за ним дверь и тихо, но с разжигающими жестами стал говорить:

– Эх, братцы-гвардейцы. И какой это, к чертовой матери, великий князь. Наши войска гибнут в прусской войне тысячами. У государыни Елизаветы слезы не просыхают от наших потерь, а рекомый русский великий князь радуется и похвывается, что он истый пруссак... А перстень носит с рожей короля Фридриха. Срам, друзья, срам...

– Вот этими своими ушами слышал! – громогласно закричал Алексей Орлов, но Григорий погрозил ему пальцем. Алексей сбавил голос: – Когда наши наклали немцам при Гросс-Эггерсдорфе, великий князь проклинал храбрость русских и с горя нажрался пьян как стелька...

– А вы ведаете, что есть пьяный великий князь? – подхватил Григорий Орлов и, запахнувшись в бухарский халат, стал взад и вперед вышагивать по кабинету. – Когда он нажрется красного вина да пива со своими голштинцами, он буйствует, ругается, как конюх... Обнажает шпагу! А кому от него больше всех тягостей? Разумеется, великой княгине. Уж мне ли не знать!

Все поглядели на него с надеждой, завистью и тревогой. Грузный Пассек перевалился на кушетке с боку на бок, язвительно сказал:

– Этот самый Карл-Петр-Ульрих из Голштинии, сиречь Петр Федорыч, смею молвить, разумом зело скуден. Ведь ему тридцать три года стукнуло, а он много дурашливей Митьки-казачка... Хотя бы эта игра в солдатики... Эта казнь крысы по законам военного времени... Позор!

Григорий Орлов и гости стали пить вино, жженку, шампанское. Пили с печалью, с раздражительным задором. Вино не веселило, вместо бодрой радости растекалась по жилам горечь.

– Да оно и понятно, господа, – желчно начал Пассек. – Ведь он же круглый неуч, только и всего, что на скрипке пиликает, да кадрили хорошо пляшет, да ногами прусскую муштру горазд откалывать. Что он читает? Ничего.

– Как ничего? Ошибаетесь, капитан, – прозвучал из темноты, от печки, все тот же насмешливый голос, неизвестно кому принадлежащий. – Недавно он закупил полвоза лютеранских молитвенников. А еще уважает читать кровавые сказки про разбойников. Вместе с метрессой своей Марфуткой Шафировой...

– Но ведь ныне при нем... – начал было молчавший до сего капитан Бредихин и осекся.

– Не смущайтесь, не смущайтесь, Бредихин, – и из-за печки вылез князь Михаил Иванович Дашков, муж молоденькой Екатерины Романовны Воронцовой, бывшей в дружбе с великой княгиней. Он вынул золотой с бриллиантами портсигар, достал заграничную сигару и от свечи закурил. – Вы хотели сказать, Бредихин, что великий князь путается ныне с моей свояченицей – с сестрой моей жены, с Лизкой Воронцовой? Ну что ж, всем сие ведомо, и... дуракам закон не писан... Словом, вкус у великого князя ничуть не лучше, чем у самого последнего капрала. Я Марфутку Шафирову весьма довольно знаю: костлявая, тощая, шея, как у цапли. Да и Лизка не лучше: словно телка холмогорская, толстая. И неряха. От нее всегда потом пахнет, как от козла. Фи! Ни дать ни взять – трактирная служанка. И в придачу – дура набитая. Ну, стало быть, два сапога пара – она да князь. А я милости у них не ищу, я ничего не ищу у них. А она, дура, черт знает о чем мечтает... Она, тетеха, мечтает ни больше ни меньше, как быть российской императрицей! – выкрикнул Дашков, с маху швырнул сигару на пол и, сердито отдуваясь, снова залез за печку.

Растерявшиеся гости не знали, как отнестись к резкой вспышке старшего товарища. В неловком молчании чокнулись, выпили.

Князь Дашков снова вылез из своего темного убежища. Ему хотелось высказаться до конца.

– И уж кстати, – начал он, насупив брови и глядя куда-то вбок. – А чего ради у нас такие потери на войне, почему нас иногда жестоко бьют? Да очень просто... Измена. Шпионаж. Вот смотрите: английский посланник Кейт – шпион, голландский ван Сварт – шпион, наш русский генерал Корф со своей любовницей – шпионы. И прочие, и прочие. Все они служат прусскому королю, все подкуплены прусским золотом, кроме нашего великого князя, который состоит шпионом Фридриха задаром.

– Не может быть! – все закричали в один голос.

– Говорю доверительно... Можете не верить, господа, это поистине чудовищно, но это так. Кейт всегда сообщает великому князю все новости с театра войны, разумеется – блюдя прусские интересы, а великий князь передает ему сведения о нашей армии.

– Тьфу! – с остервенением плюнул хозяин и по-солдатски обругался.

Кто-то из облаков табачного дыма уныло изрек, вздохнув:

– И это будущий самодержец Российской империи...

– Ну, сие еще бабушка надвое сказала, – загремел Алексей Орлов, потягивая горячую жженку. Он вспотел, шрам на его лице покраснелся.

– Этот чужак плюет на всех нас, – учащая свой шаг, в раздражении сказал хозяин, его взгляд стал зол и быстр. – Плюет на всю Русь, на религию, на все обычаи наши. А наипаче на гвардию. Он рад живьем нас слопать, да государыни побаивается. Словом... Надо как-то... Надо как-то позаботиться, господа, и о своих головах. – Последняя фраза была сказана не громко, но столь выразительно, что прозвучала в сердце каждого как боевой призыв.

Послышалось злобное покашливание, нервный звяк шпор. Младший женоподобный Рославлев стал тихонечко высвистывать воинственный мотивчик. У Бредихина дьявольски ныл зуб. Хватаясь за вспухшую щеку, он сказал:

– Ха! Гвардию уничтожить, гвардию уничтожить... Легко сказать. Гвардии десять тысяч. А у него кто? Голштинского сброда тыщи две-три... – Он приподнялся за столом и взял на больной зуб водки.

Григорий Орлов, не ответив на слова Бредихина, прислонился спиной к изразцовой, в синих голландских пейзажах, печке, закинул руки назад, полы халата повисли.

– И возьмите во внимание, – засверкал он большими, покрасневшими от частых кутежей глазами, – сей ублюдок день ото дня становится наглей. Раньше свою голштинскую форму с прусским орденом Черного Орла он позволял себе носить у себя в покоях, а теперь только в ней и щеголяет. Ха!.. А вместо гвардейской формы вашей, установленной великим Петром, вводятся, как вам ведомо, прусские разноцветные мундирчики в обтяжку с бренденбургскими петлицами. Ха! Ха!

Атмосфера накаливалась. В лицах гостей – напряжение, глаза озлоблялись. Наступило гнетущее молчание. Но чувствовалось, что тишина вот-вот взорвется. И вдруг, как из тучи гром:

– Действовать! – выпалил силач-рубака Алексей Орлов и, притопнув, вскинул кулаки. – Действовать, действовать, братцы, надо. Действовать, пока не поздно...

– Но как, как? – привстав на кушетке, пожимал мясистыми плечами рослый Пассек. – Ежели имеешь план, скажи... Как?

– Ребята, слушайте меня, – низким басом протрубил Григорий Орлов. Он запрокинул голову, касаясь затылком печки. – Мы здесь люди свои, каждый за каждого поручиться может. Обстоятельства таковы... Не от себя, не от себя говорю вам. Вы понимаете меня, ребята? От причуд этого шута венценосного наипаче страдает великая княгиня (Григорий на

мгновение смежил глаза, представил себе облик Екатерины Алексеевны). И по величайшему секрету вам: у Петра Федорыча в голове решено и, как говорится, подписано: коль скоро станет он самодержцем, жену немедленно заточит в монастырь, а в государыни возведет Елизавету Воронцову... (– А не я ль вам говорил?! – спросил из-за печки князь Дашков.) Да, да. А сына Екатерины, Павла Петровича, лишит законного права на наследование престола. Чуете, ребята? А нас, дворян российских (он впился в распахнутые полы своего халата и потряс ими), а нас, дворян, рекомый сатрап турнет ко всем чертям и замест вас призовет пруссаков с голштинцами, как уже призвал двух голштинских дядьев своих. Вот вам истина, если хотите. Под клятвой подтвердить могу...

Взволнованные гвардейцы нервно кусали губы, вгрызались в чубуки, зябко вздрагивали. Перед ними вставали судьбы родины, в мыслях подымались мрачные вопросы, кровно задевавшие их как представителей родовитого дворянства.

Григорию Орлову жарко от печки, от вскипевшей крови. Сбросил халат, вновь стал мерно вышагивать по комнате. В белейшей, в плиссе и кружевах, сорочке, заправленной в короткие, цвета сирени, панталоны и перехваченной по талии чеканным серебряным поясом, он широкоплеч, высок и строен. На сильных, с большими икрами ногах шелковые светлые чулки и бархатные туфли с высокими каблуками. Взволнованные гости невольно залюбовались и его великолепной, как изваяние отличного скульптора, фигурой, и величественной поступью, и красиво очерченным, вызывающе смелым, выразительным лицом. Они были влюблены в Григория Орлова – и гости и братья его.

– Итак, – продолжал хозяин, по-умному подчеркивая нужное жестами и голосом, – великой княгине угрожают беды, дворянству – неисчислимы невзгоды, престолу российскому – потрясения, а в перспективе всей родине нашей – мрак. Что ж нам делать, друзья мои? – Он поджал губы, обвел гостей взором вопросительным и шумно задышал.

Молчали. Ждали подсказа от хозяина. Только Алексей Орлов не сдержался, выкрикнул: – Дерзать!.. Вот что делать. Действовать!

Григорий Орлов движением руки и холодной улыбкой остановил горячность брата и стал говорить, торопясь и задыхаясь:

– Великий князь вместе со своими надменными голштинцами презирает великую княгиню, презирает все русское. А великая княгиня русский народ любит и славой российского оружия дорожит. Она чает, что на ее защиту встанут офицеры гвардии и войско, она также полагает найти опору и в публике... – Вдруг он спохватился, нахмурил брови, отрицательно затряс головой: – Нет, нет... Клевещу на нее. Этого желанья я из ее уст не слышал и вам о нем не говорил. Ее высочество лишь обретается в сугубом унынии и день и ночь. Ее высочество зело скорбит, однако к ограждению покоя своего никаких мер принимать не тщится, во всем полагаясь на произволение Божие...

Невидимка Дашков на два смысла улыбнулся. Григорий Орлов ныряющей походкой приблизился на цыпочках к двери в соседнюю комнату, без шума закрыл ее, прижался к ней спиной. Его лицо стало таинственным, дугой изогнутые брови поднялись, он подался корпусом вперед и, глядя в глаза капитану Пассеку, зашептал:

– Ребята, а знаете что? Государыня Елизавета почитает Петра Федорыча неспособным к правлению страной, что он не достоин-де занимать трон. Ее величество извоили выразиться про него: «Племянник мой урод, черт его возьми!» Ее величество склоняется назначить своим преемником малолетнего Павла Петровича. Да и сама великая княгиня Екатерина будто не раз говаривала датскому посланнику барону Сетей, что она предпочитает быть матерью императора, чем супругой его. Поняли, ребята? – громко закончил Григорий Орлов и посверкал на всех глазами. – Ну а дальше что? Как вы, ребята, себе мыслите? Император малолетний Павел, при нем регентшей Екатерина – мать. А Голштинского выроodka, Петра,

куда? – Он скрестил руки на груди, поджал полные губы и выжидательно стал раскачиваться корпусом.

– Время покажет, – раздумчивым тоном промолвил Пассек.

– Ха, время, – с ехидством улыбнулся хозяин, брови его изломились в гневе. – Вот мы, русские, всегда так. Авось, да небось, да как-нибудь. Ну что ж, время так время. – Он легким шагом приблизился к столу, выпил чарку водки, крикнул, съел груздок. – Все ж таки солдатам, ребята, надлежит помаленьку внушать, остороженько, с умом... Только на это денег треба, а денег у нас черт ма. Нету!.. Эх, черт, не везет нам... – Ударом ноги он опрокинул расшитый шелками каминный экран, устало опустил на кушетку, подпер ладонью голову с завитым в букли припудренным париком и закрыл глаза.

Гости поняли – хозяин утомился, пора по домам. Слышно было, как черный ветер лижет окна, с визгом врывается в печную трубу, гонит по улице сорванный с крыши железный лист. С Петропавловской крепости ударила пушка – прибывает вода в Неве. Английские куранты в глубине кабинета пробили три часа и стали бредить-вызванивать серебряную пьеску. Подвыпивший Алексей Орлов от нечего делать сидел у печки, возился с железной кочергой. Мало-мало попыхтев над ней и запачкав руки, он связал из кочерги, как из веревки, узел. Все взирали на его работу с удивлением.

Вдруг, сломав угрюмую тишину, с тавризского, увешанного старинным оружием ковра, что прибит над кушеткой, сорвался проржавленный средневековый топор. Он стукнулся торчком в тугую спину согнувшегося Пассека, затем перепрыгнул в колени дремавшего Григория Орлова. От неожиданности все вздрогнули, переглянулись. Григорий Орлов боднул головой и гадливо отшвырнул топор, его сонные глаза расширились, лицо побелело.

– Топор... Топор... – с глухим хрипом сказал он. – Что сие значит, господа?

– Ничего не значит, – отозвался из-за печки голос. – Выскочил гвоздик. Вот и все. – Сказав так, князь Дашков выпростался на свет Божий, поднял топор, подслеповато присмотрелся к нему и сказал с ухмылкой: – Эх, топорик, топорик... Вот смотрю на тебя, а на язык просятся жестокие слова временщика Бирона. Проклятый палач сказал: «Русскими должно повелевать кнутом или топором». Но ради чего до сих пор уцелела на плечах его собственная башка – не ведаю и немало тому дивлюсь.

Глава III

Большое Кунерсдорфское сражение

1

Генерал Фермор вскоре после Цорндорфской битвы от главного командования был отстранен. В Кенигсберг прибыл новый главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков. Старичок маленький, простенький, седенький, он гулял по улицам города в скромном белом, украинских полков, кафтане без всяких побрякушек и пышностей, его сопровождали всего лишь два-три человека свиты. Кенигсбергцы дивились, как этой «беленькой курочке» доверили командовать «столь великой армией». Но вскоре слава о нем разнеслась повсюду.

Летом 1759 года русские войска стали лагерем в четырех верстах от города Франкфурта, что на реке Одере, у деревни Кунерсдорф. Здесь 1 августа произошло самое крупное, самое кровопролитное за всю Семилетнюю войну сражение.

Армия заняла холмистую местность на северо-восток от Одера. Деревня Кунерсдорф находилась в середине расположения войск.

По всему русскому фронту версты на три – цепь костров. Заря давно погасла, в небе стоял белесый месяц, мигали звезды. Деревня Кунерсдорф была пустынна: все жители, стра-

шась предстоящей битвы, скрылись в леса. У костров солдаты ели кашу, кой-где пели песни и плясали. Иногда слышался дружный хохот. Приблудные собаки, весело взлаивая, перебежали от костра к костру. Многие из псов жили при армии года по два, по три, они делили с войсками все ужасы похода и доставляли солдатам немалые развлечения и радость.

Полковник 3-го мушкетерского полка Александр Ильич Бибииков стоял на лысине кургана. Прислушиваясь к звукам обычной лагерной жизни, он окидывал грустным взором и чуждый небосвод, и укутанную голубоватой полутьмой чужую землю. Ведь завтра на всем этом обрамленном кострами пространстве, вместо песен и смеха, загремит кровопролитный бой. И эти песенники, и эти бесшабашные плясуны, может быть, первыми сложат здесь свои головы. Вздвонванный Бибииков взглянул в сторону далекой своей родины, прерывисто вздохнул и, вынув пенковую греческую трубку, пошел к ближайшему костру, чтобы закурить от уголька.

У костра было людно, весело. Мушкетеры – народ средних лет и молодые – слушали старого солдата Никанора из Олонецкого края. Он грубыми кривыми пальцами звонко играл на небольших походных гусях и сиплым голосом вел былину про Илью Муромца. Старые, замызганные, со следами огненных угольков от костра, эти гусли принадлежали еще деду Никанора, солдат дорожил ими. В его торбе были икона, гусли и в тряпочке щепоть родной земли.

Многие солдаты возили с собой, как нечто самое святое, родную землю.

Все с любовью посматривали в беззубый рот старого сказителя, на его обвисшие щеки и напряженные морщины на вспотевшем лбу.

Молодой офицерик Михельсон, коротавший время у костра, увидав подходившего Бибиикова, вдруг вскочил и скомандовал:

– Смирно!

Все поднялись и – навывтяжку.

– Вольно, ребята, – мягким тенористым голосом сказал полковник, щуря от света внимательно глядевшие карие глаза. – Ну как? Воюем завтра, братцы?

– Воюем, вашскородие, – в один голос ответили солдаты.

– Смотрите, жарко будет... Сам Фридрих здесь, – сказал, улыбаясь, Бибииков.

– Нам это нипочем, вашскородие, – заговорили солдаты. – Фридрих ли, алибо кто другой.

Все стояли, сидел один лохматый Шарик и, поглядывая в продолговатое, с высоким лбом, добродушное лицо Бибиикова, мел хвостом землю.

– Помните, братцы, – продолжал Бибииков, попыхивая трубкой. – В бою поглядывай друг за другом, береги товарища. В случае опасности не прозевай выручить. Не бойся! Начальство слушай, да и сам мозгами шевели.

– Да уж охулки на руку не положим... Поди, не впервой!

Темно-бронзовые от загара лица солдат были бодры, голоса звучали уверенно. Бибииков с радостью подумал: «Ну и молодцы, Русь сермяжная. С такими весь свет штурмовать можно».

– Ну, спокойной ночи, братцы! Поди, и спать пора, – проговорил Бибииков. И, обратясь к Михельсону: – А ну, господин поручик, пройдемся.

Быстроглазый круглолицый Михельсон шагал рядом со своим полковником.

– Ну, дружок Иван Иванович, как живешь? Что из деревни пишут? Ну, как голова? Болит?

– Нет, господин полковник, – по-юношески звонким голосом ответил Михельсон и потрогал глубокий шрам на голове от штыковой раны, полученной им под Цорндорфом. – Боли особой не чувствую, а в ушах шумит. И бессонница порой...

– То-то же... Поберегать себя надо, дружок. Который тебе год?

– Девятнадцать скоро.

– Юн, юн. Поберегай, мол, себя-то, на рожон не лезь. Храбрость без ума недорого стоит.

– Сладить с собой не могу, господин полковник. Война для меня – как вода для рыбы. Я для войны рожден. И как бой – все позабываю. В чувство прихожу лишь после боя. Я смерти не боюсь, господин полковник.

Взобравшись на бугор, они шагали взад-вперед возле палатки Бибикова.

– Господин полковник, – заговорил Михельсон, – а верно ли, что у Фридриха наемные войска?

– А ты не знал? – поднял брови Бибиков и взял молодого человека под руку. – Это нам еще в Петербурге было ведомо. У Фридриха рекрутского набора нет. Он большую часть своего войска вербует через помещиков из их же крепостных, либо из городских голодранцев. А четверть его солдат вербуются из всякого заграничного сброда: тут тебе и швейцарцы, и голландцы, англичане, испанцы, французы да всякого жита по лопате.

– Удивляюсь, – пожал плечами Михельсон. – Чего же ради они столь храбры, весь этот сброд?

– А пуля офицера в спину трусу, а палки, а шпицрутены?.. И поверь, дружок Иван Иванович, долго ли, коротко ли, Фридрих напорется на русские штыки, и от его военной славы только чад пойдет. – Бибиков был взволнован, говорил приподнятым голосом и все больше и больше ускорял свой шаг.

– Я тоже так мыслю, – охотно согласился с ним Михельсон, его круглые щеки порозовели.

Костры один за другим угасали, звуки стушевывались, меркли. Лагерь погружался в сон.

– Ну, прощайте, голубчик. Идите спать. Давайте-ка поцелуемся, – и Бибиков по-родственному обнял растроганного Михельсона. – Значит, Фридриха завтра бьем?

– Бьем, господин полковник.

2

Меж тем скороспешный Фридрих поднялся в два часа ночи, сигнальными ракетами разбудил свою армию и сразу двинул ее в поход.

Сухощавый, несколько сутулый, с прямым длинным носом, небольшим строгим ртом, острым подбородком и огромными темно-синими глазами, оживлявшими мускулистое загорелое лицо, Фридрих, объезжая полки и батареи, громким, мужественным голосом кричал:

– Солдаты! Поздравляю с походом. В бою назад ни шагу. Умри, но победи. Ваш король всегда среди вас... Вперед!

Ближняя дорога лежала через лес и крутые горы, разделявшие обе армии. Чтобы не утомить солдат, он повел их в длинный обход и появился на виду у русских только около полудня.

Не дав русскому командованию опомниться, а своим солдатам отдохнуть, он решил быстро напасть на левый русский фланг и начал строить части своих войск, стягивая их к перелескам.

На левом крыле стоял князь Голицын с «новым корпусом» из молодых солдат. Поперечная линия, обращенная непосредственно против врага, за теснотой места состояла лишь из двух полков.

Затрубили трубы, забили вражеские и русские барабаны, заиграли оркестры. Шеренги прусских гренадеров, выйдя из леса, устремились в лог, чтоб сбежать затем в глубокий овраг.

– Батареи! Огонь картечью!..

Бомбардир Павел Носов с горящим смоляным факелом подскочил к своей пушке.

Многочисленные батареи метко разили бежавшего на русских врага. Но враг, пополняя убыль все новыми и новыми шеренгами, стремительно спускался вниз, в овраг. Преодолев кручу, неприятель выбрался наверх. Русские изрядно стегнули его пушечной картечью и ружейным огнем. Однако немецкие гренадеры по телам своих убитых товарищей яростно бросились на два русских полка. Оба полка вскоре были смяты пруссаками.

Князь Голицын взамен погибших полков двинул четыре мушкетерских, чтоб короткими людскими перемичками задержать напор врага.

Третий мушкетерский полк вел в бой Бибиков. Когда его полку приспело время драться, юный Михельсон будто охмелел. Он выхватил у своего ординарца пику и с воплем «Вперед, ребята!» бросился в гущу неприятельских шеренг. Он сразу же дважды был контужен, затем тяжело ранен пулей навывлет в поясницу. Потеряв сознание, он повалился на трупы. Бибиков, заметив это, поскакал вперед: «Солдаты! Спасай поручика Михельсона». И вот Михельсон найден и со слабыми признаками жизни отнесен под градом пуль в место безопасное. Первым бросился его спасать старый солдат Никанор, гусельник. У него у самого сильно оцарапана штыком щека, сочилась кровь, но он этого не замечал. Из грязной бутылки он плеснул в побелевшее лицо Михельсона водой. Михельсон открыл глаза, весь сморщился, оскалился от страшной боли, застонал.

Солнце ярко горело в небе. Изнурительный зной охватил всю землю. Двести неприятельских пушек гудели не переставая; пороховой дым клубился, застилая пространство. С грохотом и пламенем разрывались бомбы и ящики с зарядами, взлетали на воздух колеса, лафеты пушек, разорванные на части тела людей и лошадей.

Мушкетерские полки дрались с неослабевающим мужеством. Бибиков все время был на линии огня. Вдруг вблизи рванула бомба. Конь Бибикова сразу рухнул и подмял под себя седока. Бибиков, ушибленный конем и оглохший от взрыва, едва поднялся. Его увели.

А неприятель, щедро подкрепляемый свежими силами, стал одолевать и полки мушкетеров. Многие русские батареи были уже в руках врага. Пруссак стремительно подавались вперед.

Положение русской армии становилось трудным.

Главнокомандующий Салтыков приказал генералу Панину бросить в бой еще два гренадерских полка. За теснотой места русским невозможно было сразу развернуть свои силы. Между тем Фридрих, перестроив свои войска в массивную колонну, решил загнать русскую армию, как гигантским поршнем в трубе, на правый наш фланг и там расплющить ее. Густая колонна неудержимо двинулась на русские позиции.

Уже деревня Кунерсдорф, расположенная в середине нашего растянувшегося длинной и узкой лентой фронта, осталась у Фридриха в тылу. Фридрих торжествовал. Фридрих явно видел, что русским некуда податься: слева – река, справа – непроходимое болото, впереди – буераки. Они должны были сдаться в плен или погибнуть.

Русское командование растерялось. Салтыков соскочил с коня, пал на колени, молился: «Господи, вразуми! Спаси вверенное мне воинство».

Торжествующий Фридрих, обращаясь к свите, приказал:

– Гонцов! В Берлин, в Шлезиию, к брату моему принцу Генриху. К закату солнца русская армия будет уничтожена.

Гонцы тотчас мчались с отрядным известием.

Через некоторое время кровавая битва как-то стихийно стала затихать. Пруссак ослабили свой яростный напор. Измученные, они хотели передышки. Генералы из свиты советовали распаленному Фридриху, ввиду полной прусской победы, остановить бой.

– Господа генералы! – воскликнул Фридрих и, достав золотую табакерку, нюхнул табак. – Господа генералы! Русскую армию нужно не только побеждать, но истреблять до конца. Иначе она снова возродится.

Опытный воин генерал Зейдлиц особо настойчиво обратился к Фридриху:

– Ваше величество! Победа очевидна. Русские загнаны на тесный правый фланг. Большинство их орудий в наших руках. Наши солдаты изнемогают от десятичасового перехода, от непрерывной кровавой схватки, от ужасного зноя. Они с двух часов ночи на ногах... Разгром русских можно завершить завтра.

Фридрих задумался. Кусал сухие тонкие губы. Подбородок его еще более заострился, прямой взмокший нос хмуро навис над кривившимся ртом. В душе он ненавидел Зейдлица как своего соперника, готового похитить его боевую славу.

– Хорошо, – сказал король, тяжело переводя дыхание, и отхлебнул из фляги глоток холодного кофе, все лицо его было покрыто обильным потом. – А ты, Ведель, как думаешь? – обратился он к своему молодому любимцу.

– Я с вами согласен, ваше величество. Бой надо продолжать до конца, чтоб не дать врагу передышки.

– Отлично! Реванш... – охрипшим голосом закричал король, выхватывая шпагу. – Ну, так с Богом, марш вперед!

И крепко прищепил лошадь. Генералы переглянулись. Зейдлиц, пожимая плечами, с ненавистью покосился на ничтожного царедворца Веделя и поскакал к своим кавалерийским полкам. За королем двинулся отряд гусаров-телохранителей.

– Солдаты, вперед! – выкатывая глаза, скомандовал Фридрих. – Ваш король с вами!

Пруссаки действительно устали, они изнемогали от жары, от неукротимой жажды, но, видя среди своих рядов короля, с новыми силами послушно бросались вперед. Правый русский фланг был от врага еще далеко. Многие полки стояли там в тесноте, в бездействии. Запряженные парами волы подвозили с реки воду. Здесь было сравнительно спокойно, бой кипел в двух верстах. Но многочисленные маркитанты быстро собрали палатки, сложили товары на возы, приготовились к бегству.

Граф Салтыков стоял со свитой на высоком пригорке. Прищутив глаза и прикрываясь ладонью от солнца, он зорко наблюдал за ходом сражения. Пороховой дым сизыми клочьями плавал над побоищем.

– Выдыхаются, выдыхаются, – бормотал Салтыков себе под нос. И вдруг закричал: – Господа! Немцы выдыхаются... А где австрийцы со своим Лаудоном?

– На еврейском кладбище, возле наших батарей, ваше сиятельство.

– Ввести в действие. Они застоялись.

С приказом поскакал адъютант. К Салтыкову с разных мест боя подъезжали ординарцы, курьеры, адъютанты.

– Ваше сиятельство, – взмокшие от пота, задышливо рапортовали они, в их глазах мелькала тревога. – Ваше высокопревосходительство! Фазис боя критический. Пруссаки пытаются заключить нашу армию в мешок!..

– А мы в этом мешке сделаем такую дырицу, что немцу и не заштопать, – с юмором и прежним мужеством ответил седенький простенький главнокомандующий. К нему вернулись самообладание, воля, ясность ума. Без мундира, без знаков отличия, простоволосый, в одной пропотевшей дотемна рубашке, он поскакал со всем штабом на другой высокий взлобок, еще раз окинул взглядом клубившуюся дымом и грохотом арену битвы.

– Берегите вон ту высоту... как ее?... Шпицберг, – показал он трубой, – и другие высоты. Чтоб доконать нас, немец неминуемо полезет на них. Скажите Фермору и графу Румянцеву, чтоб занимали высоты. Да чтоб дали нашим молодцам по чарке водки.

Три иностранных волонтера, бывших при штабе, наперебой говорили Салтыкову по-французски:

– Ваши солдаты, граф, достойны удивления. Мы с утра были в самом пекле. Они как железные...

Салтыков с благодарной улыбкой кивнул им и положил в рот питерский сладкий леденчик.

3

Шесть часов вечера, солнце склонялось, жара сдавала, но бой стал разгораться с новой силой. Румянцев с Фермором начали занимать указанные главнокомандующим высоты, там были русские батареи.

И действительно, чтоб сделать нам пагубу, Фридрих вскоре повел войска брать высоты. Главные силы его были обращены на высоту Шпицберг. Он бесстрашно скакал по шеренгам солдат, воинственными криками поощрял их к бою:

– Вперед, герои мои!

– К черту! – брызжали в ответ уставшие гренадеры, провожая короля злобными взглядами.

– Господа ротные командиры! – стараясь преодолеть гул ружейной пальбы, орали во весь рот полковники, разъезжая сзади атакующих шеренг. – Принудьте капралов усердней погонять людей.

Упитанные капралы направо-налево лупили отстающих солдат увесистыми палками:

– Вперед, усатые черти, вперед!

Вот удар палки обрушился на голову замедлившего шаг солдата-ирландца. Тот повернулся к капралу и крепким ударом приклада сшиб его с ног. Щелкнул выстрел, ирландец упал, офицер-палач, убив ирландца, опустил дуло дымившегося пистолета.

– Вперед, усатые черти, форан, форан! Пулю в спину! – и палки капралов бьют измученных прусских солдат, погоняют их, как стадо на бойню.

Пуля ударила в королевского коня, конь упал, упал и Фридрих. Падая, он обостренным сознанием уразумел, что все его дело проиграно и все возможности остановить битву для него исчезли: вновь вспыхнувшее побоище приняло стихийный характер, и не во власти человека было прервать его. Флигель-адъютант Гец подхватил короля, предоставил ему свою лошадь.

– Ваше величество! Мы не можем рисковать вашей жизнью, это место крайне опасное, – со всех сторон предупреждали короля.

Фридрих криво ухмыльнулся, в огромных глазах его бешенство.

– Нам подобает все испытать для получения победы, – нимало не веря в победу, нервно сказал он, садясь на коня. – И мне надлежит так же хорошо исправлять свою должность, как и всем прочим.

Ядра русских орудий, град русских пуль косили неприятеля. По склонам холмов немцы, как сумасшедшие, лезли на приступ высот. Русские дрались с небывалым мужеством, с запальчивым ожесточением. Лежа, с колена, стоя они встречали врага ружейными залпами и, расстреляв порох, бросались врукопашную. Здоровенные парни попеременно с седыми стариками кидались на врага дружно, без страха, напористо: «Вали, вали, братцы! Коли их, окаянных!» Взмахивают штыки и приклады, сверкают сабли офицеров; стон, визг, падают, падают, падают... На смену им – новые.

– Напирай, ребята, напирай! Ломай хребты.

И вот, шаг за шагом, пруссаки начинают сдавать, под натиском русских штыков сползают с горы.

– Форан, форан! – хрипло орут капралы, понуждая солдат палками. Но ряды пруссаков заметно тают, капралов тоже становится все меньше и меньше. На подкрепление разбитых рядов раздраженный, встревоженный Фридрих бросает новые силы. И снова:

– Форан, форан, усатые черти! Вперед!

Молодой подполковник Александр Васильевич Суворов, штабной офицер дивизии Фермора, выпросил себе четыре роты: «Ваше превосходительство, дозволейте. Душа горит». Небольшого роста, сухонький, вихрастый, с длинной шпагой в руке он бежит впереди своих молодцов, с ловкостью перескакивает через канавы и рвы. Достигнув места схватки, он весело подмаргивает солдатам, кричит:

– Стрелять недосуг, в штыки, в штыки!

А поработав геройски штыками, под условный крик Суворова: «Умерли!» – суворовцы, один по одному, падали на землю. И когда напирал враг, считая их мертвыми, пробежал над ними вперед, вдруг, по звонкой команде Суворова: «Ожили!» – все вскакивали и с оглушительным криком «Ур-р-р-а-а!» разили неприятеля в тыл штыками и пулями.

Тем временем железная конница генерала Зейдлица, последний оплот короля, полк за полком, бросалась на штурм наших высот. Но меткий огонь русских пушек гнал их прочь. Сам Зейдлиц был ранен. Его сменил принц Евгений. Прусская конница трижды кидалась на приступ и всякий раз отступала с уроном. Во второй атаке был ранен картечью и принц. На выручку потрепанной коннице ринулись белые, королевской гвардии, гусары. Русские пули и ядра быстро смяли их. Предводитель гусаров разорван вместе с конем русской бомбой.

Румянцев и Панин вводили в бой свежие силы, умело обрушивая их на противника. Граф Салтыков с напряженным вниманием озирает в «перспективную» трубу поле битвы. Внешне он был спокоен, но все горело в нем. Он посапывал, то и дело облизывал пересохшие губы, возле выпуклых слезящихся глаз складывались радостные морщинки. «Так-так-так... Ай молодцы!» – с удовлетворенным кряхтением покрикивал он.

Пруссакки ослабли. Многие части их пришли в замешательство. Распалившийся Фридрих, проносясь по расстроенному фронту, воочию видел, что его боевые орлы посматривают на ближний лесок, готовятся к позорному бегству. Он распекал генералов, кричал на полковников, отчаянно вопил солдатам: «Вперед, храбрецы, я с вами!», но пруссаки, потеряв воинственный дух, своему королю больше не повиновались.

Помрачневший король скакал дальше. Вдруг пуля, цокнув, ударила его в грудь. Фридрих качнулся, осадил коня, на мгновение зашурислся и тяжело вздохнул. Затем выхватил из левого кармана табакерку, в которой застряла русская пуля, и с крайним волнением сказал свите:

– Слава провидению!.. Оно не зря спасло вашего короля.

– Ваше величество! – в один голос вскрикнули насмерть перепуганные адъютанты.

Фридрих снял черную шляпу с высоким султаном из страусовых перьев и перекрестился. Его темно-рыжие с проседью кудри шевелились под ветром. Он вздернул плечом, прищипорил коня и выбросил в правую сторону дрожащую руку.

– Смотрите, смотрите, там – австрийская конница!.. А слева – казаки. Где Зейдлиц? – Он бешено мчался, его красная епанча раздувалась под ветром, как окровавленный парус.

Действительно, генерал Лаудон, построив великолепную австрийскую конницу в стороне от побоища, врубился с правого бока в гущу пруссаков. А с флангов и с тылу дружно теснили неприятельскую пехоту славный Сибирский, Апшеронский, Псковский и другие полки под командою Панина и Румянцева.

Весь прусский фронт дрогнул, будто пруссакам вдруг протрубили отбой. Передние их ряды повернули назад и, сшибая своих, пристреливая ненавистных капралов, всем гуртом бежали обратно.

– Боже! Все гибнет!.. – хватаясь за голову, простонал его величество прусский король. Выразительные, огромные глаза его стали безумны.

А в этот миг, приплясывая, подсакивая на стремянах смиренно стоявшей лошади и бросив поводья, бил в ладоши граф Салтыков. Он громко смеялся, на лице его гримаса восторга.

– Господи! Враг бежит... Победа, победа!.. Господи, благодарю тебя... – кричит он, на глазах его слезы, губы дрожат, маленький седенький граф то бьет в ладоши, то крестится: – Победа, победа!..

И во все русские войска перекинулось:

– Победа! Победа!

Всюду, от высот до реки, громогласно гремит «ура!», бьют барабаны, враг, впавший в ужас, всюду стремительно спасается бегством в лес, на мосты и вплавь через реку. А вслед за ним с гиканьем, свистом, пики наперевес, во весь опор скачут чугуевцы и донские казаки: «Ги-ги-ги! Ура! Ура!»

Все пространство в движении. Как серой метелью, как выюгой, все пространство – куда ни кинь взор – покрыто бегущими.

Пруссакки бросают оружие, бегут во все стороны, спасаясь в густые леса.

Король Фридрих на пегой кобыле бессмысленно мечется в самом хвосте своей армии. Спасения нет королю. К нему устремились чугуевцы, чтоб взять его в плен.

– Притвиц! Притвиц! Я погибаю...

При ротмистре Притвице всего лишь сорок гусаров – телохранителей Фридриха. Притвиц выхватил саблю. Сорок гусаров, жертвуя собой, бросились навстречу казакам и почти все поголовно погибли. А король ускакал. В беспамятстве он потерял шляпу с султаном. Ее подобрал казак и доставил Панину².

Было одиннадцать вечера. Обозначились звезды, опять засветлела луна. Где-то бой барабана, где-то треск, залп, приглушенные стоны людей...

Но все было кончено.

4

Солдаты бережно подхватили главнокомандующего и с неумолчным, от всего сердца, криком «ура» стали качать его. Коротконогий, пухленький старичок высоко взлетал над толпой и мягко падал в упругие руки воинов. Вот он опустился на ноги, глубоко, с облегчением вздохнул – фууу, подтянул штаны, сказал:

– Спасибо, солдаты. Спасибо, молодцы. Добрую бучку дали Фридриху.

Солдаты опять закричали оглушительно: «Ур-р-р-а-а!» – и стали швырять вверх шапки. Салтыков пошарил в карманах штанов, вытянул тюрючок с леденцами, подал солдатам:

– Вот... пососите... леденчики. – Он все еще в одной рубашке, без парика, щеки морщинистые, с румянцем, седые, торчком, волосы, большие уставшие глаза то широко открыты, то по-стариковски щурятся.

– А мы с жалобой к вам, ваше высокое сиятельство. Посовещались промеж собой, да и насмелились... – выдвинулся из толпы не старый еще, черноголовый солдат с серьгой в ухе. – Харч дюже плох. Не вдосыт едим... Уж не прогневайтесь.

«Ну так и есть, – подумал Салтыков, – а я им, дурак, леденчиков».

– Да, верно, ребята, плохо... Паскудно это у нас, снабжение-то, с провиантом-то. Да и деньги-то из Питера шлют с заминкой... Уж вы как-нибудь.

– Как на спозицию вышли, сухари одни, да картофель, да лук. А к картофелю мы не приобыкли. Иным часом и убоинки хочется, ваше сиятельство. Уж постарайся...

– Распоряжусь, распоряжусь, ребята.

– Мы как-то двух бычишек заблудящих в лесу словили, да только свежевать принялись, тут нас и сцапали. Его превосходительство Панин приказал плетьюми нас драть...

² Шляпа Фридриха хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

– И я бы выдрал, и я бы, – подморгнул Салтыков. – Сами виноваты, ребята, с бычишками-то со своими. Так заблудящие, говорите? – И Салтыков снова подморгнул. – А вы бы уж как-нибудь того... это самое... Куда-нибудь подальше, подальше, в чащу бы, либо в овраг. Да потемней когда, чтоб ни Панин, ни Фермор не видали. А то лапти плетете, а концов хоронить не умеете.

Солдаты засмеялись. Горел костер, становилось свежо, луна светила. Возле палатки главнокомандующего стояла под ружьем шеренга часовых. Знамя высилось.

Салтыкову подали мундир и шляпу. Солдаты, пожелав утомленному генералу спокойной ночи, стали было расходиться.

– Погодите-ка, ребята... Я вот о чем хочу... – Он заложил руки за спину и взад-вперед медленно прошелся. – Да! Мужество! – выкрикнул он и вскинул вверх руку. – Дивлюсь я на вас, сынов моей родины, и сердце мое преисполняется гордостью. Король Фридрих француз бьет, австрияков бьет, англичанку бьет. А от нас сам бит бывает. Все бегут от него, а от нас он сам бежит. А ведь солдаты-то у него ничего себе, его солдат, хоть и наемные они, охотать не можно... Ну-тка, братцы, скажите мне без утайки, почему это я не знаю случая, чтобы русский солдат всей массой, всем скопом утек от врага? В толк не могу взять.

Молодой адъютант поморщился, он считал подобный разговор военачальника для дисциплины вредным.

А солдаты сказали:

– По тому самому, ваше высокопревосходительство, мы не убегаем от неприятеля, что бежать расчету нет...

– Это как – расчету нет?.. Чего-то не пойму я... – переспросил Салтыков и переглянулся с адъютантом.

– А очень просто – расчету нет... Себе дороже! – хором закричали солдаты, а чернявый, что с серьгой в ухе, сказал:

– Ежели мы на линии стоим да стреляем, алибо, допустим, штыком орудуем, мы друг друга чуем, вместе все, тут уж про все на свете забываешь, одно на уме: как бы поболее немцев повалить да самому вживе остаться. И ежели ты, скажем, сплоховал, товарищ выручит. А когда в бег от противника ударишься, один, как заяц в степу, останешься: тот сюда бежит, этот туда, а глаз-то в спине нетути, ни хрена не видать, чего сзади деется. Вот тут-та либо конем тебя стопчут, либо башку осекут. Ой, бежать несподручно...

Салтыков, руки назад, с интересом вглядывался в загорелые утомленные лица солдат, внимательно вслушивался в их простые откровенные речи.

– И все ж таки не могу в мысль взять... Ведь вот вы в бою стоите как каменные. Либо умираете, либо побеждаете. А не бежите... и не сдаетесь...

– А кто ж его ведает, – сказал солдат с серьгой в ухе, переступил с ноги на ногу и одернул окровавленную возле плеча рубаху. – Мы, конечно, народ темный. А доведись, так твою растак, до драки, мы уж друг за дружку стоим. Конечно, дураки...

– Что? Что? Дураки? – Салтыков прижал ладони к животу, запрокинул голову и тихонько похохотал. – Не дураки вы, а герои. Храбрецы!

Солдаты приободрились, закричали наперебой:

– А храбрость в нас – от природы, ваше высокое сиятельство. Должно полагать, матери наши этакими нас родят...

– То-то же – от природы! – громко сказал Салтыков, и уставшие глаза его оживились. – Такова, стало, природа русская, да не только русская, а и прочих народов, населяющих Россию и на войне подвигающихся, – это храбрость, упорство, сознание долга пред отечеством...

– Во-во-во! – опять закричали солдаты. – В этом суть. Мы хоша и в чужой земле, а все же нам сдается – отечество свое защищаем, за Русь стоим. И нам вот радостно, ежели,

скажем, где появишься, ну там в Кенигсберге либо в Польше, где на зимних фатерах, идешь себе, ноздри вверх и думаешь: а ведь мы расейские... Стало – сильна Россия!

– Правильно, солдатики... Сильна Россия! – воскликнул Салтыков. Он сразу как бы помолодел, весь изнутри светился, широкая улыбка растеклась по его загорелому лицу. Он, еще раз подтянув сползавшие штаны, обратился к адъютанту: – Полезно, зело полезно нашему брату у простого звания людей мудрости учиться. – И, обернувшись к палатке, крикнул дежурному офицеру: – Слушай, казначей! А принеси-ка сюда, дружок, серебреца мешочек, рублевиков, да одели солдат.

Солдаты, их было сотни полторы, дружно гаркнули благодарность.

5

По всему утихшему полю, скудно освещенному лунным светом, двигались сотни огней: это солдаты и санитары с пылавшими факелами подбирали своих и чужих раненых. По склонам холмов, в буераках, в кустах впережежку с покойниками валялись живые. Слышались стоны, хрипы, слабые выкрики: «Я здесь, спасите!» Раненые сами подползали к санитарам, взывали: «Братцы, братцы...» Многие мученики с перешибленными хребтами, с оторванными конечностями, истекающие кровью, умоляли прикончить их. Изувеченный пожилой гренадер еле внятно просил: «В торбе узелок с родимой землицей, будете зарывать, посыпьте».

К штабу главнокомандующего приводили взятых в плен генералов, полковников.

Всего пленных пруссаков было пять тысяч с лишком, восемь тысяч убито, пятнадцать тысяч ранено. Наши потери были тоже немалые.

Спешно заканчивая свою пока еще неточную реляцию, граф писал императрице Елизавете Петровне: «Ваше величество, не извольте удивляться нашим большим потерям. Вам известно, что прусский король всегда победы над собой продает очень дорого».

Пред утром, передавая трем курьерам донесение в Питер, граф Салтыков, вздохнув, с горечью сказал генералитету:

– Да, господа... Ежели мне доведется еще такое же сражение выиграть, то, чего доброго, принуждено мне будет одному с посошком в руках несть известие о том в Петербург.

Между тем королевские курьеры, посланные Фридрихом в пять часов дня с вестью о полном разгроме русской армии, прискакали в Берлин того же числа поздно вечером.

Столица еще не ложилась спать. Наслаждаясь теплой ночью, молодежь наполняла сады, скверы, площади. В кофейнях, трактирах, гастхаузах шумел народ. И вот одна, другая и третья пушка прогрехотали в неурочный час над Берлином.

Жители всполошились, выглядывали из окон, выбегали на улицу, взволнованно восклицали:

– Беда! Уж не враг ли подступает к стенам...

Толстый Фриц, сотрудник городской газеты, сбросив одеяло, соскочил с кровати, высунув в окно голову в белом колпаке, проквашал:

– Эй, что случилось?

По улицам бежали толпы горожан, разъезжали рейтара герольды с факелами, на перекрестках они трубили в трубы, зычно возвещали:

– Великий наш король Фридрих одержал полную победу при Франкфурте, у деревни Кунерсдорф! Вся русская армия уничтожена. Жалкие ее остатки взяты в плен. Тысячи разбойников казаков с веревками на шее будут завтра приведены сюда. Готовьте им встречу!

Толпа воинственно, радостно заорала:

– Победа, победа!.. Конец войне!..

Толстый Фриц накинул халат и побежал, крича, вверх по лестнице, где жили его товарищи по газете, художники братья Шульц, забарабанил в дощатую некрашеную дверь:

– Эй, черти! Дрыхнете, что ли? Победа!.. В редакцию, ребята...

В редакции одной из пяти берлинских газет, помещавшейся в подвале ратуши, уже стряпались листовки, кропалась газета с грязными, барабанного стиля, статейками, жестоко оскорбляющими русскую армию, императрицу Елизавету и всю Россию. Карикатуристы изображали казаков лохматыми страшными мужиками с чудовищно зверскими лицами, лошадиными зубами в оскаленных ртах, а графа Салтыкова – в виде жирной свиньи, которую ведет на цепочке бравый прусский гренадер.

В пивнушках, в кабачках было необычайно оживленно. Веселились горожане и на улицах. Невзирая на поздний час, кой-где зажгли иллюминацию, всюду бродили веселые толпы с бумажными разноцветными фонариками, пели песни, приплясывали, целовались, воинственно кричали:

– Да здравствует великий, непобедимый Фридрих!

6

А несчастный Фридрих спасался тем временем в разгромленной деревушке Этшер. Он лежал на скамье в какой-то разбитой, без дверей и без окон, хибарке. В головах седло, вместо пуховика пук соломы, король по самый подбородок укрыт красной, простреленной в трех местах епанчой.

Лунный свет падал на его лицо. Лица, впрочем, не было: были огромные воспаленные глаза и длинный нос. В стороне два адъютанта и один гренадер на карауле у входа. А за избой – руины, пустыня, безмолвие.

– Русские, русские... проклятые русские... – скрежеща зубами, бормочет Фридрих, он хочет закрыть глаза и не может. – Яду мне. Неужели у вас не найдется яду? – Он впадает в забытие, в его мозгу кошмары, он бредит: – Шляпу, шляпу... Где шляпа?

Адъютант шепчет товарищу:

– Надо бы его величеству кровь пустить. Но нет доктора.

– Кровь пущена всей королевской армии, – с печальной иронией, шепотом отвечает другой адъютант, вынимает платок и сморкается.

Вдруг Фридрих вскочил:

– Огня!

Вздрагивая всем телом и ожесточенно вскидывая рыжие брови, он при скудном огарке пишет в Берлин письмо брату Генриху, затем – прусским министрам. Рука с пером прыгает.

«Наши потери, – писал он брату, – очень значительны: из армии в сорок восемь тысяч человек у меня вряд ли осталось три тысячи. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва: у меня больше нет никаких средств, и, скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу гибели моего отечества. Прощай навсегда».

Глаза Фридриха помутнели, он застонал, бросил перо, схватился за голову.

– Проклятые московиты, варвары! *Русского мало убить, его надо еще и мертвого-то повалить.*

7

На рассвете стали копать могилы. Русских убитых зарыто две тысячи шестьсот, прусских – семь тысяч триста.

На рассвете же вернулись из лесов к своим родным очагам мирные жители. От обширной деревни Кунерсдорф остались дымящиеся развалины. Цветущие сады и огороды были расхищены, земля взрыта бомбами, ядрами. Жители бросились на поля. Но там поспевшая пшеница была потоптана, смешана с грязью. Все погибло, все уничтожено в битве, длившейся с полудня до вечера. Война в один день превратила жителей в нищих.

На трясках фургонах, по разбитым дорогам раненых увозили в лазареты. Там без усыпления, без наркоза будут им отпиливать поврежденные руки и ноги, будут извлекать из воспалившихся ран пули и куски чугуна. Чтоб оглушить сознание, им дадут по стакану водки. Многие в муках умрут.

Вскоре Салтыков сделал смотр русской армии. У солдат та же бравая, железная сила, бодрость во взоре.

Салтыков докладывал в Петербург:

«Ревность, храбрость и мужество всего генералитета и неустрашимого воинства, особливо послушание одного, довольно описать не могу, одним словом – *похвальный и беспремерный поступок солдатства привел в удивление всех чужестранных волонтеров*».

Русское командование получило щедрые награды: Салтыков произведен в фельдмаршалы, а Мария-Терезия прислала ему драгоценный перстень, осыпанную бриллиантами табакерку и пять тысяч червонцев. Остальные военачальники получили от Петербурга чины, ордена, земли с крестьянами.

Только солдаты остались без награждения.

– Могила без креста – вот награда нам, – роптали солдаты у костров.

– Правильно говорится: ежели одному милость, всем обида.

– Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки... Терпи, ребята!

– А ежели не сложишь здесь голову да прибудешь домой в побывку, там того гаже. Нищета. Ни поесть, ни попить. Одно знай – барину угождать, а то недолго и на конюшню. Вот там, за нашу службу царскую, награждение и примешь. Не верно, что ли?

– А все-таки воевать, ребята, нам беспрерывно нужно, – крихтя, сказал Павел Носов. Он крутил над пламенем костра грязную рубаху, рубаха надувалась колоколом. – До скончания живота подобает вашему брату неприятеля бить. Вот я, скажем, стар...

– А кто супротив этого спор ведет? – прорвал его усатый артиллерист Варсонофий Перешиби-Нос, он был грамотен, говорил складно. – В этом слава оружия нашего и всего нашего кореню, всего потомства-племени. За отечество, поди, кровь-то проливаем? Об этом всяк ведает и на том стоит.

– Вестимо так! – воскликнул Павел Носов, но тут подол его рубахи вспыхнул, он быстро смял огонь корявыми ладонями. – Я и не иду супротив тебя, мил человек. Я вот к чему хотел... Порядки здесь супротив наших лучше, а мужики чище наших, взять одежду, взять еду. Мужик здесь жрет не по-нашенски – хлеб с лебедой да с мякиной, как мы. У него эвот – свиньи, гуси, индюки. Опять же огороды ихние: там тебе всякая овощь, и назвать-то ее мы не смыслим, как вымолвить.

– Здесь крестьяне грамотные которые, – сказал Перешиби-Нос. – Да и порядочное число их, грамотеев-то. Они и книжки, и даже газетки чтут.

– Погодь, погодь, мил человек, – проговорил Павел Носов, натягивая на сухореброе тело рубаху. – Стало быть, не приспело еще времечко...

– Времечко, времечко, – передразнил его Варсонофий Перешиби-Нос и вытащил из костра упекшуюся картошку. – Под нашими барами жить – до скончания века в темных дураках сидеть!

– Ау, мил человек, терпеть надо, – вздохнул Павел Носов и стал раскуривать носогрейку. – Видно, так самим Богом утверждено: барам жиреть, а нам хиреть. За добрым бари-

ном и мужику жить не столь тяжко, а за лихим и мужику лихо. А где лихо мужику, там иным часом и мутня выходит, самовольство, мужик за вилы берется, барину грозит...

– Ха! – по-сердитому хакнул Варсонофий и, подергав длинные усы, язвительно уставился на Павла Носова. – А ты, поди, бунты-то мужичьи смирял? Мутню-то?

– Ну, ин умирял, – немедля, сконфуженно ответил Носов.

– Так пошто ж ты умирял-то?

– Дурак ты али умный? – обиделся старик. – Ведь по приказу. Ежели б не стал умирять, меня самого умирили б до самой смерти...

Широкоплечий Варсонофий обвел компанию солдат суровым взором и сказал:

– Вот по эфтому самому я и молвил, что недружный мы народ. Ведь вот мы сами мужики, о мужике печалуемся и эфтого самого мужика своеручно изничтожаем. Бар надо изничтожать, бар! А не мужика...

К костру подходил, высвистывая песенку, подвыпивший штаб-офицер. Вольные разговоры оборвались.

Блистательная наша победа под Кунерсдорфом праздновалась в Петербурге пышно.

Однако, несмотря на свою честность и преданность России, граф Салтыков не смог в полной мере использовать плоды своих побед. Начались недомолвки между ним и австрийским командованием, которое требовало доконать пруссаков общими силами. Салтыков отвечал: «На это я отважиться не могу, ибо без того вверенная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела. Теперь надо бы нам покой дать, а вам работать, потому что вы все лето пропустили бесплодно». Ссылаясь на отсутствие фуража и продовольствия, Салтыков отвел армию на зимние квартиры.

Глава IV

Жизнь в Кенигсберге

1

В Кенигсберг стали поступать раненые.

Возле ворот герцогского замка, где жил русский губернатор, остановились три фургона с больными офицерами. Им отведен каменный флигель. С крыльца сбежал молодой офицер Болотов³, сказал стоявшим во дворе дежурным казакам:

– Ребята, носилки!

Емельян Пугачев и три его товарища бросились с носилками к фургонам. Первым был бережно переложен на носилки Михельсон. Чтоб не пострадал в тряской дороге разбитый пулей позвоночник, Михельсон лежал привязанным к доске с мягкой подстилкой. Пугачев всмотрелся в его лицо. Круглое, несколько дней тому назад румяное, оно было мертвенно бледно, щеки и губы ввалились, как у покойника. Казаки, подхватив носилки, пошагали. Пугачев был в изголовье больного.

– Поди, больно, ваше благородие? – участливо спросил он.

– Больно, казак, – слабым голосом ответил Михельсон и с натугой поднял взгляд на Пугачева. – В позвоночник ударила, проклятая. А под Цорндорфом – штыком в голову...

– Тяжко вам досталось, ваше благородие, видать – храбрый вы, – и Пугачев вздохнул. Ему искренно было жаль молоденького офицера.

³ А. Т. Болотов, написавший впоследствии свои замечательные мемуары. – В. III.

Ни сном, ни духом не чаял он, что этот полумертвый барин, Иван Иванович Михельсон, чрез полтора десятка лет станет самым упорным, самым назойливым и неотступным врагом Емельяна Пугачева.

Вскоре, выйдя из превращенного в госпиталь флигеля, офицер Болотов опять обратился к расторопному Пугачеву:

– Эй, казак, как тебя... Аптеку знаешь? Отвези, дружок, сигнатурку, там лекарства приготавливают поручику Михельсону.

Взяв бумажку, Пугачев вскочил в седло. Ему ли не знать аптеку. Да он весь Кенигсберг как свои пять пальцев знает. Он на трех европейских да на двух немецких свадьбах гулял, он первый плясун и песенник, ему везде почет и уважение. Да, и уважение, невзирая на то, что под атамановой плетью позорище принял... Ну, да это особь-статья. Об этом без толку тужить нечего. Опять же и то помнить треба: иной битый семерых небитых стоит.

2

Восточная Пруссия с ее столичным городом Кенигсбергом вот уже второй год принадлежала России. В Кенигсберге было сформировано русское управление страной, издавалась военная газета, в городском театре силами офицеров ставились трагедии русских писателей. На местном монетном дворе чеканились российские деньги с изображением императрицы Елизаветы и прусского орла. Во время войны вся страна была наводнена неполновесной полуфальшивой монетой, которую в изобилии выпускал Фридрих, поэтому обнищавший немецкий народ с особой охотой принимал русские деньги. Иногда, приказом российской власти, схватывались даже сановные немцы, уличенные в политических проступках, их препровождали в Петербург, в когти страшной Тайной канцелярии. Так, пилавский помещик Вагнер был после суда направлен на вечное поселение в Сибирь.

Словом, россияне чувствовали себя в Восточной Пруссии полновластными хозяевами.

Губернатор барон Корф жил в центре города, на горе в старинном герцогском замке с высокой четырехугольной башней, на шпиге которой развевался российский императорский штандарт. В этом замке бывал и Петр I во время своего путешествия с Лефортом.

Всю жизнь проведенный в России, барон Корф русским разговорным языком владел прилично, однако ни читать, ни писать по-русски не умел. Он был хорошо воспитан светски, но умом крупного администратора не обладал, поэтому все управление страной лежало на его чиновниках. Он был еще не стар и вскоре же по приезде из России завел шашни с местной красавицей баронессой Кейзерлинг. Как говорили злые языки, она будто бы втянула его в шпионскую службу Фридриху II.

Все свои огромные доходы с имений и жалованье Корф употреблял на «представительство»: устраивал еженедельные балы и концерты, на которых бывала не только вся знать Восточной Пруссии, но приезжали даже магнаты из Польши. На его балах отплясывали и прибывающие с боевого фронта военачальники, вроде Петра Панина и генерала Вильбуа. В свое время прыгали и вертелись в этих великолепных залах замка и красавец поручик Григорий Орлов с нашим военнопленным молодым графом Шверином, личным адъютантом Фридриха.

Губернатор Корф великолепием своей светской жизни задавал всем тон. За ним пыжилась знать, за знатью – обыватель. В залах ратуши, биржи и гастхаузах – танцы, танцы. Как будто войны и духу не было. А между тем на полях сражений кровь лилась не переставая, и ежедневно десятками умирали в госпиталях раненые.

Адъютант губернатора, молодой офицер Болотов, жаловался товарищам:

– Я в сие время и науку запустил. Зарезвился да затанцевался в прах... Брошу, брошу...

По праздничным дням Корф устраивал такие блестящие иллюминации, такие фейерверки и народные гулянья, каких кенигсбергцам во сне не снилось. В Кенигсберге и его форштадтах были расквартированы русские войска. Большинство молодых офицеров вело праздный образ жизни, занималось кутежами, дебоширством или любовными утехами с податливыми немками.

Иные же офицеры, как, например, А. Т. Болотов, Писарев, Пассек⁴, весь свой досуг употребляли с превеликой пользой для себя. Они были завсегдатаями книжных аукционов и лавок, занимались философией и «натуральными науками», изучали немецкий язык, посещали местную кунсткамеру и картинную галерею, слушали лекции в университете.

В то время, невзирая на войну, наука в Кенигсберге процветала. Были ученые физики, математики, философы. Среди философов первое и особое место занимал молодой Иммануил Кант, бывший до последнего времени домашним учителем и лишь недавно получивший ученую докторскую степень.

Русское передовое офицерство интересовалось всем полезным, жадно впитывало в себя все то, чего нельзя было иметь и видеть в своем отечестве. Отказывая себе во всем, любознательные молодые люди все свои недостатки ухлопывали на покупку полезных книг, рукописей, оптических и физических приборов.

Богач Пассек скупал и переправлял в Россию дорогие картины, эстампы, книги и целые физические кабинеты с электрическими машинами, воздушными насосами, камер-обскурами, микроскопами, глобусами и т. д.

Солдаты тоже немало старались усвоить себе из невиданной, поражающей воображение чужеземной культуры. Их внимание останавливалось на большом трудолюбии местных жителей, на опрятных жилищах и одежде, на величине и красоте городских построек.

Гуляя в общественных садах и скверах и заглядывая в частные огороды, наши солдаты много дивились и разнообразию пород фруктовых деревьев и сельскохозяйственной культуре.

Тароватые мужички-солдаты, ни слова не понимая по-немецки, все же находили с хозяевами огородов общий язык и выпрашивали себе семян, в надежде, ежели Бог не отнимет живота, когда-нибудь насадить такую благодать на своей родной земле.

Молодой казак Пугачев был тоже любознателен и до новых впечатлений жаден. Он почасту назначался в дозоры и ночные рунды для охраны городского спокойствия или разъезжал по городу с пакетами губернаторской канцелярии. Он знал Кенигсберг, как свою Зимовейскую станицу. Он объехал окружавший город земляной вал с бастионами, был в цитадели Фридрихсбург на левом берегу Прегеля, проезжал по узким переулкам между многими кварталами, сплошь застроенными семизэтажными шпиклерами, то есть хлебными амбарами. В праздник с компанией казаков катался на лодке по каналам, ездил к устью Прегеля, где пристают иностранные корабли, где в шинках пьют-гуляют шкиперы-голландцы. Он не раз тоже с ними гуливал, подвыпив – дрался, бил других и сам бывал бит.

3

На всполье, между двумя форштадтами, саперные части вели практические занятия. Проезжавший Пугачев остановил лошаденку, спешил к молодому прапорщику.

– Это что, ваше благородие? Траншеи роют ребята-то? Дозвольте полюбопытствовать.

– А чего же тут любопытного? Роют и роют, – покуривая прусскую сигаретку, ответил молоденький прапорщик в ухарски набекренной шляпе. – Вот сейчас березу взрывать будем. Видишь березу на бугре? Вот она взлетит... Это действительно интересно.

⁴ Брат Пассека, известного по дворцовому перевороту 1702 г. – В. III.

– Под нее подкоп, что ли?

– Ну да, подземный лаз, – прапорщик подудил в рожок, сбил солдат в кучу и спросил их: – Как, ребята, угадать, чтоб подкоп точно подвел к тому предмету, который надлежит взорвать? Ведь под землей-то темно.

– Темно, ваше благородие, – хором ответили солдаты.

– А для этого употребляется, ребята, вот эта штучка, – он вынул из кармана компас и толково, повторив несколько раз, объяснил способ его употребления.

Пугачев, заткнув за пояс полы длинного кафтана, жадно слушал, непрерывно следил за стрелкой-живчиком.

– И вот, допустим, что эта береза суть башня неприятельской крепости, ее надлежит тайно от врага взорвать. Мы начинаем подкоп, скажем – за версту, за две, зарываемся в грунт, направление определяем под землей компасом, а расстояние, которое нам известно по плану, измеряем тоже под землей цепью либо саженью. Чтоб земля не рушилась, ставим по всему лазу деревянные крепи. Понятно ли, ребята? Казак, ежели хочешь, полезай.

– С полным нашим удовольствием! – крикнул Пугачев, сбросил кафтан и приготовился нырнуть в обделанный стояками лаз.

– Обожди, казак. Эй, Семенов! Возьми-ка круг со шнуром да вместе с казаком прикрепите конец шнура к взрываемой массе.

Семенов полез первым, за ним Пугачев. Ползти надо было сажень сто. Вскоре солдат и Пугачев, пятясь задом, вылезли обратно грязные, вспотевшие. В руке солдата был конец шнура. Добыв огня, прапорщик поджег шнур.

– Вот, ребята, шнур будет тлеть, он пропитан горючим составом. И как только огонь по шнуру дойдет до взрываемой массы, береза взлетит! Ну а ежели взрыв фукнет мимо, в стороне от березы, – значит, мы не угадали подкоп под неприятельскую башню подвести, враг будет рад и обзовет нас дураками. Чрез четверть часа береза должна упасть.

– Ой ли... Чего-то не верится, – усомнился Пугачев.

Но вот земля загудела, ухнула, а береза, охваченная столбом земли и пламени, приподнялась на воздух и упала.

– Молодцы, – похвалил прапорщик.

И все с криком «ура» помчались взапуски к образовавшемуся провалищу.

После этого Пугачев часто рассказывал своим о том, как он постиг науку, или, по его выражению, «способа нашел» делать подкопы и взрывать неприятельские крепости. Он и в мыслях не имел, что эти «способа» когда-нибудь ему пригодятся. Однако онигодились ему ровно через пятнадцать лет.

4

В канцелярию губернатора поступили сведения, что на глухой окраине города, в одном из закоулков, тайно вербуются люди в армию Фридриха.

Емельян Пугачев получил от офицера Болотова приказ взять четырех казаков, идти к месту вербовки, казаков спрятать где-нибудь поблизости, а самому Пугачеву быть в толпе и ждать дальнейших распоряжений.

Полдень. Солнце. Хвост большой очереди вылез в непроезжий переулок-тупичок. Цепь людей загибалась в ворота каменного под черепичной кровлей дома, тянулась двором и вливалась в дощатую дверь пустого каретника. Над дверью вывеска:

«Наемка батраков в имение графа Кауфмана».

В очереди сотни две оборванцев. Тут были и молодые люди с наглым выражением лица и кабацкими ухватками, были и пожилые, бородатые, были безрукие калеки, горбуны, кривые, хромоногие, попадались и красивые парни, они весело пересмеивались друг с другом и подмигивали проходившим девушкам. По пояс голый, босой парень с кровоподтеками возле заплывших глаз, с расцарапанными в драке спиной и грудью то прицеливался залезть в карман соседа, то ощупывал свои штаны, очевидно, собираясь пропить и их. Тут толкались представители многих наций. Вот горбоносый турок в красной феске, вот усатый румын в синей короткой куртке с медными бубенцами вместо пуговиц, вот бритоусый шотландец с рыжей, из-под нижней челюсти, бородой и трубкой в пожелтевших больших зубах. Вот медно-бронзовый бородатый грек; его лицо как бы смазано жиром, из ушей и ноздрей прут волосы, он жуёт маслины, сплевывает косточки в спину соседа.

Офицер Болотов, прикрывшись епанчой и спрятав офицерскую шляпу, вошел в полутемный, освещенный небольшим окном каретник, густо набитый народом. За небольшим столом возле самого окна сидел жирный, с отвисшими щеками, прусский капрал. Полуоблезлая голова его склонилась над квитанционной книгой, куда он вписывал завербованных. На столе – грязный парик, жбан квасу, плетка со свинцовой пулькой на конце и серебряная большая табакерка. Не заметив скрытно притаившегося в уголке русского офицера, он продолжал заниматься своим делом.

– Ты! – И капрал строго воззрился зелеными узенькими глазами в простодушное лицо стоявшего пред ним детины с покатыми плечами. Высокий детина задвигал хохлатыми бровями и писклявым, не по росту, голосом сказал:

– Я батрак. Жена, трое детей. Ежели положите хорошее жалованье – пойду. Вы мало платите...

И весь каретник взволновался, закричал:

– Мало платите! Прибавьте... А то плюнем и уйдем.

– Я не имею права прибавить. Жалованье утверждено хозяином. Четыре талера пять грошей в месяц...

– Нам остается три талера, а талер и пять грошей каждый месяц отбирается будто бы на обмундирование... Грабеж!

– Все время так платим, много лет! – кричал капрал.

– Правда, много лет... Только в прежнее время с московитами войны не было. Прежде воевали с французами да с австрийцами. А с русским сцепишься, живым от него не уйдешь. Да мы лучше в леса грабить бросимся, чем жизнь отдавать за ваши фальшивые деньги...

– Что?! Фальшивые?! – Капрал привскочил и стегнул плетью себя по голенищу. – Не желаете, марш вон! Ваши ноги к полу не припаяны.

– А ты не кричи, господин капрал. Не своей волей пришли к тебе. Нужда гонит.

– Ну, ты! Согласен? – снова уставился капрал в плаксивое лицо высокого детины.

– Лошади нет, коровы нет, королевские гусары отобрали... И работы нет. Согласен, – сморгнув слезу, сказал детина.

– На, – и капрал протянул ему квитанцию. – Явка через два дня в казарму крепости Кюстрин, в семь часов десять минут утра. Следующий!

К столу один за другим протискивались иностранцы, быстро соглашались на условия. Рассматривая паспорта и подмаргивая какому-либо дюжему в клетчатых штанах ирландцу, капрал бубнил:

– Краденый... Фальшивый паспорт-то. Ведь не твой? Ведь ты у какого-нибудь убитого вытащил. Я вас, мародеров, знаю. Вы на войне нагребите того-сего да и до свиданья. Да

с чужим паспортом в вербовку снова лезете. Я вас зна-а-ю, молодчиков. Вот один хват из Литвы пять раз бежал с войны, пять раз к нам нанимался. На шестой раз я своеручно пулю ему в лоб загнал. Ну, ладно... Только чтоб по-честному служить. Следующий!

Оттирая других, к столу подошли сразу четыре мордастых голодранца. Они одного роста и похожи друг на друга. От них пахло прелью и свиным жиром. Перемигнувшись и тупоумно захихикав, они сказали:

– Мы воры. Мы, господин капрал, бывшие воры. Мы неделю тому назад освобождены из тюрьмы.

– А-а-а-а... Так бы и говорили толком, – сказал капрал, насмешливо оттопырив жирные губы. – Ворами мы не брезгуем, берем, берем. Воры, особенно же головорезы, народ храбрый. Берем, берем. Только знайте, ребята, я вас в свою роту возьму, я вас вышколю. Я своему гренадеру из воров палкой затылок пробил под Цорндорфом. А теперь он произведен в капралы. Берем, берем воров... – Запыхтев, капрал выписал квитанцию и подал им.

– А деньги? – в один голос спросили воры.

– Деньги в казарме, ребята.

– Да мы со вчерашнего вечера не жравши. Дайте хоть по два талера на брата.

– Без разговоров! – топнул капрал, и его узенькие глазки сердито расширились.

– Нам воровать, что ли, идти опять? Мы не хотим быть ворами. Мы, может быть, почестнее вас теперь. Дайте талер.

– Не дам, нахальные ваши морды!

– Чтоб вас черт побрал с войной вместе! – Они скомкали квитанции и швырнули их в голову остолбеневшего капрала. Тот выскочил из-за стола, сгреб двух воров за шиворот и поволок их к двери. Воры крутились, орали, старались вырваться. Капрал с силой вышвырнул их на улицу. Воры, захохотав, побежали вчетвером вдоль переулка.

Капрал, отдуваясь и пыхтя, устало опустился на скрипучую скамейку. Стал доставать платок, чтоб отереться, и вдруг во всю мочь завопил:

– Кошелек!.. Кошелек из кармана!.. Ай, ай, и серебряная табакерка! – Весь дрожа, капрал вскочил, губы его кривились, глаза моргали. – Лови, держи! – бестолково метался он, совал в стол квитанционную книгу, гнал всех вон: – Идите, друзья... Контора закрыта... О, мой Бог!

– Вы арестованы, – по-немецки кто-то произнес сзади него крепким голосом.

Он обернулся, попятился от русского офицера, подобрал тугой живот, сделал руки по швам, сказал растерянно:

– За что? Кто имеет право меня арестовать? Я управляющий имением графа Кауфмана. Я частным образом набираю здесь батраков для полевых работ на землях его сиятельства...

– Врете! Я знаю, кто вы и куда набираете людей. На территории, принадлежащей российской короне, вы не имели права заниматься вербовкой солдат в армию нашего врага. Вы арестованы.

Пугачев с казаками уже стоял возле двери в сарай.

– Взять капрала и отвести в замок! – приказал Пугачеву офицер.

Пугачев любил бывать на пристани. Устье Прегеля кишело парусниками, суденышками, быстрыми челнами. У причалов стояли рыболовные шхуны, боты и оснащенные расписными парусами большие корабли. Шла нагрузка и выгрузка морских «посудин». Сотни грузчиков катали по крепким сходям дубовые бочки с рыбой, олифой, солониной. Бородатые боцманы-голландцы с румянцем во всю щеку дудели в свистульки, крикливо ругались, а иным часом прохаживались кнутом по спинам зазевавшихся грузчиков. Было шумно, терпко пахло смолой, рыбой, сыростью, бурым дымом над кострами.

А вот два русских корабля. Они доставили из матушки России горы овса и муки в мешках, военную амуницию в хорошо сложенных ящиках, бочки с порохом, ядра, пушки, мортиры.

Зазвучала русская насадная «Дубинушка», и тяжелые медные орудия, поставленные на лафеты и подхваченные веревочными лямками, полезли через борт на бревенчатые сходни, а по сходням тихонько поползли в обширный, из дикого камня цейхгауз.

Пугачев, увлеченный работой, сбежал вниз, поздоровался с солдатами, таскавшими под навес мешки, сказал:

– А ну, земляки, дай и мне поиграть, – он сбросил чекмень, поплевал в пригоршни и с азартом принялся за дело. Штабель мешков уже стал ростом выше головы. Пугачев со спины подошедшего к нему грузчика схватывал за уши тяжелый мешок с овсом и легко, словно пуховую подушку, швырял его на верх штабеля. Солдаты дивились его силе:

– Смотри, казак, пуп сорвешь, нутряная жила хряпнет...

Но казак благополучно проработал допоздна. За труды получил серебряный гривенник и чарку водки.

Работа разожгла в нем кровь, чарочка развеселила сердце. Эх, поплясать бы!.. Да с кем? И который уже раз ему снова вспомнился вольный Дон, просторные степи, покрытые зеленым большетравьем, голосистые девки с молодницами, чубастые казаки, песни, плясы, занятные сказы сивобородых дедов тихой ночью где-нибудь у костра, на берегу. И вспомнилась его любимая бабенушка, родная Софья Митревна. Какова-то она там, в станице Зимовейской?

Он вскочил в свой челн, встал дубом и, отталкиваясь длинной жердью, забузовил вверх по Прегелю. И погрезилась ему, словно живая, Сонюшка. Вот она улыбнулась ему и что-то молвила. Он кивнул ей и запел:

Разнесчастная бабенушка
Под оконушком сидит...

5

Пугачев вскоре был из Кенигсберга отправлен вместе со своим отрядом в действующую армию.

Однажды в конце лета, во время роздыха, Пугачев взял десяток молодых донцов и направился с ними «пошукать» кормов для лошадей. Придвигался вечер. Донцы решили остановиться на ночевку.

– Чья часть? – спросил Пугачев, подъезжая к костру.

– Команда Суворова, – с чувством гордости отвечали сидевшие вокруг костра солдаты Тверского драгунского полка.

Это имя уже и тогда входило между солдатами в славу. Много доброго слышал о Суворове и Пугачев.

– Слых есть – в жарких делах вы были, под Кунерсдорфом, – чтоб польстить солдатам, сказал обросший темной бородкой Пугачев и слез с коня.

– О-о-о, как в полыме! Под Суворовым лошадь была расстреляна, а другая ранена! – враз воскликнули солдаты и содвинулись, чтоб дать казаку место сесть. – А теперича нам целую неделю отдых пожалован. Гуляй – не хочу. На боку лежим, вошь бьем да огнем жарим у костров.

Тут все солдатские головы повернулись влево, солдаты зашептали: «Суворов, Суворов...»

Пугачев тоже глянул влево и сквозь сумрак видит: бежит чрез поле сухощавый, в белой рубаше, вправленной в темные штаны, невысокого роста человек с черным на шее галстуком, волочит по луговине за рукав мундир, под пазухой – сверток. А за человеком катится копной жирный повар грек в белом фартуке и белом колпаке.

– Ваше скородие, – пуча глаза и задыхаясь, взывает повар. – Что повелите приготовить на ужин? Есть молодые индюшки, есть барашек...

– Кашу, кашу, кашу, – отмахивается, отлягивается на бегу Суворов. – Сам индюков ешь... Помилуй Бог!.. Кашу, кашу. Я не приду, я – туда... – и, покрикивая: – Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре! – он припустился к палатке на пригорке, где тоже горел костер.

– К старикам-барабанщикам наш Лександр Василич поспешает. Во чудодей! – и солдаты с ласковостью засмеялись.

– Ужо и я, – сказал любопытный Пугачев. – Прогонит так прогонит. Господи, благовослови, – он оправил кафтан, покрепче надвинул на ухо шапку и шустро пошагал вслед за Суворовым.

– Здорово, молодцы-барабанщики! – крикнул, подбежав, Суворов. Шестеро барабанщиков вскочили, гаркнули приветствие. – Вольно! Садись, молодцы, – он бросил возле куста потрепанный мундир и сел на него по-турецки. – Каша есть? А ну, Филипп Иваныч, подсыпь в котелок. Ложку, ложку! (Барабанщик с седой косичкой выхватил из-за голенища деревянную ложку.) Наматывай! – сам себе скомандовал Суворов и принялся есть кашу, бормоча: – Велю, велю, велю. Сала нету... Ах, собаки... Выдавать велю. Рот дерет. А вот смажем... Иваныч, нацеди-ка шкалик! – Он повернул голову и большими серыми глазами глянул в загорелое лицо подоспевшего и робко стоявшего возле палатки человека. – А ты кто?

– Казак, ваше высокоблагородие! Донской казак Пугачев. За фуражом.

– Пугачев? А ну, казак Пугачев, садись к костру. Иваныч! – вновь обратился он к старику барабанщику. – А ну, пугни Пугачева шнапсом. Пьешь, казак?

– Никак нет, ваше высокоблагородие, а только что по приказу выпью.

– Молодец... – Он развязал свой узелок, достал штоф французской водки и передал Филиппу Ивановичу. – Насыпь-ка всем по чарочке.

Все благополучно выпили, крикнули, закусили хлебом с солью. Пугачев неотрывно смотрел на простецкого командира, и в его казацкой душе, испытавшей всякую грубость от начальства, закипало теплое чувство какого-то особого почтения. Суворов, то подмигивая солдатам, то гримасничая, стал накручивать торчком чуб над высоким, покрытым ранними морщинами умным лбом. Да и все сухощекое, обветренное, с румянцем, лицо его, несмотря на молодые годы, иссечено мелкими морщинками. Узкогрудый, сухонький, он спокойно сидеть не мог: то передергивал острыми плечами, то подбоченивался, то вскидывал руки вверх и покрикивал: «Война, война!»

Голос его резок, тенорист, звонок. Он как бы рубит каждую фразу из гремучего листа металла. Вот он взмахнул локтями, еще раз крикнул:

– Война! Эх, детки, детки. А за кого воюем? За мать-Россию воюем. Помилуй Бог. Молодцы вы.

Солдаты в молчании внимали. Пугачев насмелился и с дрожью в голосе, едва не всхлипнув от странного волнения, проговорил:

– И мы молодцы, ваше высокоблагородие, а уж вы-то, дозволейте молвить, – вы из молодцов молодец.

– Спасибо, казак Пугачев. А ну, Филипп Иваныч, пугни Пугачева второй чаркой. Барабанщик!.. О-о, барабанщик-мученик... Впереди, впереди. Трах-тара-рах, трах-тара-рах... – Суворов наскоро перекрестился, повесил голову, с минуту глядел в землю, от его прямого, с небольшой горбинкой, носа шли, огибая углы рта, глубокие охватистые складки. Искусно управляя ими, Суворов мог придать своему подвижному лицу то грустное, то суровое, то

радостное выражение. Вот он вскинул голову и подмигнул барабанщику: – Иваныч! Суворову, Суворову поднеси. И всем...

Все поднялись с чарками, дружно прокричали:

– Будь здоров, отец наш!

– Пейте, детки. А врага бить будем. Штыком, штыком! Влево коли, вправо коли! Пуля дура, штык молодец. А казацкая сабля тоже – ого-го... Жжих – и нет башки! Пугачев, песни можешь?

– Завсегда могу. Я голосист.

– Стой! Дай я сперва. Старуха у меня там, в Кончанском, в селе моем. Нянька. Ох, мастерица, ох, затейница. Не поет, а вопит. Аж слеза берет.

Суворов быстро крутнул головой, сорвал с жердины висевшую над его плечом просохшую портянку барабанщика. Тот с испугом закричал:

– Ваше высокоблагородие!.. Не трогайте! Вот рушничок почище...

– Помилуй Бог, Иваныч, не шуми, – погрозил Суворов пальцем, взял рушник, живо подвязался им по-бабьи, как платком, весь сморщился, выпятил подбородок, стал похож на старушонку.

Пугачев и солдаты не могли стерпеть, улыбнулись. Суворов сугорбился, подшибился рукой и, прищамкивая, запел-завопил старушечьим голосом:

Головами мосты мощены,
Из кровей реки пропущены,
Ох-ти, да ох-ти, да ох-ти мне.

– Это про войну, братцы, про кроволитье, – сказал Суворов натуральным голосом и резко разогнулся. – Ой и добры же слова в песне, ребята. Все кричат – Гомер, Гомер! А вот он – Гомер, старухи деревенские. Не слова, а жемчуг, бриллиантовые бусинки. Берегите, братцы, старину!

Он опять сугорбился, сморщился, снова завопил:

Круг сердечушка с ружья палят,
По бокам пуля пролятывают,
Мати дома убивается,
Сынок милый не вертается...

Он вопил протяжно и столь выразительно, с такой неподдельной жалостью к жертвам войны, что солдаты начали пофыркивать носами, Иваныч смахнул слезу, и плохо бритые губы его задергались.

Быстро темнело. Стали бить вдали вечернюю зорю. Суворов вскочил, сорвал с головы рушник, припустился к своей палатке, крикнул на бегу:

– Соломки, соломки подбросьте! Спать к вам...

Глава V Берлин взят

1

Наступила весна 1760 года. Вновь началось великое передвижение войск.

После разгрома прусской армии под Кунерсдорфом предприимчивый Фридрих сумел – правда, с большими усилиями – набрать новые войска. Вся Пруссия, изнуренная непосильными налогами, изнывала от войны. В народе подымался ропот.

Со всех сторон прусские области были окружены врагами Фридриха.

Граф Салтыков тоже двинул на Фридриха сильную армию, зимовавшую в Польше.

Русские войска пока что стояли вблизи реки Одер в бездействии. Осторожный Салтыков берег свою армию и не хотел одними своими силами вступать в бой с Фридрихом. Его возмущало, что австрийский генерал Лаудон все время идет по пятам прусской армии и не решается атаковать ее. Салтыков сетовал австрийскому главнокомандующему фельд-маршалу Дауну: «Если вы не воспрепятствовали королю перейти Эльбу, Шпрее и Бобер, то ничто не помешает ему перейти и Одер, соединиться с принцем Генрихом и обрушиться на меня всюю силою. Но я прямо говорю: как только король перейдет Одер, я в тот же час иду обратно в Польшу, ибо здесь ни солдатам, ни коням еды нет».

После этого Даун решил дать бой Фридриху, но в двухчасовом сражении был разбит и бежал. Несмотря на столь быструю победу, Фридрих все же очутился в тяжелом положении: у него были пусты фуры и казна. Он повернул к Бреславию, материальной своей базе. Салтыков не сумел воспользоваться замешательством Фридриха и без видимой причины стал отводить армию назад.

А время шло, наступила осень. Салтыков захворал «гипохондрией», с разрешения Петербурга подал в отставку, передав командование армией графу Фермору.

Между тем оправившийся Фридрих стал теснить австрийцев, он пытался отрезать их от хлебной Богемии, окружить и уничтожить.

Чтоб отвлечь внимание Фридриха от австрийской армии, Фермор приказал графу Захару Григорьевичу Чернышеву открыть поход к Берлину.

Двадцать тысяч русских войск, подкрепленных пятнадцатью тысячами австрийцев, двинулись к столице Пруссии.

Генерал-майор Тотлебен, ссылаясь на свое отличное знание слабых сторон в защите столицы Фридриха, выпросил в ставке Чернышева три тысячи драгунов с гренадерами и через несколько быстрых переходов был уже под Берлином. Австрийцы, под командой Ласси, остались далеко позади. 23 сентября (ст. ст.) Тотлебен занял три дороги к Галльским, Бранденбургским и Котбусским городским воротам, а вскоре отправил в город парламентар-офицера с требованием сдачи столицы.

Фридрих не предвидел возможности столь молниеносного налета на Берлин и никаких мер к его защите своевременно не принял. У берлинского коменданта Рохова имелось лишь тысячи полторы солдат.

Был ясный осенний день. Узнав о наступлении русских, весь город всполошился. «Казак! казак!» – кричали жители, напуганные газетными измышлениями о лютых зверствах русского казачества. Любопытные бежали к воротам, залезали на крыши домов, на колокольни, откуда видны были окраины Берлина. В старинном костеле св. Марии ударили в набат, на пожарных каланчах выбросили тревожные знаки. По улицам, вздымая пыль, скакали взад-вперед рейтары⁵, что-то кричали. То здесь, то там небольшими кучками спешили прусские солдаты, дружно отбивая шаг и направляясь к королевскому замку. Где-то слышались выстрелы, бой барабанов, звуки медных рожков.

В двух придворных с гербами каретах к ратуше подкатили раненный в Кунерсдорфском сражении генерал Зейдлиц и старик фельдмаршал Левальд, армия которого была бита русскими при Гросс-Эггерсдорфе. Оба они проживали на излечении в Берлине.

⁵ Всадники.

На кратком военном совещании, напыжившись и шлепая толстыми бритыми губами, старик Левальд сказал:

– Что, сдаваться? Мы ответим дерзкому врагу свинцом и порохом. Мобилизовать все силы до последнего инвалида. Выдать боеспособным гражданам оружие... Все да защиту столицы! Я патриот своего отечества. Я сам встану... Слышите, комендант? Мы с генералом Зейдлицем оба примем участие в обороне... Не так ли, генерал!?

– Ваше высокопревосходительство! – шустро встал юркий, маленький, с хитрыми глазами, знатный берлинский банкир Гоцковский. Расшаркиваясь пред фельдмаршалом и слегка заикаясь, он слащавым голосом заговорил: – Будучи в наилучших отношениях с графом Тотлебенем, много лет проживавшим в Берлине, я беру на себя смелость, если к тому будет соизволение высшего начальства (он отвесил поклон Левальду) и столичного городского магистрата... Ээ... ээ... я приложу все силы к тому, чтобы склонить графа Тотлебена не наносить особых ущербов ни городу, ни казне, ни берлинской мануфактуре, ни... ээ... ээ...

– Позвольте, – пристукнув палкой, хмуро и грозно перебил его Левальд. – Но город еще не сдан и не думает сдаваться. О чем вы говорите? – Лицо банкира враз покрылось испариной, он, как черепаха, вобрал черноволосую голову в плечи и двумя пальцами прикрыл рот. Левальд поднялся: – Господа! Продолжайте заседать. Здесь будет штаб обороны. Генерал Зейдлиц, а мы поспешим с вами к месту военных операций. – Волоча ногу и опираясь на палку, фельдмаршал направился к выходу.

Получив отказ в сдаче города, Тотлебен выставил на Темпельгофской горе две батареи и приказал начать обстрел Берлина.

Бомбардировка продолжалась с двух дня до шести часов вечера. Было выпущено по городу более трехсот гаубичных бомб и зажигательных просмоленных каркасов. Ядро прибило крышу королевского замка. Отряды пожарников быстро тушили возникавшие пожары. По улицам взад-вперед бегали вооруженные граждане и любопытные мальчишки. Военнослужащие инвалиды култыхали на костылях к воротам. Гремя колесами по мостовой, двигались от центра к городским заставам многочисленные арбы и телеги с товарами перепуганных купцов. По главным улицам проворно перебежали с лесенками фонарщики, зажигая свет.

Город не сдавался. В десять часов Тотлебен вновь открыл пушечную пальбу по городу.

Около полуночи казачьи разъезды схватили в поле возле Галльских ворот однорукого пруссака в военной форме. Он заявил на русском языке, что имеет личное поручение и пакет от фельдмаршала Левальда к ясновельможному графу Тотлебену. Безрукого доставили в палатку графа. Выслав из палатки адъютанта и лакея, граф сурово взглянул в глаза безрукого. Тот стал на колени и подал Тотлебену небольшую записку банкира Гоцковского. Тотлебен прочел и сжег на свече. Затем он написал на клочке бумаги: «Готовьте контрибуцию. Сдавайтесь». А вместо подписи приложил сургучную именную печать своим перстнем. Отдавая записку безрукому, он негромко сказал по-немецки:

– Вместе с этой запиской передашь господину Гоцковскому, чтоб не тревожился. А это возьми себе, – и граф протянул безрукому три золотых империяла. Кликнув адъютанта, он на французском языке приказал: – Вот что, милый мой, скажите-ка двум моим ординарцам, чтоб этого человека, присланного с пакетом от Левальда, они вывели за расположение наших войск и отпустили на все четыре стороны.

Нужны были энергичные меры, ценна была каждая минута, между тем Тотлебен стоял со своим отрядом в полном бездействии. А враг не дремал: на помощь осажденному Берлину подоспел из Померании принц Виртембергский с пятью тысячами войск. Тогда Тотлебен отступил в местечко Кепеник, что в двенадцати верстах от Берлина.

2

Сюда вскоре прибыл со своим корпусом и граф Чернышев. Он довольно кисло обошелся с Тотлебенем, зная его, по рассказам в свете, за человека тщеславного и легкомысленного, краснбая и едва ли не пройдоху.

– Как?! До сих пор Берлин не взят? Может быть, прихода Фридриха дожидаетесь?

– Мы, граф, ждали вас, – угодливо доложил Тотлебен.

В это время в Берлин вошел десяти тысячный корпус прусского генерала Гильзена. Принц Виртембергский и Гильзен, соединив свои силы, выступили навстречу русским.

Граф Чернышев приказал двинуть войска вперед, сбить пруссаков и окружить столицу.

Начались кровопролитные схватки. Русские войска всюду теснили неприятеля. Казаки и конные гренадеры уничтожили три отряда прусской конницы. Русская артиллерия действовала искусно. Потрепанный неприятель стал поспешно откатываться к городу. Ни палки капралов, ни пули офицеров в спину отступающим больше не помогали. Всюду нарастало грозное русское «ура»!

Преследуемый казаками и киргизской конницей, враг без оглядки побежал.

Прусское командование, проведая, что в помощь Чернышеву подходит корпус генерала Панина, решило сдать город на милость победителя. Под прикрытием темной сентябрьской ночи прусский корпус оставил Берлин и скрылся в окрестных лесах.

Хотя русские пушки замолкли, но в городе никто не спал.

Объятый страхом сотрудник правительственной газеты, толстый, лысый Фриц, накинув на плечи заячье одеяло, кряхтя и постанывая, поднялся в мансарду к художникам братьям Шульц и так же, как в ту неприятную ночь, забарабанил в дощатую некрашеную дверь:

– Эй, вы!.. Да отоприте же...

Но дверь была не заперта. Фриц, кой-как протиснув в узкую дверь свое тугое брюхо, ввалился в холостецкое логово. Братья-художники были вдрызг пьяны. Младший, рыжий, в больших круглых очках, валялся под столом и храпел, а старший, чернявый, облокотившись о столешницу и выпучив помутневшие глаза на Фрица, издавал нечленораздельное мычание. На столе опрокинутый набок бочонок пива и едва мерцающий светец с конопляным маслом, а в оловянной тарелке кучки моченого гороха и соленых ржаных сухариков. В углу – изъеденное молью чучело медвежонка с трубкой во рту, на плохо штукатуренных стенах карикатуры на казаков, русских генералов, императрицу Елизавету: запрокинув голову, с короной на макушке, и раздув толстые щеки, она хлестала водку прямо из штофа. Фриц быстро сорвал со стены все рисунки, бросил в камин и поджег. Старший Шульц замычал и ударил кулаком в стол. Фриц схватил художника за плечи, стал трясти его, с отчаяньем кричать в лицо:

– Шульц! Иоганн!.. Камерад! Очнись. Через час, через два казаки подденут нас на свои вилы и сбросят в волны Шпрее... Ой, ой... Что делать? Наши войска ушли. Мы сдаем город варварам!..

– Не может быть?! – завопил пришедший в себя Иоганн Шульц, схватился за виски и попытался приподняться...

А на утренней заре, когда небо на востоке едва зарозовело, из Котбусских ворот выехали с белым флагом два парламентар-офицера и трубач. Они направлялись в передовой отряд русских войск, к Тотлебену, с капитуляционной грамотой, подписанной комендантом Берлина, генералом Роховым. На башенном шпиге Котбусских ворот сидел воркующий белый голубь, в лучах зари он казался розовым.

– Смотрите: голубок... Удача будет, – не без грусти сказал парламентар своему товарищу.

В русском лагере пробили зорю. Дежурный офицер разбудил Тотлебена. Не умываясь, в халате и туфлях на босу ногу, Тотлебен принял парламентаря, а через короткий срок с гусарами, драгунами, конногренадерами и частью пехоты Тотлебен двинулся в Берлин. Возле Котбусских ворот он был встречен генералом Роховым и депутатами города. В кордегардии ворот Тотлебен подписал предварительные условия капитуляции. Депутаты были пасмурны, позевывали, ежились от утренней свежести. Комендант Рохов нервничал, он был бледен, кусал кривившиеся губы. Он отрапортовал Тотлебену, что берлинский гарнизон сложил оружие.

– Снимите шпагу, – приказал ему Тотлебен. – Отныне вы не комендант Берлина, а мой военнопленный.

Рохов повиновался. Отдали шпаги и прочие прусские офицеры.

– Бригадир Бахман, – обратился Тотлебен к своему подчиненному. – С сего двадцать восьмого сентября вы – русский комендант Берлина. Распорядитесь без промедления занять казаками и пехотой все ворота города, а равным образом и высоты, где стоят неприятельские батареи.

Было шесть утра. Солнце встало. В его лучах горели кресты костелов, шпич королевского дворца, вражеские заклепанные пушки у ворот. Блестели уздечки, стремяна, медные кокарды на красных гусарских шляпах, штыки строившейся пехоты. Над воротами взвился российский флаг.

В семь часов раздалась команда, забили барабаны. Началось торжественное вступление русских войск в Берлин.

Впереди ехал со свитой граф Тотлебен. За ним с развернутыми знаменами многие эскадроны драгунов и конногренадеров в пышной парадной форме. А сзади, ошетилив острые штыки, шагала серая пехота.

Измученные недавними боями русские солдаты были суровы видом, в их взорах из-под насупленных бровей сверкала гордость победителей.

Гремели оркестры церемониальными маршами, песельники сильными голосами исполняли бравые песни с присвистом. Под медную музыку и песни кони с подстриженными хвостами подплясывали, похрапывали, кивали головами, как бы раскланиваясь с толпами берлинцев, стоявших по обе стороны дороги. Горожане в полном молчании встречали врага, захватившего их город.

Шествие направлялось по улицам столицы к королевскому дворцу. Главные части войска были расквартированы в окрестностях Берлина. Напуганные жители, ожидавшие погромов и бесчинств, с удивлением наблюдали, как русская пехота и казаки мирно проследовали в отведенные им казармы.

Граф Чернышев ночевал в двенадцати верстах от Берлина, в местечке Кепеник, в королевском загородном замке. Он всю ночь не спал от невыносимой зубной боли. Рано поутру прискакал курьер с известием, что Берлин сдался и что граф Тотлебен ведет переговоры со столичными властями об условиях сдачи.

– *Не вести* переговоры об условиях, а *диктовать* эти условия! – вспыхнул Чернышев. – Одеваться! Кофе! Двух писарей сюда!

Граф Чернышев был в сильном гневе на Тотлебена и на самого себя. «И угрожал же меня черт так нелепо проворонить взятие столицы. Ха, не угодно ли... Берлин взят не русским генералом графом Чернышевым, а каким-то проходимцем Тотлебеном, иноземным выходцем... А все проклятые зубы причиной». Чернышев схватился за опухшую щеку, застонал и крикнул:

– Зубодера ко мне!

Вошедший доктор (лысая голова, большие красные руки) сказал:

– Ваше сиятельство, у вас опухоль десны, надо выждать, пока созреет и прорвется флюс. Я сейчас вам припарку...

– К чертовой матери твою припарку... Рви!

Когда доктор нажал на сгнивший зуб холодной сталью, у Чернышева брызнули из глаз слезы, но зуб благополучно вылетел. Чернышев перекрестился.

3

Тотлебен, избравший для своего пребывания королевский замок, стал полным хозяином столицы. Возле него все время вертелся шустрый берлинский банкир Гоцковский. Он пользовался большим влиянием в среде столичных дельцов. В Берлине и его окрестностях были сосредоточены крупнейшие фабрики, суконные, шелковые, ситценабивные, а также фарфоровые, фаянсовые и многие другие заводы, поэтому мир коммерческих воротил был здесь особо богат и силен. Гоцковский считал себя большим другом Тотлебена – при встрече они облобызались и вспомнили свои былые кутежи в Берлине. Банкир осыпал Тотлебена лестью, лаской и подарками. Он, как челнок в ткацком станке, носился в своей голубой карете взад-вперед то к магистрату, то к фабрикантам, то к Тотлебену. Он весь проникся духом патриотизма и мнил себя добрым гением несчастного города. Богатый, предприимчивый Гоцковский был очень щедр, Тотлебен же чрезмерно покладист.

На заседании магистрата, где присутствовали президент Кирхехен, бургомистры, ротман и где заслушан был выработанный магистратом текст капитуляции, Тотлебен, распаляясь фальшивым гневом, топал, кричал, запугивал:

– Конtribusiции четыре миллиона, и – ни пфеннига меньше! Такова воля и точное повеление командующих экспедиционным корпусом графа Чернышева и генерала Панина... Иначе – фабрики будут взорваны, Берлин предан огню...

А возвратясь в королевский замок, Тотлебен дал банкиру Гоцковскому согласие подписать документ о сдаче города. Текст этого исторического документа начинается так:

«Пункты капитуляции, которую столичный город Берлин, из милости ее императорского величества всероссийской императрицы и по известному его сиятельства командующего генерала человеколюбию, получить надеется:

1) Чтоб сей столичный город и все обыватели...» и т. д.

Иные пункты капитуляции были выгодны не столько нам, сколько пруссакам. Так, контрибуция снижена до полутора миллионов талеров, да и то наличными город уплачивал пятьсот тысяч, остальная сумма – ненадежными купеческими векселями.

Граф Чернышев, узнав о столь мягких условиях капитуляции, пришел в ярость, но, чтоб не подорвать авторитета Тотлебена и, тем самым, всего российского воинства, волей-неволей согласился на условия капитуляции.

За столь выгодную для Берлина сделку Тотлебен внакладе не остался. И только лишь он успел получить от Гоцковского превеликий куртаж, или акциденцию, а по-русски – взятку, как явился в кабинет адъютант и подал ему опечатанный казенными печатями пакет.

– От его превосходительства генерала Петра Ивановича Панина.

«Повелеваю вам все королевские фабрики, в первую же голову Лагергаус, с коей становится сукно на всю прусскую армию, 29 сего сентября, в утре, разорить до основания, а товары секвестровать в пользу Российской империи. Точно так же поступить и с серебряной и золотой мануфактурами, кои тоже собственностью прусского короля являются. Извольте в точности сие исполнить и немедленно об исполнении сего меня уведомить.

Панин».

Приказ написан был по-французски, так как Панин знал, что Тотлебен в русском языке слаб. Тотлебену тем более был неприятен самый тон приказа и его содержание.

Он послал за Гоцковским и, когда тот явился, молча подал ему бумагу Панина. Банкир ознакомился с нею, пожал плечами, закатил глаза и, заикаясь, произнес:

– Это-это-это... невозможно!

– Но войдите, мой любезный, в положение вашего покорного слуги. Я никак не могу послушаться категорического приказа!

– Сиятельный граф, – вкрадчиво сказал Гоцковский, – сверх того, что вы уже получили, мы обещаем вам то самое имение в Померании, которое вы облюбовали, оно оценивается в девяносто шесть тысяч талеров...

– Но я не могу, не могу, поймите же, – простонал Тотлебен. – Мне настрого приказано разрушить до основания все фабрики, являющиеся собственностью его величества короля...

Гоцковский прищурил левый глаз, прищелкнул пальцами и таинственно улыбнулся.

– Сиятельный граф, – начал он, – смею вас заверить и клятвой своей подтвердить, что эти помянутые королевские фабрики – его величеству королю не принадлежат, ибо весь доход с них... ээ... в казну не отчисляется, а поступает целиком на содержание большого сиротского дома в Потсдаме.

– О, тогда оборот дела меняется, – повеселел Тотлебен. – И ежели это действительно так, я, в виде гарантии, должен потребовать от вас, любезнейший Гоцковский, письменного на то свидетельства, а также утверждения присягою и... еще, хотя бы для проформы, показаний каких-либо знатных свидетелей...

– За свидетелями дело не станет, граф, – и Гоцковский поспешил к выходу.

Тотлебен провел рукой по белокурым курчавым волосам и осмотрелся. В четырех темных бронзовых шандалах горело сорок восемь свечей. Потолок высокого готического кабинета окутан был давящей мглой. На черном выступе пылавшего камина позеленевшие от времени бронзовые часы показывали полночь. По мрачным стенам в неверном колеблющемся свете старинное оружие – щиты, кольчуги, шлемы. По углам – чугунные стопудовые рыцари в латах и доспехах. С потолка на черной толстой цепи спускалась черная тяжелая люстра. Все было грузно, мрачно и мертво, лишь играющий огонь в камине да неяркий блеск свечей напоминали о жизни.

...Тем временем банкир Гоцковский, по привычке потирая руки, громыхал чрез ночную тьму в своей голубой карете в ратушу, где днем и ночью дежурил весь состав магистрата.

4

Ночь прошла благополучно. Казачьи разъезды, пешие патрули и рунды блюли порядок. Комендант города Бахман не слезал с седла. Полуторастысячное население столицы, видя строгую дисциплину среди русских войск, успокоилось.

В шесть часов утра, проехав старинный мост Курфюрстенбрюкке, Пугачев с Семибратовым возвращались из ночного дозора. Им очень хотелось есть. Они с завистью посматривали на открываемые булочные с золотым кренделем вместо вывески, на спешивших к рынку торговков, везущих на небольших тележках молоко и зелень. Люди все гуще стали заполнять проснувшиеся улицы. Вот пробежала с веселым криком ранняя кучка школьников, два пастора степенно идут в кирху; пыля и гремя, прокатила почтовая тройка, на телеге почтальон с пистолетом и шпагой. Встречались нищие, инвалиды на костылях, женщины, девушки, толпами шли к фабрикам рабочие люди в коротких кафтанах.

Иные из прохожих, завидя бравых наездников, приветствовали их улыбчивыми взглядами, взмахивали шляпами, платочками. А некоторые, наоборот, грозили кулаками.

Быстро остановив тележку, торговка подала казакам небольшой кувшин молока, румяный пирожник совал им горячие пирожки с капустой.

– Эссен зи, эссен зи! Кушайте.

– В газетах втали, что казаки и все русские – грабители, – переговаривались в толпе, – а они парни хоть куда...

Кучка ребятишек держала шумный совет, что бы такое подарить казакам. Беловоловый, что постарше, взглянув на шапки георгинов возле соседнего дома под остроконечной черепичной крышей, вбежал в палисад и, не решаясь самовольно сорвать чужие цветы, стал стучать подвешенным на крыльце деревянным молотком в жестяной лист, прибитый к двери.

– Хозяйка, – сказал он появившейся в дверях старухе в белом чепце. – Вот два казака на дороге... Видите? Нельзя ли сорвать для них два ваших георгина?

– Сорви, сорви... Да погоди-ка, – и она достала из кармана вязаной кофты две спелых груши. – Передай им... Да только сам не сожри...

– Ха! Что вы...

Собиралась толпа зевак. Узкий переулок вблизи казармы наполнился говором. Мальчики с ясными улыбками на счастливых рожицах поднесли казакам цветы и груши.

В третьем этаже дома из грубо тесанного камня с треском растворилось окно, раненый старый прусский офицер в рыжем парике сердито махал руками, кричал:

– Эй, вы! Врагов отечества?! Врагов его величества короля? Прочь, прочь! Стрелять буду...

Пугачев вытер губы, тряхнул чубом, сказал:

– Ну спасибо, миряне, на угощении. Не знаю, как вы, а мы с дружкой очень довольные вами остаемся. Прощайтесь! – Казаки двинулись дальше.

В этот день по приказу Чернышева были взорваны и разрушены до основания арсенал, литейный двор, королевские ружейные фабрики и шпажные заводы Берлина, Потсдама и Шпандау, а также все пороховые мельницы. Огромная военная добыча – пушки, ружья, шпаги, порох – немедленно отправлялась в нашу армию.

Австрийский корпус генерала Ласси, подошедший от Потсдама и не участвовавший во взятии столицы, намеревался тоже войти в Берлин. Но австрийцев в воротах остановили наши пикеты, ссылаясь на условия капитуляции, по которым большая часть русского корпуса тоже остается в поле. Ласси усмехнулся, сказал: «Здесь не вы одни хозяева» – и насильно под барабанный бой ввел несколько своих полков в Берлин, чтобы расквартировать их в домах столицы.

С приходом войск генерала Ласси в городе сразу начались беспорядки. Едва осмотревшись, австрийцы бросились грабить жителей, разбивать их квартиры. Во многих улицах слышались вопли, проклятия, пальба из пистолетов и ружей. Возникали пожары.

Комендант Бахман, поспевая с сильным отрядом казаков всюду, где беспорядки, старался навести спокойствие.

Граф Чернышев жил в Кепенике. Заметив над Берлином зарево, он вскочил в седло и в сопровождении пяти эскадронов гусаров двенадцать верст проскакал вмах. Выяснив положение дела, он приказал немедленно очистить улицы столицы от грабителей.

– Пустить в ход оружие! Мародеров расстреливать на месте.

К ночи погромы во всем Берлине были приостановлены. Расставлены сильные караулы из русских возле королевских конюшен, обсерватории, оперного театра, зданий академии наук и академии художеств, возле больниц и госпиталей, возле университета и прочих общественных зданий.

Чернышев поместился в королевском дворце. Тотлебен, живший в другой половине дворца, на следующее утро явился к Чернышеву с докладом. Чернышев не подал ему руки и не предложил сесть. Похолодевший Тотлебен стоял навытяжку.

– Известно ли вам, граф, что король движется сюда?

– Нет, не известно, ваше сиятельство.

– Потребовали ль вы от магистрата ключи Берлина?

– Нет.

– Отлично! – Чернышев зажмурился, поправил тугой ворот мундира, достал из сумки голубоватый лист бумаги и потряс им в воздухе. – Подписанная вами капитуляция составлена слишком мягко для Берлина, и всемилостивейшая государыня вряд ли останется нами довольна. – Чернышев пристально уставился Тотлебену в лицо. В глазах Тотлебена отразилось сильное душевное волнение. – А изъяты ли вами деньги и прочие ценности из правительственных учреждений столицы?

– Нет, ваше сиятельство. Но я это исполню.

– Приведен ли в ход приказ генерала Панина о секвестровании мануфактуры королевских фабрик?

– Нет, ваше сиятельство, – произнес побледневший Тотлебен. – Но я имел к этому сильные основания. Вот извольте посмотреть документы, – и Тотлебен подал Чернышеву два исписанных листа бумаги с сургучными печатями. – Эти документы удостоверяют, что так называемые королевские фабрики работают не в пользу короля, а...

Чернышев, не читая, разорвал оба листа, скомкал их, швырнул на пол и, едва сдерживая себя, сказал:

– Сегодня же извольте отправить в наш лагерь все товары королевских фабрик. Я буду иметь личное за сим наблюдение. – Он поднялся и, опираясь кулаками в стол, резко проговорил: – В вашем поведении, граф, я усматриваю нечто большее, чем нарушение воинской дисциплины. Прощайте.

5

Ровно в полдень, по приглашению Чернышева, прибыл во дворец весь магистрат. Чернышев потребовал немедленно представить ему ключи города Берлина. Президент магистрата Кирхехен, высокий и худой старик в орденах и медалях, отвесил Чернышеву поклон и, покашливая, тонким голосом заговорил:

– Ваше сиятельство, всемилостивый военачальник! Умоляем вас отменить свое требование. Передачей вашему сиятельству ключей столицы была бы нанесена кровная обида его величеству королю и причинился бы вечный позор нашей нации.

– Смею вас заверить, – ответил, приподымаясь, Чернышев, – что нация тут ровно ни при чем. Против нас воюет король, а не нация. И может всегда случиться, что ваша нация окажется однажды не против нас, а с нами...

– Когда граф Тотлебен взял Берлин, он о ключах ни слова... – начал было Кирхехен, но Чернышев грубо прервал его:

– Замолчите! Граф Тотлебен Берлина не брал. Берлин взят русскими солдатами. Потрудитесь без промедления доставить мне ключи.

Золоченые ключи в шкатулке из мореного дуба с железным прусским орлом на крышке чрез час были вручены Чернышеву и перешли на славу России в ее владение. Вез ключи в придворной карете президент магистрата Кирхехен, глаза его были полны слез. Карету эскортировали три эскадрона русских гусаров с развернутыми знаменами и оркестром.

В конце дня Чернышев в открытом экипаже катался по городу. Его сопровождала сотня казаков. Пугачев с любопытством приглядывался к огромному городу Берлину.

– Я полагал, Кенигсберг-то город, а он супротив Берлина – деревня, – сказал он Семибратову, скакавшему голова в голову с ним.

Широченная и прямая улица Унтерденлинден, обсаженная посредине четырьмя рядами лип и обстроенная прекрасными домами, особенно поразила воображение казаков. Когда они помчались в зеленые заросли Тиргартена, большого, трехверстной длины, парка, со множеством дорожек, прудов и затейливых беседок, Чернышев пошел пешком направо, к реке Шпрее. Еще не улетевшие грачи с граем возвращались с полей, в кустах, потрескивая, посвистывая, перепархивали дрозды и пичуги. Хваченная инеем густая листва была живописна: желтая, фиолетовая, рдяная, как кровь, она радовала глаз.

А вот и неширокая Шпрее. Вода в ней не успела еще совсем остыть. Каких-то три наших солдата, оголив себя и наскоро перекрестившись, с разбегу кинулись в воду, громко загоготали и, отфыркиваясь, поплыли на тот берег.

– Хороша ль водичка? – с хохотом кричали им с берега.

– Хороша-то хороша. Только дюже мокрая! Одно слово – немецкая...

На берегу кучки наших солдат чистили обозных и верховых коней, стирали белье, негромко пели проголосную тамбовскую. пылал костер.

Пугачев водил взором по этой чужой ему реке, прислушивался к тягучей родной песне, ему вспоминался вольный Дон, сердце его облилось тоской по родине. «Домой, домой», – стучало сердце.

Вечером, проглядывая в библиотеке замка берлинские газеты за годы войны, Чернышев шумно негодовал. Помимо массы дерзких и каверзных карикатур на русских полководцев, казаков, Елизавету, его особо злили наглые поклепы на жестокость и варварство русского воинства. То мы в каком-то местечке по локоть отрубили руки трем почтенным старикам, то добывали кинжалами из чресла беременных женщин еще не родившихся младенцев, то, вытащив из церкви престарелого пастора, обмотали его соломой и живьем сожгли.

– Ну, я им, этим газетирам, завтра праздничек устрою... Диатрибы проклятые, – говорил Чернышев и отшвырнул газеты.

Утром следующего дня к плацу перед замком, где еще при отце Фридрихе II был цветущий сад (Люстгартен), со всех сторон спешил оповещенный о небывалом зрелище народ. Было воскресенье. Во всю длину плаца вытянулись в две шеренги солдаты, у каждого в руке пучок розог. В середине – бледные, растерянные сотрудники всех столичных газет, листовок и журналов. Тут же – высокая виселица с веревкой. Под виселицей пылал костер. Возле костра, наступив сапогом на кипу газет, стоял в красной рубахе и широкополой шляпе рослый палач. Чернышев с «перспективной» трубой в руке наблюдал эту картину из распахнутого окна замка.

Раздалась команда. Пять барабанов забили дробь. Палач, пачку за пачкой, стал швырять в огонь газетные листы... Капралы и казаки начали стаскивать с газетиров одежду. Газетеры дрожали.

Заиграл рожок. Бой барабанов прекратился. Адьютант графа Чернышева верхом на статном белом коне поднял руку. Весь плац погрузился в мертвое молчание. Взоры всех были устремлены на адъютанта. Громко, на немецком языке, адъютант объявил:

– За бесчестную клевету и грязную ложь, коими собранные газетеры на протяжении всей войны порочили Россию и ее славную армию, надлежит их прогнать сквозь строй.

Приговоренные пришли в трепет, стали что-то лепетать, стали приводить в свое оправдание жалкие доводы: «Мы действовали под давлением хозяев», – иные упали на колени и, обращаясь к адъютанту, молили о пощаде.

– Снимай портки, жирный черт, – пыхтел усатый капрал над толстым Фрицем. – Тебе по-русски говорят – снимай!

Но тот двумя горстями со всех сил держал штаны и весь трясся. Многочисленное собрание зевак шумело, волновалось. Из толпы слышались нервные выкрики:

– Шульц!.. Фриц!.. Рауль!.. Мужайтесь! Мы здесь, мы с вами.

Снова заиграл рожок. Все смолкло. Переконфуженные газетеры понуро стояли без штанов. Адьютант взмахнул рукой и торжественно, на весь плац, громко объявил:

– Всероссийская императрица Елизавета, в своем неизреченном милосердии даже к врагам своим, на сей раз всемилостивейше прощает преступных газетеров и берет с них клятвенное слово впредь такими продерзостями не заниматься.

Адьютант уехал. Казаки вскочили в седла. Солдаты с бравыми песнями строем разошлись. Публика помогла опозоренным газетчикам одеваться. Фриц, тяжело отдуваясь и вытирая с толстой шеи пот, прихватил пучок розог себе на память.

В этот же день было объявлено выступление из Берлина.

Распоряжением нашего командования взяты были все деньги, какие оказались в казначействе, в государственном банке и прочих казенных учреждениях, а также получен так называемый «дусергельд», то есть подарок русским и австрийским солдатам двухсот тысяч талеров.

Банкир Гоцковский готовился дать в ратуше русским военачальникам торжественный обед, но Чернышев затею эту отклонил.

За русским комендантом Бахманом магистрат прислал карету. Изливаясь в благодарности за поддержание в столице столь великой дисциплины, магистрат поднес ему как коменданту города десять тысяч талеров в награду. Не приняв денег, Бахман не без яда ответил:

– Я довольно награжден и тою честью, что несколько дней был комендантом Берлина.

Войска выступили в полном порядке. Впереди – донцы. Они успели сложить про свой поход песню. Потряхивая чубом, с лукавой смешинкой в черных, навывек глазах, Пугачев звонко начал:

Часто Фридриха мы били,
К нему в гости мы зашли,
Всю столицу перерыли,
Короля в ней не нашли.

Ударяя в бубны, в тулумбас, казаки с присвистом азартно подхватили:

Эх, любо, братцы, любо,
Любо врага бить!
С нашим атаманом
Не приходится тужить.
Эх, нечего тужить!

Опять залихватская запевка Пугачева:

Мы в Берлине погуляли,
Фридрих будет помнить нас.
В Шпре-реке коней купали,
Весь повывезли запас.

И снова дружные голоса казаков:

Эх, любо, братцы, любо,

Любо врага бить!..

Глава VI Чугунные рыцари

1

Наступил 1761 год, чреватый важными неожиданностями. Так, вместо Фермора, на пост главнокомандующего был неожиданно назначен фельдмаршал Бутурлин. Всем было в удивление, что на протяжении пяти лет войны сменялся вот уже четвертый военачальник. И, как на беду, все эти сановитые горе-воеводы, даже граф Салтыков, не обладали в полной мере качествами главнокомандующего. У них была своеобразная, весьма удобная для Фридриха тактика: восемь месяцев сидеть где-нибудь в Польше, два месяца идти к полю битвы, два месяца воевать, успешно разгромить вражескую армию и, не используя до конца победы, не поставив разбитого врага на колени, снова с легким сердцем уходить на зимние квартиры в Польшу, то есть возвращаться к праздному восьмимесячному прозябанию за счет русского крестьянства, изнывающего от военных поборов. А вот наступит лето, можно опять пойти подрасть с Фридрихом. И так тянулось это из года в год.

Всех горе-воевод подсовывал мужественной русской армии правящий Петербург, отчасти и сама Елизавета.

Горе-воеводой оказался на деле и фельдмаршал Бутурлин. Про него шла молва, что он навряд ли способен и три полка водить, где же ему всей армией командовать?

И еще говорили:

– Да если б главнокомандующим граф Румянцев встал три года еще тому назад, мир был бы заключен.

Бутурлину шестьдесят семь лет. Высокий, плотный, с красным горбатым носом, воспаленными, навывкате, глазами, он говорил густым басом, на подчиненных наводил иногда трепет, но с солдатами обращался милостиво. Когда-то он учился в морском корпусе, был денщиком Петра I, принимал участие в Полтавской битве. Его хорошо знали при дворе. На куртагах он не раз кутил с самой Елизаветой, а на придворных балах, танцуя в паре с государыней, фельдмаршал с таким азартом топал грузными сапожищами в паркетный пол, что по всему дворцу шел треск и грохот, как от пушечной пальбы. Человек хотя и недалекий, но прямой и честный, он, к сожалению, чрез меру зашибал винцом. Бывали в походе случаи, когда военачальник этот забирался к солдатам в палатку, и там начиналась веселая попойка. Когда все, за исключением адъютанта, были пьяны, фельдмаршал, расчувствовавшись и целуясь с гренадерами, тут же производил их в офицеры, а его самого затем уносили на квартиру. Проснувшись и пососав на опохмелку соленый огурчик, он утром призывал адъютанта и спрашивал:

– Ну как?

– Вот, господин фельдмаршал, извольте утвердить производство семерых солдат в первый офицерский чин, – и служака-адъютант совал Бутурлину список новых офицеров.

– Каких, каких таких... семерых солдат? – таращил глаза Бутурлин. – А-а-а, вспомнил!.. Ну-тка, покликай их сюды.

Он сидел на кровати в одной расстегнутой рубашке и подштанниках. На груди, поросшей густой шерстью, висел нательный золотой крестик, маленький образок Александра Невского и шагреновая ладанка, в которой защита лягушечья лапка – средство против вражьей пули.

Когда вошедшие гренадеры гаркнули приветствие, Бутурлин, взглянув в список, сказал:

– Окуньков! Который Окуньков? Ты? Очень хорошо. (Широкоплечий, рослый Окуньков, в полной надежде получить офицерский чин, приятно улыбался.) Слушай, Окуньков, – продолжал Бутурлин, которому лакей натягивал штаны, – ну какой ты, к чертовой бабушке, офицер! И что за радость тебе, голубчик Окуньков, офицером быть? Ведь ты солдат первостатейный, а офицеришком самым последним будешь. Ты подумай-ко, голубчик, да ответь мне по чистой совести, чем тебе лучше быть: свежим ржаным хлебом али паршивым калачом?

– Паршивым калачом, ваше высокопревосходительство! – прокричал солдат, тараща на фельдмаршала полные упования глаза. – Мы в согласии!

– Гм, гм... А ты грамотный?

– Не так чтобы уж очень, а маленько есть, ваше высокопревосходительство.

– А ну-тка, прочти, – и фельдмаршал подал ему воинский устав.

Окуньков, раскрыв книжку, задвигал бровями, руки его затряслись, он сказал:

– В глазах чегой-то... того-этого... Как вчера был, конечно, приурезавши... И как будучи получивши контузию в голову – всю грамоту отшибло, ваше высокопревосходительство!

– Вот и слава Богу, – отечески сказал Бутурлин. – Оставайся-ка ты, дружок, чем был раньше. Да и вы, братцы, идите с Богом к себе... Стойте-ка! Вот вам по пятаку на табачишко.

2

Русская армия зимовала в Польше. Кончался январь. Из России прибывали новые воинские части, боевые припасы, амуниция. Получив из дома третье письмо о тяжелом состоянии здоровья государыни, Бутурлин загрустил.

Однажды, когда кругом гудела вьюга и ветер нудно завывал в трубе, Бутурлин выпивал с глазу на глаз с адъютантом, своим любимцем.

– А ради чего я пью! – говорил Бутурлин, и губы его начинали подрагивать. – Да потому, что матушку жалко, матушка дюже плоха становится, дюже часто болясти нападают на нее: то рвота, то обмороки, то головушка болит. Мнится мне, уж не отравили ли нашу великую полковницу припущенники Фридриха, что при дворе толкуются. А матушка-т к людям доверчива... А красавица-то какая! Будь я помоложе, я бы... Вон Алешка-то Разумовский с царьков слетел, теперь Ванька Шувалов ляжками дрыгает возле матушки... Молокосос! Ну, он плясун, знаешь, петиметр такой, щеголь, – фельдмаршал чокнулся с офицером, понюхал луковку.

Офицер насмелился, спросил, когда же предвидится окончание войны.

– Нынче, голубушка моя, нынче! – отвечал фельдмаршал. – Надоела уж нам эта кутерьма. Фридрих весь истощен, можно сказать – при последнем издыхании, ну да и мы дюже от войны претерпеваем. Хотя матушка Елизавета, осерчав, рекла: «Ежели, мол, все союзники отступятся, одна буду воевать, половину туалетов своих продаж да бриллиантов, а все-таки Фридриха доконаю». Вот она какая у нас. А как посылала меня на фронт, молвить изволила: «Ну, прощай, Александр Борисыч, знаю, победишь ты, да уж мне не доведется о той победе слушать, навряд ли суждено нам с тобой на этом свете свидеться». Сказала так и горько-прегорько заплакала. – Бутурлин вытер платком глаза и посморкался. – Да мы давно Фридриха прикончили бы, еще граф Салтыков стоптал бы его, – вся беда в том, что в действиях своих озираемся мы на Питер. Вдруг матушка Богу душу отдаст? Что скажет новый-то владыка, Петр-то Федорыч? Ведь он на Фридриха-то молится. Ведь он нас... за победу-то нашу... знаешь, куды? В Сибирь! Вот мы и... танцуем раком... Только ты, голубушка моя, в высокую политику не вдавайся, помалкивай себе.

– Нем, как рыба, господин фельдмаршал, – шелкнув шпорами, сказал офицер. – И осмелюсь доложить: на графа Тотлебена поступило множество жалоб.

– На Тотлебена? Ну-тка, ну-тка, – оживился Бутурлин.

– Жалуются штаб-офицеры, слишком жесток он. Его там все ненавидят. Недавно наказ шпицрутенами тридцать рядовых казаков за плохое содержание пикетов, а за компанию с ними выдрал и старшин. Сегодня же получен рапорт самого Тотлебена: рапортует, что арестовал бригадира Краснощекова и полковника Перфильева.

– Ах он, сукин сын! – закричал Бутурлин. – Да как он смел! Ведь бригадир-то без малого генерал. Ну там казачишек... это еще туда-сюда, а вот старшин... Эх, и вздую же я его, подлеца. Иноземец какой-то, бывший волонтериска, да чтобы русскую армию пороть! Мне про него, про бахвала, и граф Чернышев немало сказывал. Ох, бестия, ох, сволота!.. Эй, денщик! Убери-ка, братец, все к чертям, только луковку оставь. Господин адъютант, ну-тка дайкося мне бумагу да перо. Я ему реприманд устрою! – Бутурлин оседлал красный нос очками и принялся за строжайший выговор Тотлебену с приказом немедленно освободить бригадира и полковника из-под ареста. Бутурлин, как и Чернышев, ненавидел Тотлебена, он чувствовал в нем врага и ждал случая поймать его.

Полученный от главнокомандующего суровый ордер задел Тотлебена за живое. И без того был он сильно раздражен невниманием к себе правящего Петербурга. За взятие Берлина он ничем не был награжден, даже не повышен в чине. Это ли не издевательство!

А дело было так: после резкого выговора или, вернее, строгого допроса, происшедшего в берлинском королевском замке, кичливый и самонадеянный Тотлебен страстно возненавидел своего обидчика графа Чернышева. И с того часа его неотступно преследовала мысль выставить своего врага на посмеянье всей Европы. «Такой разговор со мной только я да стены слышали, а вот я о тебе поговорю, во все концы мира гулы пойдут», – твердил Тотлебен, обдумывая каждую строку своей реляции о взятии Берлина.

И реляция была составлена. Не посылая в Петербург, Тотлебен поспешил опубликовать ее в заграничной прессе. В своей информации Тотлебен хвастливо выставил себя на первый план, сводил на нет значение графа Чернышева, резко порицал его как военачальника, а заодно вынес на суд Европы и некоторые недочеты русской армии. Эта реляция своевременно попала в руки фельдмаршала Бутурлина, он тотчас же препроводил ее в Питер. Елизавета на Тотлебена разгневалась. Она писала, что «реляция сочинена крайне продерзостно, ибо Тотлебен свою заслугу увеличивает на иждивение всей армии, особливо же поносит графа Чернышева с его корпусом». Быть бы Тотлебену худо, но тут за опального вступился всесильный государственный канцлер Воронцов, после чего из правящего Петербурга «высочайше повелено было, предавая все происшедшее совершенному забвению, обнадежить Тотлебена вновь монаршей милостью». Тотлебен успокоился. Но все его существование продолжал отравлять ему «этот старый барбос, этот пьяница Бутурлин». Вот и теперь... Получить такой разнос за каких-то паршивых казачишек...

3

Наступила весна. Тотлебен со своей частью находился в Померании. Сюда же должен был прийти корпус графа П. А. Румянцева для осады сильной приморской крепости Кольберг. Ожидалось прибытие русского флота и тяжелой артиллерии.

Хитроумный Бутурлин вздумал поманить не менее хитрого Тотлебена: а не может ли, мол, храбрый граф, на удивление всего мира, вновь проявить свое геройство и, не дожидаясь прибытия флота, молодецким налетом взять крепость Кольберг столь же искусно, как был взят Берлин. Истолковав такое предложение как насмешку, Тотлебен от подобной чести отказался. Тогда Бутурлин приказал ему: находившиеся под его командой три пехотных полка

передать графу Румянцеву, а самому Тотлебену с легкими войсками выступить из Померании на соединение с главной армией.

Но тут для Тотлебена произошло нечто неожиданное.

Полковник Аш, назначенный Бутурлиным заведывать делопроизводством графа Тотлебена, плохо знавшего русский язык, прислал Бутурлину секретное письмо, в котором сообщалось: «Кажется, что граф Тотлебен поступает не по долгу своей присяги и, как я думаю, находится в переписке с неприятелем». Полковник Аш, глаза и уши Бутурлина, писал далее о том, что Тотлебен получает корреспонденцию с неприятельской стороны, что прусский военачальник в Померании генерал Кернер почасту присылает в наш лагерь трубачей и офицеров для якобы разрешенных фельдмаршалом Бутурлиным переговоров о временном перемирии, что недавно берлинский банкир Гоцковский прожил в нашем лагере три дня по каким-то денежным делам и что смутившийся Тотлебен, очевидно, желая задобрить полковника Аша, подарил ему, Ашу, золотые драгоценные часы. «Все это и многое другое, – заключает Аш, – наводит меня на сомнение, что Тотлебен какую-то фальшивость чинит с нами, и я сделал проект, как его в уповательных фальшивостях поймать».

Прочитав это письмо, Бутурлин всохотнул и, сжав кулаки, сказал по адресу Тотлебена: – Вскормили змейку на свою шейку.

Вскоре в русском лагере полковник Аш встретил конфиден⁶та Саббатку из Берлина, прибывшего просить свидания с Тотлебенom. Полковник Аш это свидание устроил. На другой день Тотлебен отпустил Саббатку, приказав капитану Фафиусу проводить его с казаками до неприятельской крепости Кюстрин. Полковник Аш задержал Саббатку и обыскал его. В сапоге Саббатки оказался пакет без адреса, но за печатью Тотлебена, а в нем – точный перевод ордера Бутурлина с указанием предстоящего маршрута русской армии из Познани в Силезию и – еще собственноручная записка Тотлебена к Фридриху II. «Верный слуга получил сегодня милостивое письмо принцепала своего и надеется, что и сам принцепал письмо раба своего получил, которое он к принцу 1086 отослал, и о новых переменах 521, 864, 960 объявить не оставил. Верный раб по гроб не перестанет служить своему принцепалу 1284, 711, 6-45, 389».

Около полуночи, когда Тотлебен уже лежал в кровати, в его спальню неожиданно вошли три полковника: Билов, Зарич и Фуггер. Один из них, держа в руке бумагу, произнес:

– По высочайшему указу вы арестованы... – промолчав, резко добавил: – За сношение с неприятелем.

Тотлебен обомлел. Ему показалось, что это не три подчиненных ему полковника, а три чугунных рыцаря, те, что стояли в королевском дворце в Берлине, вздыбив возле его кровати, грузно ударили в пол чугунными секирами. Тотлебен вцепился горстями в одеяло и, исказившись в лице, воскликнул:

– Это ли награда за мою верную службу! За что, за что арестовать меня?

– У вашего шпиона Саббатки обнаружены позорящие вас документы.

– Хорошо, берите меня. Я отправлюсь с вами под эскортом к фельдмаршалу, где моя невинность сразу же объявится, – волнуясь, говорил Тотлебен по-французски. – Вы можете делать со мной что хотите... Но вы испортите этим начатую мною против Фридриха кампанию...

Были отобраны сабли, пистолеты, деньги, а все бумаги тотчас опечатаны. Среди бумаг найден черновик большого письма прусскому королю.

Тотлебена вместе с его людьми и конфиден⁶том Саббаткой вывезли сначала в ставку главнокомандующего, затем в Петербург, где все арестованные были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре после ареста были перехвачены письма короля и письма бан-

⁶ Доверенное по секретному делу лицо. – В. III.

кира Гоцковского. Банкир сообщал Тотлебену, что король обещает два миллиона за склонение российского двора в его пользу.

Следствие по делу Тотлебена вела особая военная комиссия под председательством бывшего кенигсбергского губернатора, барона Корфа. На допросе Тотлебен извивался, как придавленная палкой змея. Он показал, что его сношения с королем были целиком направлены к пользе и славе России. Он-де рассчитывал при удобных обстоятельствах заманить короля на личное свидание и во время randevu захватить его в плен.

Суд постановил: «Тотлебена, как изменника, казнить смертью. Саббатку освободить, ибо он был лишь письмоносом и шпионом Тотлебена»⁷.

4

Тем временем на арене войны происходили небольшие, но подчас кровавые стычки между мелкими частями борющихся сторон. Бутурлину было предписано Петербургом оставить Польшу и вести армию в Силезию, на соединение с австрийским корпусом барона Лаудона. Обе армии, русская и австрийская, должны были идти друг другу навстречу. А корпус Румянцева шел осаждать Кольберг.

Русская и австрийская армии соединились лишь в августе и вскоре вошли в соприкосновение с войсками Фридриха. Видя пред собой столь грозную силу, Фридрих струсил и быстро отошел под защиту пушек прекрасно укрепленного города Швейдница, в сорока верстах от Бреславля, в Силезии. Изнемогающий Фридрих, потерявший многих своих талантливых военачальников и с трудом набравший себе второсортную армию, теперь уже не отваживался нападать на врага, а предпочитал тактику оборонительную.

Союзники последовали за ним и окружили его армию кольцом с трех сторон. Положение Фридриха стало неимоверно трудным, он был заперт, как медведь в берлоге. Но охотники и на этот раз упустили зверя. Вместо того чтоб немедленно ударить на врага всей силой, союзники тратили дорогое время на военные совещания, излишние споры, сочинение сложных диспозиций. Лишенный мужества Бутурлин не слушался смелых советов Чернышева, мешая Лаудону, портил все дело.

А Фридрих не зевал. Работая темными ночами, он всей армией тайно рыл окопы, траншеи, волчьи ямы, воздвигал редуты, ставил батареи и чрез трое суток превратил свой лагерь в неодолимую твердыню, вооруженную пятьюстами пушек. Время для успешного нападения на Фридриха было упущено. Союзные военачальники воочию убедились, что штурм прусских укреплений теперь стоил бы неисчислимых человеческих жертв.

Невзирая на строжайшие приказы Петербурга дать общими силами Фридриху бой, фельдмаршал Бутурлин на это не решился. На военном совете он сказал Лаудону:

– Ежели хотите, начинайте приступ. Только я на это дело больше одного корпуса пожертвовать не отважусь. Да и чего ради? Не из-за вас ли, австрийцев, вся эта каша-то заварилась?

Место тут было голодное, русские войска получали только хлеб да воду, и Бутурлин решил вести армию обратно в Польшу, оставив в лагере лишь двадцатитысячный корпус Чернышева.

Его отход принес много неприятностей как венскому двору, так и правящему Петербургу. Разгневавшись на Бутурлина, Елизавета писала ему: «Не скроем от вас, что этим известием мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое-нибудь несчастье».

⁷ Воцарившимся Петром III Тотлебен был помилован, а Екатериною II – выслан за границу. – В. III.

Фридрих все-таки боялся напасть даже на уменьшившиеся почти вдвое полки противника. Он снялся с места и отошел в глубь опустошенной своей страны. Вскоре после его ухода предприимчивый Лаудон, поддержанный частью войск Чернышева, быстрым налетом овладел богатым и хорошо укрепленным городом Швейднице. В штурме особенно отличились русские гренадеры.

Вскоре пала и осажденная Румянцевым сильнейшая крепость Кольберг. Ключи крепости с торжественным донесением о победе искусный полководец Румянцев отослал в Петербург. Из Кольберга и Швейдница большими толпами пригоняли в Кенигсберг пленных прусских офицеров и военачальников.

Спрашивается, каковы же были конечные результаты столь злосчастной для народов длительной войны?

Русская армия и армия австрийцев представляли собою грозную свежую силу в двести тысяч бойцов. Фридрих же располагал всего лишь шестьюдесятью тысячами наскоро обученных, плохо одетых солдат. После Кунерсдорфской, славной для русского оружия, битвы Фридрих уже не мог оправиться. Его армия потеряла дух, лучшие офицеры были побиты или попали в плен. Фридрих сам не скрывал, что войско его совсем не то, каким оно было в начале войны. Он говорил своим друзьям:

– Мое теперешнее войско годится только для того, чтобы пугать им неприятеля издали.

Фридрих сознавал, что его враги, сохранившие боевую готовность своих армий, хотя медленно, но достигают желаемой цели и что борьба для него становится невозможной. Сколько-нибудь улучшить свое положение у Фридриха не было никаких надежд. За долгие годы войны Пруссия пришла в нищету, людей у Фридриха нет, денег нет, продуктов нет, в стране начались волнения. Круг судьбы Фридриха замыкался. Теперь ничто не могло спасти его, кроме чуда или счастливой случайности.

Глава VII

Петр Федорович III, император всероссийский

1

Каждая жизнь на земле, как и жизнь властелинов, кончается смертью.

Около трех часов пополудни, 25 декабря 1761 года, в праздник рождества Христова, скончалась в старом зимнем дворце императрица Елизавета, «привенчанная»⁸ дочь Петра I и «непомнящей родства» Екатерины.

Очень полная, высокого роста, с лицом одутловатым, но величественным и спокойным, бывшая государыня тяжело лежала на легких, умятых пуховиках, по грудь прикрытая шелковым, ярко-табачного цвета, одеялом. Изящные руки с побледневшими ногтями сложены на груди по-православному, крест-накрест. Изголовье взбито, приподнято. Наволочка с правой стороны в еще непросохших слезах: покидать жизнь веселую и трудную, оставлять обширную державу в бессильных руках злосчастного, черт его возьми, племянника было тяжело государыне сверх меры. И чудилось, что, чуть вскинув черные, выразительные брови, она грозит новому императору мертвым взором, ненавидит его, шлет ему проклятия.

За час до смерти Елизаветы наследник престола сидел в комнате рядом со спальней, где умирала императрица, и с нетерпением ожидал конца. А за две комнаты от спальни помещались сановитые: князь Никита Трубецкой и генерал крисг-комиссар А. И. Глебов. В этой

⁸ Елизавета родилась до церковного брака Петра с Екатериной. Во время венчания родителей маленькая Елизавета, согласно обычаю, также ходила вместе с ними вокруг аналая, держась за платье матери. Таких детей называли «привенчанными». – В. III.

комнате толпилась кучка перепуганной знати, перешептывались, трясли головами, нюхали табак, утирали носы платками. Восседавшие за письменным столом Трубецкой и Глебов кивком пальца подзывали по очереди близких к наследству особ, тихо переговаривались с ними, что-то писали, ходили с докладами к наследнику.

По галереям, коридорам, во всем дворце царил суматоха.

При последнем вздохе государыни были: новый император Петр Федорович III, новая императрица Екатерина Алексеевна и четыре врача, не смогшие продлить угасающую жизнь и на четыре секунды. Старший из них, лейб-медик Мупзей, повернувшись к царствующим особам, опустил голову, взор, руки, взволнованно по-французски объявил о кончине государыни.

Петр Федорович, подмигнув покойнице, лейб-медику и всему миру, сделал лицо елико возможно постным. Екатерина, всхлипнув, прикрыла ладонью припухшие от долгих слез глаза. Она вся в крайней тревоге. Обычное самообладание оставило ее. С особой остротой в ее мыслях промелькнула еще не остывшая сцена, происшедшая сегодня поутру. К ней дерзновенно проник Григорий Орлов. От имени капитана гвардии князя Михаила Дашкова, волнуясь и устремляя на Екатерину умоляющие, в слезах, глаза, Орлов сказал: «Повели, владычица сердец наших, мы тебя возведем на престол». Перепуганная Екатерина, привскочив с кресла, зажала его рот ладонью, зашептала: «Бога ради... Как можно сие? Бросьте вздор!» Поцеловав ароматную ладонь ее, он уже с большей настойчивостью стал торопливо говорить: «Ваше высочество... Ловите момент... Государыня кончается... Мы все в страхе за судьбу любезного отечества... Мы все умрем за вас. Не медлите, решайтесь!» «Нет, нет, – ответила она, чувствуя, как разрывается под корсажем ее сердце, – ваше предприятие есть рановременное, плод еще не созрел. Давайте ждать... Что Бог захочет, то и будет». И вот теперь у постели скончавшейся императрицы она готова упрекать себя за свой нерешительный, бабий ответ мужественному гвардейцу. «Господи, помоги, помоги мне», – шепчет она.

Открылись двери. Из приемной чинно, парами вошли члены Сената, придворные и сановники высших рангов. Зал огласился рыданиями. Екатерина тоже заплакала, кинулась к покойнице, с искренней горестью припала к ее груди.

Узкоплечий император соорудил гримасу «себе на уме», быстро повернулся кругом и, с пристуком переставляя негнувшиеся ноги и приподняв правое плечо, вышел. По коридору, на виду у публики, царь вышагивал размеренно и четко, он держал левую руку у шпаги, правой чуть помахивал; но чем ближе к своей комнате, тем походка его становилась быстрее, вот он вбежал к себе, притопнул, неестественно захохотал, подхватил на руки пыхтящую собачонку, стал с ней кружиться, захлеб выкрикивать:

– Томи, Томи!.. Я император... Я император, самодержец всероссийский!.. Наконец-то, Томи... Довольно нам неприятных встреч с тетушкой... Что, что? Ты у кого на руках, псина собачья? Пошла вон, пошла вон! – Петр швырнул собачонку через стол в кресло. – Смирно! На караул! – и, подтянувшись и помахивая чуть согнутой в локте длинной рукой, приблизился к зеркалу, стукнул каблук в каблук: – Ваше величество! Мы, Божией милостью, император и самодержец всероссийский. – И как бы спохватился, прищелкнул пальцами, отпрянул от зеркала прочь. – Шляпу-шляпу-шляпу... – надвинул на глаза неуклюжую голштинскую шляпищу с пером (и без того небольшое лицо его сразу стало маленьким, детским, треугольным), выхватил из ножен шпагу и, вскинув ее, по всем правилам торжественных парадов продефилировал перед портретом Фридриха Прусского: – Салют! Салют! – Повернулся и еще раз прошел, повернулся и еще раз прошел грудью вперед, салютуя шпагой. – Фридрих... Великий Фридрих, брат мой!.. Отныне я, император всероссийский, вечный твой друг... Вся моя армия и весь я к твоим услугам, дорогой добрый брат и отец мой великий Фридрих. Эй, кто там? Трубку императору! И... кружку пива...

Не однажды битый, но любимый им лакей, губастый пожилой арап Нарцис исполнил приказ. Петр с жадностью выпил пиво.

– Еще кружку! И Мельгунова сюда... Император требует к себе. Император!..

Вторую кружку с особой учтивостью величаво и чванно подал на серебряном подносе сам генерал-полковник Мельгунов. Государь с жадностью осушил и эту объемистую кружку: округлый, стянутый кушаком живот его заметно раздулся.

– Слушай, Алексей Петрович! – скрипящим, крикливым голосом воскликнул новый государь. – Я, император, приказываю тебе... – он напыжился, сдвинул жидковатые брови. Большие, на полудетском лице, темные глаза его улыбались и серьезились, улыбались и прикидывались грозными. Он впервые повелевал как неограниченный владыка. От часто произносимого им слова «император» кровь приятно вскипала в нем, как от шампанского, и всякий раз бросалась в голову. – Передай государыне императрице, что император просит ее величество оставаться при теле почившей государыни и ожидать распоряжений государя императора, то есть моих.

«Полуглупо, как всегда», – внутренне усмехнулся умный Мельгунов, сказал:

– Слушаю, ваше величество, – и вышел.

Гремя серебряными шпорами, Петр величаво изволил проследовать в свою опочивальню. Тяжелая дверь льстиво заскрипела: «император». Он видит – все стоит перед ним в страхе, навывтяжку: сотни оловянных и вылепленных из теста раскрашенных солдатиков, прусские всадники, расставленные наверху запылившихся шкафов, чучело прусского витязя в доспехах, скрипка, столы, стулья, кровать, с длинными чубуками трубки – все эти бездушные вещи глядят на своего владыку почтительно и удивленно.

Слабый мозг Петра горел, сердце взбалмошно выстукивало: «Император, император, император». Перекинулись в клетках чижи со щеглами: «Император, император». Маятник мюнхенских часов размеренно отбрюкивал: «Им-пе-ра-тор». Углы взнузданных губ государя полезли вверх, обнажая в благодарной улыбке коричневые от безмерного куренья и плохого ухода зубы.

И вдруг, омрачая эти минуты самовлюбленного величия, какая-то каналья осмелилась крикнуть повелителю в лицо:

– Дурак!

Петр Федорович разинул рот, заморгал правым глазом, выхватил шпагу, в два прыжка скакнул к медному кольцу, где жался желтый попугай, и с размаху ударил по птице шпагой. Попугай, подсвистнув, перелетел на печку и еще два раза прогнусил: «Дурак...»

Государь затопал, в бешенстве завизжал, швырнул в анафемскую птичку игрушечной пушкой. Вбежавшему арапу, давась словами и слюной, стал в торопливости выкрикивать:

– Поймать, поймать, поймать!.. Поймать эту ку-ку-ку-рицу. Ощипать и бросить кошке... Кто ее научил? Кто ее научил? – и, красный, потный, выбежал в конференц-зал. – Я им покажу, я им всем покажу! Я не тетушка Елизавета в сарафане. Я, я... – бубнил он, не зная, чем успокоить себя.

2

В комнате с гробом читали Евангелие, окна открыты, втекал морозный воздух. Началась панихида, совершаемая знаменитым митрополитом новгородским Дмитрием Сеченовым. При пении придворным хором «Со святыми упокой» одетая в глубокий траур Екатерина и все присутствующие опустили на колени. Петр стоял столбом. Екатерина шептала ему: «Встаньте, встаньте на колени». Но тот никак не мог этого сделать: длинные голенища ботфорт необычайно узки, жестки, как железо, и столь туго напаялены на ноги, что колени не сгибались. Петр обычно двигался, переставляя ноги, как деревянные ходули, а если нужно

было сесть, он, подпрыгнув, шлепался сиденьем с кресло, либо проделывал сложный акробатический прием: встав спиной к креслу, хватался за его поручни, выставляя ноги вперед в сильный наклон к полу и, скользя пятками по паркету, благополучно падал в кресло.

– Встаньте, прошу вас, – настойчиво повторила Екатерина, тщаь не уронить высокого звания своего супруга в глазах новых его подданных.

Петр соорудил гримасу и, выкинув ногами пируэт, попробовал опуститься. Левую ногу он оттянул елико возможно назад, сделал огромное усилие согнуть в колене и правую ногу, голенище громко закрипело, как коростель в болоте, а нога и не думала сгибаться. Тогда Петр с отчаянием повалился лицом вперед в надежде справиться с деревянными ногами, лежа на полу. Он уперся ладонями в ковер и, оттопыривая зад и выгорбливая узкоплечую спину, тужился подвлочить ноги к животу, чтоб всей силой согнуть их и хоть как-нибудь стать на колени. «О, черт», – кричал он, гримасничая, как на пытке, и скрежеща зубами. Видя безобразную и беспомощную позу его, два адъютанта живо подхватили государя под руки и враз вздыбили.

Пока вспотевший Петр корячился на полу, погребальное песнопение закончилось, все поднялись, злясь в душе на государя, что в столь трагическую минуту устроил такую гишпанскую комедию. От великой неприятности на щеках Екатерины сквозь пудру яркий проступил румянец. Екатерина негодовала на Петра и в то же время преисполнялась радостью: чем больше уронит себя новый император во мнении придворной знати, тем для нее лучше.

Митрополит произнес краткую речь, восхваляя деяния покойной и скорбя о том, что великая государыня безвременно скончалась.

– Слава Богу, слава Богу, слава Богу, – скороговоркой выборматывал новый император, улыбаясь и подмигивая церковному, в золотой митре, краснобаю, а все присутствующие плакали, проливая слезы и Екатерина.

Затем все пошли в дворцовую церковь для принесения торжественной присяги. С крепости был пушечный салют.

В тот же день, в куртажной галерее, за три комнаты от покойницы, сервирован был на полтора персон ужин, и, невзирая на траур, повелено было государем: всем быть на том ужине в светлом платье.

Подобное нарушение самых простых приличий прозвучало среди ошеломленной знати как явный вызов, как жесточайшее оскорбление издревле установленных обычаев.

Ужин проходил весело. Император, как водится, изрядно выпивал и в открытую амурничал с сидевшей против него любовницей своей Елизаветой Воронцовой. Мрачная, погруженная в свою печаль, с заплаканными глазами сидела рядом с царем Екатерина. За креслом Петра стоял осиротевший фаворит покойной императрицы Иван Иванович Шувалов. Он полон был искреннего горя, но и он принужден притворяться беспечным, радостным. Рядом с Екатериной толстобрюхий князь Никита Трубецкой. Сей «птенец Петра Великого», друг старика князя Кантемира, переживший семь царствований, видел падение многих своих милостивцев и благоприятелей, а иногда и сам участвовал в их гибели, но по своей изворотливости всегда умел вовремя оставить слабых и перебраться на сторону сильнейшую.

– Ваше императорское величество! – то и дело восклицает Никита Юрьевич Трубецкой, вытягивая жирную шею и стараясь зацеловать своего нового владыку взором преданного пса. Он прежде притворялся убогим и хилым, нынче счел полезным для своей карьеры затянуть свое тучное, на коротких ногах, тело в тугой мундир. – Не нахожу слов выразить вам, государь, радость, меня обуревающую, что наконец-то появился на земле русский великий царь, внук приснопамятного великого Петра... Радуюсь от всего сердца, что судьбы женского правления на Руси волею Божией завершены. Отныне нами, россиянами, владеет повелитель...

Многие дамы с заплаканными глазами и многие вельможи – даже великий канцлер Михаил Ларионович Варенцов (дядя любовницы Петра), – взвесив льстивые выкрики этой старой увертливой лисы и не желая попасть в дурни, тоже принялись во все тяжкие распинаться в лесты, стараясь захвалить быстро хмелевшего царя. Возмущенной Екатерине казалось, что Бог в один момент лишил все это сиятельное общество стыда и чести. И ей стало страшно за себя, о чем впоследствии она и рассказывала своим близким.

Царь хмелел от вина и льстивых похвал, щекочущих его тщеславие. В недозрелом мозгу его вмиг поднялись хвастливые мыслишки, он действительно возомнил себя великим и стал вслух величаться, как внезапно разбогатевший купчик, – я-ста да я-ста.

– Я в России не любим. Знаю, знаю! – выкрикивал он, покрывая своим резким, скрипучим голосом дружный хор льстивых царедворцев, старавшихся уверить императора, что вся Россия готова лобызать с сыновней любовью его священные стопы. – Знаю, знаю! – пристукивал он то хрустальным бокалом, то вилкой, украшенной короной. – Кто предан мне, того приближу и возвеличу (многообещающий кивок в сторону Елизаветы Воронцовой), кто супротивничает, того уничтожу... С Пруссией мир, мир... С Данией война... Сам поведу, сам поведу войска!.. Вы еще не ведаете, сколь я искусен в стратегии. Я перекрою карту всего света... Мы с Фридрихом... О, великий Фридрих!.. Апраксин изменник... Чернышев дурак... Подать мне Миниха, фельдмаршала Миниха подать сюда! Подать Бирона! Всех из ссылки вернуть! Я не позволю... Что, что? Прошу вас не вмешиваться, прошу не вмешиваться, прошу не вмешиваться! – повернув лицо к Екатерине и косясь на все, он стукнул пред ней бокалом и расплескал по скатерти наливку.

Обрюзгшая Елизавета Воронцова, изобразив позу величия, высокомерно взирала и на императора, и на приглашенных, и на свою соперницу Екатерину, удрученно молчащую весь ужин. Расфуфыренные, в бриллиантах, княгини, графини и сенаторши втихомолку подольщались к жирной Елизавете, лаская ее взором и словами. Екатерина же действительно была в тени, ее как будто никто не замечал.

Она всю ночь проплакала, отметив это в памятной своей тетради.

Наутро, 26 декабря, ей принесли приказ: быть сегодня на парадном обеде в богатой робе, сидеть за столом в порядке, указанном билетами.

Обед с представителями иностранных дворов, приносивших утром поздравления с восшествием на престол, прошел так же шумно, как и вчерашний ужин. В спальне покойницы, пока длился обед, врачи анатомировали тело Елизаветы.

Французский посланник, молодой красавец барон Бретэль, и его жена, присутствовавшие на обеде, делились дома впечатлениями.

– А вы заметили, какой удрученный вид имела императрица? – сказал барон, сняв парик и швырнув его за этажерку.

– Для меня более чем ясно, что государыня никакого значения иметь не будет. Она одинока, – ответила баронесса. – Император удвоил свое внимание к этой противной мегере, девице Воронцовой. Императрица в ужасном положении: к ней относятся все с явным холодком. Бедная Екатерина!

– Успокойтесь, мой друг, – возразил барон, вытирая ароматным спиртом голову свою. – Вы плохо знаете молодую императрицу... А я достаточно наслышан о ее смелости, отваге, дерзании...

– Но я вижу, я же вижу...

– Простите, мой друг. Вы ничего не видите, а если и видите что-либо, то чисто, простите меня, по-женски.

Баронесса обиделась, потупила подведенные глаза. Барон подскочил, поцеловал ей руку. Он хотел сказать: «Я уверен, что Екатерина рано или поздно прибегнет к какой-либо крайней мере... Я отлично знаю молодых ее друзей. Они решатся для нее на все, поставив на

карту даже свои головы, лишь бы она этого пожелала». Но барон почел опасным доверить эти мысли своей супруге. Он их изложил в зашифрованной депеше королю Людовику XV.

Барону Бретэлю бросилась в глаза также и странная форма манифеста о восшествии на престол Петра III, в нем не были упомянуты ни императрица Екатерина, ни наследник престола Павел. Удивил манифест и все петербургское общество, породив впоследствии многие кривотолки по всей России. Были поражены и молодые, горячие поклонники Екатерины: братья Орловы и все, кто с ними.

– Ну не прав ли я был, друзья?! – восклицал возмущенный Григорий Орлов при первой же встрече с товарищами.

Воспитатель малолетнего князя Павла Петровича сенатор Никита Иванович Панин, бывший посол в Швеции, человек тонкий, либеральный, умный политик, любящий своего воспитанника, читая манифест, только руками развел:

– Что сие значит? В толк не возьму... Кто ж у нас наследник? И почему ни слова об императрице? Сдается мне – этот старый дурак канцлер Воронцов прочит на престол Лизку, племянницу свою. У-зур-па-торы...

Но больше всех была поражена манифестом сама Екатерина. Итак, супруг желает низвести ее на степень ничтожества. Великого князя, семилетнего Павла, он не считает своим сыном, а ее перестанет скоро считать императрицей. Екатерина поняла, что ей предстоит упорная борьба с окружавшими ее врагами. Но она постарается разбить назревший против нее комplot.

– Погибнуть или...

3

На следующий день, невзирая на объявленный во всей империи траур, Петр Федорович уехал к графу Шереметеву править святки. Встретил здесь крестницу свою, княгиню Екатерину Романовну Дашкову, младшую сестру своей любовницы, приятельницу молодой императрицы. Она маленького роста, толстощекая, большеглазая, лоб высокий, черноволосая, взгляд глубоко посаженных глаз умный, насмешливый, она оживлена и в общем миловидна. Подгибая одно колено, она по-модному, со всей грацией присела перед государем, а свою старшую сестрицу окатила полупрезрительным, с насмешкой, взором. Петр, словно отмахиваясь от шмеля, боднул головой, нервно взял Дашкову под руку, отвел в уголок под пальмы. Дашкова вопросительно взглянула в его большие покрасневшие глаза. А хозяева дома, граф и графиня Шереметевы, повели Елизавету Воронцову в зал стиля барокко, где толпились разряженные гости.

– Дитя мое, – заговорил Петр по-французски, отбивая ногой такт. – Вам не мешало бы помнить, дитя мое, что водить хлеб-соль с честными дураками, каковы мы с вашей сестрой Романовной, гораздо безопаснее, чем с теми великими умниками, кои выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги.

– Ваше величество! – подобно ракете, вспыхнула темпераментная молодая княгиня. – Я стараюсь платить дань равного почитания и государю своему и его супруге Екатерине Алексеевне...

– Ах, вы меня не понимаете, дружок, или не хотите понять. Почему вы не показываетесь в моем дворце? Почему вы дружны с государыней, а к Романовне поворачиваете спину и не хотите иметь с ней никаких альянцев? – Он стал говорить задышающимся шепотом, подмаргивая проходящим гостям, а кой-кому из них показывая язык. – Если вы, дружок мой, желаете слушаться моего совета, то старайтесь дорожить нами с Романовной немного побольше. Поверьте мне, я говорю ради вашей же пользы. Вы не иначе можете устроить

вашу карьеру в свете, как изучая желания и стараясь снискать расположение и покровительство вашей сестры...

– Простите, но все-таки я не совсем вас понимаю, государь, – взволнованно и пытаюсь пресечь этот неприятный разговор, сказала Дашкова.

– А вы старайтесь понять, старайтесь понять, мой друг! – закричал Петр, но тотчас сбавил голос; смешное, покрытое следами оспы лицо его стало любезным и льстивым. – Пойдем, перебросимся в «sampris», – и потащил смущенную Дашкову к карточному столу.

Там уже играли двое Нарышкиных с женами, подруга царицы, красивая графиня Брюс, бывшая любовница Петра белолицая Матрена Теплова, приятель царя, молодой Гудович, и флигель-адъютант Анжерн. Все быстро поднялись и – навытяжку. Дамы, подобрав к талии униженные бриллиантами ручки, жеманно стали приседать.

– Продолжайте, продолжайте, господа, – встряхнул Петр широким обшлагом с красными отворотами и вновь соорудил гримасу. – Примите нас с княгиней. Ого! Чего ради по такой маленькой играете?

Петр размашисто, не следя за изысканностью жестов, вывалил из кармана кучу золота и поставил по десяти червонцев на очко. Ставка слишком огромная даже для тугого кошелька княгини Дашковой. Все хотя и поморщились, однако принуждены были подчиниться прихоти царя. Внутренне издеваясь над карикатурным Петром, Дашкова подумала: «Разбогател, дорвался. А еще недавно столь профершпилился на голоштанников голштинцев, что и на содержание своей Романовны денег не стало: Екатерине Алексеевне довелось взять на свой кошт любовницу супруга своего». И Дашкова, не сдержавшись, по-детски рассмеялась.

– Что, что? – подозрительно выпалил император. – Вы что, княгинюшка? Ага, бью!.. Гудович, ты как? И тебя бью. Ага! Денежки мои, денежки мои... – сгребая червонцы, закричал он радостно и, как ребенок, стал прихлопывать в ладоши. – Вы оба в ремизе.

– «Вы оба в ремизе», как сказал некий индийский принц, стаскивая за бороду с ложа своей супруги незнакомца... – в тон Петру закричал подоспевший остряк и балагур, барон Строганов.

Вертлявая Дашкова, хихикнув, прикрыла губы веером, Петр заморгал правым глазом, покраснел и нервно дернул головой: в углу, заставленном широколиственными цветами, на золоченом диване, весь в белой замше, бобрах и золоте, красавец молодой поляк и, плечо в плечо с ним, – полнотелая, безвкусно расфранченная Елизавета Воронцова. Она весело смеялась, слегка ударяя кавалера веером; тот подпрыгивал точеной, в белых лосинах, ляжкой и что-то врал.

– Садитесь, Строганов! – гневно крикнул ревнивый император и пристукнул в пол шпагой. Строганов, учтиво поклонясь царю, опустился в кресло. Он упрекал себя за свою неуместную остроту, так метко задевшую Петра. – Ставьте, Строганов. Десять червонцев на очко... Или у вас нет золота? Тогда ставьте на соль. У вас ее много... Где это, на какой реке? На Миссисипи? На-на-на Волге?.. На-на... на Висле?

– У барона Строганова, ваше величество, – подхватила дерзкая Екатерина Романовна Дашкова, – масса соли на реке Каме в Соликамске, а еще больше – на языке, в речах...

– О, о, о! – завертелся в кресле Петр. – Да вы, княгиня, все знаете лучше меня. У вас, у вас... – он, кривляясь, постучал себя пальцем по лбу. – Вы, две Екатерины, великие умники. О-о, вы обе зело умны. А мы уж, а мы... Ну-с, чей ход? – Император злился, углы рта то висли, то вздергивались, ревнивый взгляд летал от Елизаветы Воронцовой к насмешливому Строганову, от Строганова к лебезившему пред Елизаветой поляку.

– Да, между прочим!.. – воскликнул Петр и бросил карты.

Бряцающая шпорами, приблизились к столу непрошенные два бравых толстобрюхих голштинца – генерал Шильд и полковник фон Берг.

Голштинцы-вояки явились во дворец Шереметева без зова и подошли к государю попросту, нарушив этим придворный этикет. Сановная аристократия привыкла считать многих голштинских офицеров либо бывшими сапожниками, либо простыми капрами прусской службы. Поэтому все, кроме императора, при их появлении поморщились.

Первым нарушителем условных приличностей был сам Петр. Он сразу подметил кислые гримасы спесивой знати, и, чтоб унизить знать, чтоб сбить ей чопорность и спесь, Петр с непринужденным, но деланным равнодушием крикнул стоявшим навтыжку голштинцам:

– Садитесь, господа!

Рядом с Дашковой бесцеремонно сел усач фон Берг. Та, с брезгливостью отстранившись от незваного соседа, придвинула свой стул к Петру, вынула венецианский флакончик в золотой оправе и слегка опрыскала себя духами. От голштинцев пахло водкой и сапогами. Они не знали, как держать себя в столь высоком обществе, и, чтоб замаскировать свое смущение, тотчас вытащили из штанов глиняные трубки и закурили. Подражая им в грубости манер и желая казаться воинственным, Петр тоже вытащил курносую глиняную трубку и тоже закурил. Дамы легким дуновением незаметно отгоняли вонючий дым, а развязная Дашкова принялась махать одновременно и платком и веером: «Фи, фи...»

– Я давеча сказал: между прочим... О чем, бишь, я? – взгляд Петра опять поймал на прицел Елизавету Воронцову и красавчика-поляка. – Да! Вы, господа, помните этого мальчишку... как его, как его?... гвардейца, юнкера...

– Челищева?

– Челищева, Челищева!.. Нет, я ему не могу простить... Как?! Позволить себе увлечь графиню Гендрикову, племянницу мою?... Это уж слишком, это уж слишком, господа.

Голштинцы, ни слова не понимая по-французски, пучили на Петра глаза, согласно кивали головами, страшно дымили.

– Клянусь вам!.. Я прикажу сего юнца, ради примера прочим офицерам, казнить за предерзостную любовь к особе царствующего дома. Казнить! – и царь погрозил перстом почему-то в сторону поляка.

– Простите, государь, – заметила Дашкова, отмахивая клубы дыма. – Но рубить молодому повесе голову слишком жестоко. Тем более что еще не доказано, гнусная сплетня это или так и было... Во всяком разе, такая кара превысила бы меру преступления...

– Вы, мой друг, совершенное дитя, – пожал плечами Петр; он выколотил пепел из трубки прямо на пол и подал ее полковнику фон Бергу (впрочем, фон Берг, один из тайных голштинских шпионов Фридриха II, никогда не был «фоном», а просто – Берг, бывший цирюльник в прусской армии, получивший от Петра III чин полковника за свою воинственную осанку). Полковник фон Берг набил трубку табаком, закурил от свечи, вытер слюну с черенка полой неопрятного мундира и, описав трубкой возле царского рта круг (это должно было означать признак отменной галантности), сунул ее кончик в вытянутые, как для поцелуя, губы императора. Все, таясь, с лукавством ухмыльнулись. Строганов подчеркнуто прикрикнул.

– Вы, дитя мое, – продолжал император, обращаясь к вертлявой Дашковой, – когда станете постарше, поймете, что, отменяя смертную казнь, мы потворствуем всякой непокорности и всевозможным беспорядкам. – Петр сильно затянулся трубкой и закашлялся.

– Но, государь, – вызывающе ответила княгиня, щеки ее горели, – вы о сем говорите столь убежденным тоном, что ваши высокие слова сильно беспокоивают нас. Ведь мы все, за исключением ваших бравых голштинских генералов, жили в царствование тихое, елизаветинское...

– Ну что ж, хотя бы... хотя бы... Зато у вас ни порядка, ни дисциплины. Нет, сударыня, вы еще слишком дитя и ничего не смыслите в этих делах... Господа! Игра продолжается. Чей ход?

Он в игре не то чтобы жульничал, но иногда под шумок передергивал картишки. Его партнеры, вместо того чтоб ударить самодержца по голове шандалом, принуждены смотреть на легкое шулерство своего государя сквозь пальцы. Петр выигрывал, добрел, шутил, огребая золото. Быстро продувшая денежки восемнадцатилетняя княгиня Дашкова с ребяческой дерзостью сказала:

– Разрешите мне, государь, выйти из игры.

– Играйте, играйте! Счастье переменчиво.

– Я не столь богата, чтоб поддаться на вашу очень, *очень тонкую игру*.

– Да! – тотчас притворился царь круглым дурачком. – Искусный стратег сразу виден даже и в картежной игре...

– Я бы предпочла плохого стратега искусному, лишь бы он не нарушал установленных в игре правил... А играл бы, как все мы.

– Ха-ха-ха! – не к месту деланно захохотали бравые голштинцы.

– Это бес, а не женщина, – шепнула Брюсиха Нарышкиной.

Петр резко повернулся боком к Дашковой и, поймав веселый смех своей любовницы, подозвал Гудовича и сказал ему громко:

– Поди к Елизавете Романовне, чтоб сейчас же шла сюда к столу.

За столом стало тихо, но весь зал шумел. От игорного стола валил дым, как на пожарище. Строганов сделал из носового платка ушастого зайчика, пугал им Дашкову, стараясь не попасться на мрачные глаза царя. Петр видел: Гудович подкатил по паркету, как по льду, к креслу Елизаветы Воронцовой, полячек-красавчик встал, начал шаркать ногами, брякать шпорами, сгибаясь в почтительном поклоне пред вдруг нахмурившейся Елизаветой Воронцовой, и браво отошел прочь, в пеструю толпу гуляющих гостей. Елизавета тоже поднялась, сердито оправила юбки и, ничего не ответив Гудовичу, вперевалку пошла назло Петру в другой зал. К ней тотчас подскочили два блестящих кавалера.

– Моя сестрица пользуется, к удивлению моему, немалым успехом, – не утерпела уязвить самолюбие Петра княгиня Дашкова.

Петр, приспособив ноги, крепко уперся руками в стол и пружинно поднялся. Игроки вскочили – мужчины в струнку, дамы стали приседать. Петр повелительно сказал:

– Продолжайте, господа, – и на вытянутых, негнущихся ногах круто зашагал вслед за Елизаветой.

В малой голубой гостиной, где толпились придворные, офицеры Измайловского и других полков, разные дамы в раздутых, как колокол, платьях, все подтянулись. Старец князь Никита Трубецкой, обычно притворявшийся хилым подагриком, сидел теперь возле стены на кушетке в туго затянутом, тесном мундире, весь расшитый золотом, весь увешанный крестами и звездами. На заплывших коротких ногах ботфорты с бряцающими шпорами. Горло крепко стянуто форменным шарфом, глаза лезут на лоб, лицо красное. Большебрюхий, пыхтящий, он сидел барабаном, легонько постанывая. Возле него – кучка льстецов, подхалимов нового царствования. Всяк пробовал почву, тверда ли, всяк норовил укрепиться, опрокинуть противника, стать выше всех.

И лишь раздалось: «Государь, государь», – все вдруг вскочили, кинулись в стороны, расступились широкой дорогой. Барабанообразный старик Трубецкой, бросив постанывать, забыв про подагру, вдруг превратился в непобедимого воина: шпага бряцала, шпоры звенели, он стал в ряд измайловцев – грудь вперед, брюхо назад, замер, ел глазами шагавшего, словно на ходулях, невзрачного самодержца, как бы силясь сказать: «Я здесь, ваше величество. Я весь ваш по гроб жизни». Потешное приседание вспыхнувших дам, почтительная тишина, военная вытяжка.

И этой широкой дорогой, никого не заметив, а разинув рот и кривляясь, быстро последовал раздосадованный царь. Раздувая ноздри, приносясь, хватаясь за шпагу, он весь погружен в поиски вероломной Елизаветы Романовны.

4

Императрица не пожаловала к Шереметеву в гости, сказалась больной кашлем, читала дома Гельвеция. Чрез сени от ее покоев несколько дней тому назад были приготовлены две комнаты, где раньше жил Александр Иванович Шувалов, начальник страшной Тайной канцелярии. В эти комнаты перебрался Петр, а свои покои уступил «Лизке» Воронцовой. Эта жесточайшая затея императора была для оскорбленной Екатерины мучительна, как инквизиторская пытка.

С шереметевского ужина Петр с возлюбленной вернулись поздно и в великой ссоре. Он прошел в покой Романовны. Любимая горничная (камерюнгфера) императрицы Катерина Ивановна Шаргородская, поощряемая к тому царицей, гораздо была подслушивать. Как только поднялся в комнатах Лизки шум, горничная прокралась кошкой в коридор, нырнула за шкаф, затаилась, как охотник на звериной облаве. А шум за ясеновой дверью креп и креп: Лизка крыла царя резким визгом, царь отругивался по-прусски, топал ногами, орал козлом.

Вдруг распахнулась дверь, царь треснул Лизку по щеке, но сия здоровецкая бабища ловким пинком вышибла замухрышку мужчину в коридор и захлопнула дверь. Царь от затрепщины посунулся носом, всхлипнул, парик съехал в сторону, косичка с черным бантом жалко легла на плечо, галстук растрепан, повис, огромная шпага болталась в ногах, звяк шпор притих. Постоял, как выгнанный школьник, было рванул к каверзной двери, но перетрусил, вновь злобно всхлипнул, закрыл лицо нежными дланями и неверной походкой направился коридором к себе. К великому удивлению притаившейся горничной, впаянные в ботфорты царские ноги на сей раз сгибались в коленях; император был вдребезги пьян.

На другой день, к вечеру, Екатерине подали от Елизаветы Воронцовой письмо со всепокорнейшей просьбой навестить ее, болящую, для неотложных переговоров о наиважнейшем деле. Екатерина, сгорая любопытством, переломила себя, пошла.

Двадцатипятилетняя Елизавета Воронцова, неприбранная, с распущенными волосами, лежала на кровати и плакала.

– Вы больны? – спросила Екатерина и присела возле нее. Та схватила ее руки, с отчаянием сжимала их, покрывала поцелуями. – Чем вы больны?

– Я вас очень прошу, – ответила Елизавета, – сходить к Пьеру и умолять его от моего имени, пусть он отошлет меня к отцу... Здесь, во дворце, мне тяжело. Пьера окружают гады, подлизы, шпионы, я вчера у Шереметевых и Пьера ругала и его приятелей ругала... Он, пьяный, стал шуметь и, в отместку мне, пытался арестовать моего отца. Сходите к нему, Бога ради!

– Прошу вас, – сухо сказала императрица, – для сей комиссии избрать кого-либо другого... Чаю, попытка моя была бы государю досадительна...

– А так ему и надо! – со злостью приподнялась Елизавета на локте. – Нет, умоляю вас, мне больше некого просить.

Часу в седьмом, когда зажгли огни во дворце, Екатерина пошла к Петру. Он был в шлафроке, взад-вперед ходил по комнате, лицо сонное, дряблкое.

– Здравствуйте, – сказал он, схватился за щеку и, пососав больной зуб, сплюнул в песочницу. – Я изумлен... Вы так редко ко мне...

– Если вы дивитесь моему приходу, то еще более удивитесь, когда сведаете, с чем я пришла, – сказала Екатерина.

– Очень прошу вас, говорите, – сказал Петр.

После вчерашней баталии он чувствовал себя пред Екатериной виноватым и хотел быть с ней отменно вежливым. Однако мысль, что он неограниченный монарх и, стало быть, никто не смеет читать ему нотации о любом его дебоширстве, что Екатерину он не любит и не может любить, мысль, что Павел, вполне возможно, не его сын, а пригульный, – все эти соображения быстро отразились на его актерской, до чрезвычайности подвижной физиономии: углы губ обвисли, лицо стало кислым и капризным. Однако большие глаза его вооружились встречным огнем против блестящих насмешливой энергией темно-голубых глаз императрицы.

– Я готов... Я слушаю.

Тогда Екатерина, изложив причину своего визита, передала ему просьбу Елизаветы Романовны.

Петр удивился. «Повторите, мадам», – сухо сказал он. Екатерина повторила. Вошли генерал-полковник Мельгунов и шталмейстер Лев Нарышкин, приближенные Петра. Государь рассказал им о всем, только что услышанном, просил совета. Обсуждали положение очень долго. Екатерина устала.

– Ваше величество, – адресовались к Петру Мельгунов с Нарышкиным, – пускай Елизавета Романовна изволит ожидать ответа лично от вашего величества.

– Да, да! – обрадовался Петр. – Я так и думал... Мадам! – в совершенно недопустимой по этикету форме обратился он при посторонних к Екатерине, будто к простой женщине. – Вы слышали, мадам? Так и передайте Романовне.

Придворные переглянулись. Разгневанная столь неучтивым обращением с ней государя, Екатерина вышла.

От Петра к Елизавете Воронцовой и обратно шмыгали взад-вперед Мельгунов и Нарышкин. Так продолжалось до одиннадцати вечера, когда направился к ней сам Петр. При его появлении она и не подумала встать. Вчера заушенный ею Петр все-таки поклонился ей. Та не пожелала ответить на поклон. Чтобы досадить ей за вчерашнее, Петр вызываясь отхаркнулся и плюнул на ковер из обезьяньих шкурок, затем позвякал шпорами, накопил в сердце злобу, прокричал: «Извольте оставаться во дворце до особого моего распоряжения! Молчать, молчать!» – и, как угорелый, побежал вон, опаски ради косясь через плечо, как бы эта пышногрудая бабища снова не посунула его в загривок.

На следующий день вечером к Екатерине заявился Петр с Нарышкиным и Мельгуновым. Все трое под хмелем.

– Разрешите нам, ваше величество, – гримасничая, начал император, – разрешите принести жалобу на Елизавету Романовну.

– Сдается мне, сие не по адресу: я не отец ее, не дядя и не супруг, – подчеркивая «не супруг», ответила Екатерина. Молодая женщина была прекрасна в этот вечер. Она только что окончила любовную записочку Григорию Орлову. Темно-голубые глаза ее мерцали еще неостывшими восторгами, излитыми в кудрявых строках на розовой ароматной странице.

Государь с придворными принялись наперебой бранить Елизавету Воронцову: она груба, она лицемерна, она лишена вкуса и женского обаяния, и прочая, и прочая.

– Что вы на это скажете, ваше величество? – прерывали частыми вопросами свои двусмысленные речи царь и оба его друга.

Екатерина сразу поняла их смертельное желание втянуть ее в этот разговор. Но она молчала. Петр стал злиться.

– Нет, вы представьте себе, ваше величество, – развел он руками и оттопырил взнузданные губы. – Я ее пожаловал в ваши камер-фрейлины, а она, вообразите... она отказалась надеть ваш портрет, а пожелала иметь портрет мой... Ну, как сие расчесть? – Он глядел в глаза жены, ждал: вот-вот Екатерина рассердится на Воронцову, насупит брови, топнет.

Но Екатерина, к огорчению его, приняла это известие со смехом.

– А вам, ваше величество, не ведомо, – проговорила она, – что женщины зело капризны и в сердечных выборах своих руководствуются скорей чувством, нежели разумом?

– Да, но этим она оскорбила вас, мой друг, и меня, императора, – он погримасничал, поморгал правым глазом и круто повернулся: – Пойдемте, господа!

Все трое удалились.

Брыластый Лев Нарышкин, имевший кличку «шпынь», то есть балагур, затейник, вскоре вернулся к покоям Екатерины и помяукал возле двери (он любил мяукать кошкой или кукарекать петухом). Его впустили. С оттенком упрека, но с заискивающей улыбкой на бабьем, густо напудренном лице он стал нашептывать царице:

– Ваше величество изволили упустить отменную оказию выгнать эту особу из дворца вон. Мы с Мельгуновым много к этому положили стараний, а вы не изволили воспользоваться.

– Она для меня безразлична, эта султанша, – ответила Екатерина, не без удовольствия прислушиваясь, как хорошо прозвучало удачно найденное слово – «султанша».

Нарышкин выпрямился, низкий отвесил поклон и вышел.

Между тем «султанша» весьма крепко устроилась во дворце и в сердце государя. Она стала пользоваться всяческим поводом унижить Екатерину и выдвинуть себя. Все оскорбления переносились Екатериной молча.

А во дворце или где-нибудь у новых подлипал-приятелей всякий день случались прескверные истории. За ужином с изрядным возлиянием Бахусу нередко были громкие скандалы. Новый царь-самодур в пьяном виде приказывал арестовывать то одного, то другого из гостей, иных же угодивших ему нахалов приближал к себе тут же и, на зависть прочим, награждал орденами.

– Молчать, молчать! – обычно покрикивал захмелевший Петр, но и без того все молчали.

Екатерина не участвовала в пьяных куртагах, она сказывалась больной и подолгу проводила время на глазах у публики, поклонявшейся гробу почившей императрицы.

Екатерина прилагала все силы к тому, чтобы заставить забыть, что она иностранка. «Султанша» же от Петра Федоровича не отставала, нередко возвращалась в свои покои тоже под хмельком.

5

Вскоре меж Петром и «султаншей» опять стряслась ссора из-за юной какой-то прелестницы-менады. «Султанша» прегрубо оскорбила Пьера действием, Пьер бросил в нее дымящуюся глиняную трубку с табаком и убежал. Но чрез полчаса, подкрепившись выпивкой, вновь явился, стал ласкаться к Елизавете, называть ее душечкой, толстушкой, сдобненькой Психеей и еще как-то очень нежно. Лежавшая в постели «султанша» прослезилась. Прослезился и Петр. Он стал жаловаться на свою судьбу, что он в этой страшной России всем чужой, что единственный верный друг его – это вот она, сердешная Романовна. «Султанша» расчувствовалась, скривила алый ротик и заплакала. Заплакал и государь, присаживаясь на край перины. Плача, он сбросил на пол парик, отер слезы наволочкой в кружевах и, рыгнув от чрезмерной выпивки, жалобно сказал:

– А ты, Романовна, обижаешь меня... Даже... даже... – он хотел сказать «даже бьешь меня», но язык не повернулся. – А ведь я – император.

Пьяная Романовна почувствовала в голосе Петра искренность и боль, ей стало жаль его, она широко открыла глаза и, сознав свою великую пред ним вину, собралась разразиться рыданием.

– Поверь, Романовна, Катьку я заточу в монастырь, тебя возведу на престол, вопреки и всему и всем поставлю тебя императрицей. Я характером в деда моего, Петра Великого. Только пожалей меня.

Тогда Романовна уткнулась румяным лицом в подушку и от внезапной радости громко, вприхлупку, зарыдала. Зарыдал и самодержец. Он обхватил ее за тугие обнаженные плечи, стал целовать, убажывая обещаниями:

– Ты моя отрада, ты моя ненаглядная жена.

Она поискала платок, не найдя его, высморкалась в простыню с орлами, сказала, целуя Петра:

– Разденысь. Я пособлю тебе.

Он с усилием поднялся, с еще большим усилием сел на диван, вытянул ноги. Полнотелая, босоногая «султанша» в тончайшей рубаше с орлами уцепилась за ботфорт и сначала легонько, потом все сильнее и сильнее стала тянуть его с ноги Пьера. Он пучеглазился, как мопс, крепко цепляясь за диван. Она дважды стаскивала Пьера с дивана на пол, вспотела, покраснелась, но сапог ни с места, как припаян.

– Ты много пьешь, дорогой Пьер. У тебя запухли ноги, – сказала она.

Он пошел разуваться к себе: «Я сейчас вернусь, голубушка Романовна». Проходя мимо караула, притворился трезвым, не шатался. Часовые замирали, носы вверх, ели владыку взглядом. В дверях император все-таки ударился сначала правым, затем левым плечом в косяки.

– Гудович, разуться мне, – веселеньким голосом сказал он дежурному адъютанту.

Пришли три дюжих камер-лакея. Царь сел в крепко привинченное к полу массивное кресло, вполне приспособленное для операции.

– Дозвольте, ваше императорское величество, – сдерживая бас, сказал ставший сзади кресла великан-лакей Митрич – плешивый, борода большая, рыжая, с проседью (не в пример прочим, за его заслуги ему разрешено носить бороду). – Дозвольте ручки...

Сидящий в кресле император чуть приподнял локти. Митрич почтительно обхватил его длинным полотенцем через грудь подмышки и, намотав концы полотенца на свои здоровецкие руки, приготовился править императором, как лошадью.

– Смирно! – крикнул Митрич громовым раскатом (во всем дворце все сказали себе или подумали: «Государя разувает»). Стоявшие у ног императора два лакея вытянулись в струнку, окаменели. – На-а-чинай! – еще громогласнейскомандовал Митрич, широко разевая пасть. Оба лакея бросились к туго вытянутой императорской ноге и схватились за сапог. – Отста-а-вить! – свирепо гаркнул Митрич. Молодые мордастые лакеи отскочили. Митрич был тоже слегка выпивши: по случаю святок он только что отужинал у своей кумы, жены истопника, пропустив там три больших стакана водки. Поэтому в ритуале разувания, сочиненном самим Петром, он допустил промашку. Улыбаясь во все свое рыжее, как пламень, бородастое лицо, Митрич нежнейше произнес: «Осмеливаюсь доложить вашему величеству, не тую ножку изволили вытянуть, сообразуйте эту ножку подобрать, а левеньку, согласно артикула, вытяните...» Император открыл глаза, промямлил: «Что?» – Митрич столь же нежно и приятно повторил. «Ах, да», – сказал задремавший император. И вновь громозная команда: «Смирно! На-а-чинай...» Лакеи вцепились в сапог. Митрич крепко держал полотенце и покрикивал: «Легче, легче!.. Ножку не повреди. Ну, пошел-пошел-пошел!»

Левый сапог снят. Император с облегчением вздохнул, голова его склонилась на грудь. Арап Нарцис принес теплую воду, розовое масло и все нужное для омовения ног. Через несколько минут дружной работы и второй сапог был снят. Император, дав сильный крен вперед, крепко спал, распространяя удушливый винный запах. Митрич продолжал, как на вожжах, править императором. Лакеи в красных, с золотыми позументами ливреях стояли навтыжку. Никто не знал, как быть. Минуло еще полчаса. Митрича тоже стало бросать

в необоримый сон: покачивался, глядел в потолок, но глаза слипались, он клевал носом, наконец резко посунулся и наехал брюхом на кресло, потревожив государя. На цыпочках вошел Андрей Васильевич Гудович.

– Спит?

– Так точно, изволили нечаянно почить.

Гудович, покашливая возле императора, дважды окликнул его, легонько потрепал за плечо, стал трепать покрепче, стал раскачивать его взад-вперед; император кланялся, жевал губами, взмывкивал, но не пробуждался.

– Давайте раздевать, – сказал Гудович.

Стали аккуратно раздевать. Император был как мертвый: голова моталась, руки падали.

– Тихо, тихо... – грозя пальцем, шептал Гудович. – Тихо, тихо...

С грехом пополам сняли мундир, камзол, чулки. Арап принялся мыть ноги самодержца душистым мылом.

– Тихо, тихо... – шептал Гудович.

Вдруг император закричал:

– Молчать! – Все вытянулись. – Вольно! – крикнул император и вновь закрыл глаза. Его раздели и на руках потащили к кровати.

Митрича развезло. Прикрывая рот ладошкой, он фамильярно зашептал генералу Гудовичу:

– Кажинный Божий день выпимши... Ай-яй... А натура слабовата, берегчи надобно натуру-то евонную, а то, спаси Бог, долго ли... Вот они выпивать изволят сверх меры, а тетушка их, покойная государыня императрица, через три горницы отседав в гробех лежала. Нешто сие порядок? – он сморщился, утер глаза расшитым обшлагом ливреи.

Так начал свое царствование Петр Федорович III, император всероссийский, родной внук Петра I, двоюродный внук Карла XII шведского и троюродный брат жены своей Екатерины Алексеевны.

Глава VIII

Вместе с тетушкой Петр хоронит и себя. Враг России – друг Петра

1

Придворный ювелир-бриллианщик, выходец из Швейцарии, Иеремия Позье, сильно объевшись на каком-то пиршестве, умирал одновременно с царицей Елизаветой. Он въехал в Россию тринадцатилетним мальчиком, теперь ему сорок шесть лет. Высокое мастерство и бескорыстность француза очень ценились при дворе. Умиравшая Елизавета послала к нему своего врача. Тот за день умудрился пустить больному три раза кровь и поставить шесть клистиров. Сверх сего велел выпить большую склянку слабительного. Хотя Позье и почитал себя натурой крепкой, однако после столь сугубого лечения почел за благо призвать к себе пастора для напутствия в жизнь вечную. Когда больному было особенно тяжело, пожаловал офицер с просьбой от великого князя Петра Федоровича достать в кредит золотую, осыпанную бриллиантами табакерку. А как по приказу императрицы Елизаветы великому князю кредит был закрыт, то убитая горем жена Позье выпроводила офицера ни с чем, сказав, что муж ее при смерти.

Елизавета умерла, Позье, очистив желудок, поправился, на престол вступил великий князь.

Позье, восстав из мертвых, впал в отчаянье. По этикету ему надлежало быть во дворце, чтоб поздравить нового императора с восшествием на престол. Но будет ли он принят и не турнут ли его на жительство в Сибирь за дерзостный отказ подыскать в кредит вчерашнему великому князю табакерку?

Он написал графине Елизавете Воронцовой, просил помочь ему в беде. Она пригласила его в свою половину. В девять часов вечера она приняла его. Вскоре вошел веселый Петр с Гудовичем и Нарышкиным. Разодетый в пух и прах толстобрюхенький Позье, низко кланяясь, петушком подкатился к Петру поцеловать руку.

– А, это вы, Позье? – и Петр обнял ювелира. – А мне сказали, что вы собираетесь умирать.

– Собирался, но передумал, желая поздравить вас, ваше величество, императором, – набравшись смелости, развязно ответил Позье. Петр засмеялся и, подмигнув ювелиру, сказал:

– Я теперь богат, заплачу вам. Денег у меня ныне много.

– Я крайне счастлив, государь, взглянуть на ваши деньги, узнать, как они пахнут. Я пятнадцать лет не видал их от вас, ваше величество.

– Дорогой Позье! Да я же не виноват в том, что мне столь мало давала тетушка денег и я кругом в долгу. А теперь чем могу вам служить?

– Тем, ваше величество, что позволите и мне иметь честь служить вашему величеству, если я имею счастье быть вам угодным.

– Хорошо, – подпрыгивая ногой, ответил Петр. – Назначаю вас моим ювелиром с чином бригадира, чтоб вы могли входить в мой кабинет, когда захотите. Андрей Васильевич, – обратился он к Гудовичу, – съезди, пожалуй, в Сенат, чтоб о сем тотчас указ выписали.

Позье поцеловал у государя руку и, грациозно поводя локтями, вышел. Его нагнали Гудович с Нарышкиным, затем подошел Мельгунов, наперебой поздравляя его «с монаршей милостью». Позье улыбался им, но на душе его скребли кошки: он чувствовал, что с этой монаршей милостью он лезет в пропасть. Действительно, дня через два эти молодые люди, подъезжая к дому ювелира в придворных каретах, то один, то другой стали обивать его пороги. Заглядывали сюда и конференц-секретарь, известный кутила и красnobай Дмитрий Васильевич Волков, А. И. Глебов, второй Нарышкин и другие представители великосветской молодежи. Позье хорошо они были известны по своим дурным наклонностям, мотовству на чужой счет, корыстолюбию. Они не были богаты, но держали себя с ювелиром гораздо надменнее самого императора, воображая, что своим посещением делают ювелиру большую честь. Они заказывали ему все, что приходило им на ум, и, разумеется, в долг без отдачи. Отказать им Позье не мог, опасаясь, что эти великосветские люди могут восстановить Петра против него, тогда ювелиру пришлось бы закрывать свою небезвыгодную лавочку.

Эти же царедворцы-карьеристы всячески старались в своих выгодах поссорить царицу Екатерину с ее мужем. По городу ходили об этом упорные слухи, и вскоре Позье в правдивости сих слухов убедился лично.

Однажды, получив заказ от Екатерины, Позье выходил из ее покоев.

– Откуда это вы, Позье? – остановил его в коридоре проходивший со свитой Петр. Позье ответил. Петр, выпятив грудь, грубо сказал ему:

– Я вам запрещаю... Слышите? Запрещаю являться к ней...

Позье остоленел.

2

Петр III продолжал делать политические промахи.

Так, в три полка гвардии, где по давнишним традициям считался полковником лишь сам царствующий монарх, были назначены полковники: в Преображенский – князь Никита Трубецкой, в Семеновский – граф Кирилл Разумовский, в Конногвардейский – только что вызванный в Россию и ненавидимый гвардией дядя государя, принц Жорж (Георг) Голштинский.

Этим актом Петр умышленно нанес всей гвардии удар, незабываемое оскорбление. Возмущенные сторонники Екатерины, копя в душе злобу, открыто ликовали. «Эта сугубая затрещина даром государю не пройдет», – мрачно предрекал Григорий Орлов.

Граф Роман Воронцов, отец «Лизки-султанши», своекорыстно обольщался, что дочь его, столкнув Екатерину, станет сама императрицей. Он больше всех скорбел о том, что Петр даже в столь короткие дни царствования успел восстановить против себя многих. По-родственному советуясь со своим братом Михаилом Воронцовым, великим канцлером, он все время нашептывал царю:

– Ваше величество, вам надлежит проявить некий акт монаршей милости, дабы обратиться на себя взоры подданных и прилепить сердца их к своей особе.

Царь не знал, в чем же должен заключаться этот высокий акт. Роман Воронцов нашептывал: надо-де возвратить кой-кого из ссылки, надо-де даровать «вольности дворянству», то есть чтоб навсегда избавить дворян от службы обязательной, как бывало прежде, а нести дворянам службу по своей воле, сколько и где они пожелают.

– Особливо же, государь, надлежит вам вспомнить о мужиках. Подлый народ также должен благословлять священное имя вашего величества. Объявите, государь, таковую милость, коя коснулась бы всех людишек мелких. Таковой высочайшей милостью могло бы быть уменьшение цены на соль. Правда, она мера отчасти подорвет доходы государственных, но сие поправимо: с течением времени, когда ваше имя в народе довольно укрепитя как имя благодетеля, можно цену на соль паки с постепенностью накинута.

17 января царь в парадной карете прикатил со свитой в Сенат, пробыл здесь два часа, подписал заготовленный указ о возвращении из ссылки Менгдена, семьи Лилиенфельдов, Лопухиной и знаменитого выходца из Пруссии фельдмаршала Миниха, смелого политического интригана, сосланного покойной Елизаветой в Сибирь. Затем «соизволил указать»: продажную цену на соль наложить самую умеренную.

25 января 1762 года, то есть спустя месяц после смерти, состоялись похороны Елизаветы. Тело на поклонение народу было выставлено в огромном тронном зале, занимавшем целый флигель, пристроенный к деревянному дворцу⁹. Пышностью своей отделки этот двухсветный зал восхищал даже иностранцев. Веселая Елизавета очень часто устраивала здесь маскарады, в коих участвовало до полутора тысяч масок. В одну минуту зажигалось не менее десяти тысяч свечей. Огни отражались в венецианских зеркалах. По залу под музыку двигалось в шикарных костюмах множество масок, отплясывая кадрили, менуэты и прочие танцы. В соседней комнате веселая Елизавета играла в фараон или в пикет, а к десяти часам удалялась в свои покои, чтоб сменить костюм и надеть маску. Затем снова появлялась в зале, отплясывая до пяти-шести часов утра. Обладая красивыми ногами и сильным корпусом, она любила наряжаться в костюм пажей или средневековых рыцарей.

А вот теперь веселая Елизавета лежит в гробу на возвышенном месте, под богатым балдахинном с золотой ковкой парчой и горностаевым, до земли, спуском. Она лежит в серебряной глазетовой робе с кружевными рукавами. Несмотря на благовонные курения, в зале слегка пахнет трупом. Статс-дамы и фрейлины, размещенные по рангам, стоят в глубоком трауре, окружая одр Елизаветы. Митрополит Дмитрий Сеченов и духовенство в черных ризах готовы начать заупокойное моление. Присутствуют все сановники, все чины двора.

⁹ На углу Мойки и Невского проспекта у Полицейского моста. – В. III.

Величественно вошла невысокая, в глубоком трауре, печальная Екатерина. Все взоры разом обратились к ней. Красивый паж нес за царицей сделанную Позье золотую корону. Отвечая на поклоны, она поднялась к изголовью гроба и стала возлагать корону на слегка вспухшую голову покойницы. Но корона не налезала. Печальная Екатерина, выразив на лице мину христианского смирения, усмотрела среди толпы толстобрюхого, на коротких ножках, ювелира и подала знак помочь ей. Застигнутый врасплох, Позье спешно скорчил слезливую гримасу, с отменной грациозностью приблизился к смертному одру, вытащил из кармана щипчики и мигом приладил корону куда надо.

Началась торжественная панихида, закурились клубы ладана. Молящиеся чинно стояли с возженными свечами, а Петр, нарушая благолепие, расхаживал, как журавль, меж рядами дам, болтая то с одной, то с другой из них по-французски вслух, кривлялся, подмигивал в сторону духовенства, говоря: «Бородатые козлы... Я их всех прикажу обрить». Среди молящихся поднялся ропот... Митрополит Дмитрий Сеченов, взглянув через плечо на игривого царя, грозно нахмурил брови, но Петр показал митрополиту язык и повернулся к нему спину.

Наконец тело повезли на золоченой колеснице из дворца через Неву в Петропавловскую крепость. Несметное стечение народа, шпалерами вдоль всего пути стоят войска, в воздухе пение, музыка, унылый перезвон колоколов и выюжный ветер с моря.

За траурной колесницей впереди всех следует император, за ним, отступя на двадцать шагов, Екатерина, и далее, вместе с церемониймейстером, бароном Лефортом, вся сановная знать, чинно, по рангам. Император в черной траурной епанче с белыми орлами; длинный шлейф епанчи несут, поддерживая, старшие камергеры. Малая голова императора с детским личиком покрыта треуголкой. Но под этой большой шляпой нет здоровых мыслей, есть порхающие, как мотыльки, обрывки мыслишек и воспоминаний. «Да-да-да, – думает он, – тетюшка пыталась меня отправить в баню, в русскую, в русскую. Фе-е-е... А... я... я... ненавижу баню, я умру от бани...» И мысли его перескакивают в Голштинию. «Меня преследуют с самого детства. Рок, судьба... Мой воспитатель Броммер, там, в Голштинии... он топал на меня, мальчишку, страдал меня: „Я вас так велю высечь, – говорил он, – что собаки будут кровь лизать. Как я был бы рад, чтоб вы сейчас же издохли“. Да как он смел это говорить? Ах он, свинья...»

– Молчать, молчать! – вскрикивал на ходу император, и мысль его тотчас переносилась на другое. Ветер дул с моря, косичка за спиной самодержца моталась, шлейф епанчи, поддерживаемый шеренгой камергеров, надувался под ветром. Император повернул голову вправо-влево, покосился назад: приподнятый над землей конец шлейфа нес высокий и тучный граф Шереметев, обер-камергер двора. Император скорчил рожу, прыснул и неожиданно остановился. И все, кто сзади: печальная Екатерина, свита, весь кортеж – тоже в недоумении остановились. А колесница с гробом, духовенство, регалии, венки, многочисленные депутации с хоругвями и прочие продолжали двигаться усыпанной можжевельником дорогой по льду через Неву. Император гримасничал и, озоруя, делал четкий шаг на месте. Отпустив колесницу сажен на тридцать, он командовал:

– Бегом, марш! – и что есть духу мчался догонять процессию.

Камергеры, вместе с графом Шереметевым поддерживающие епанчу, мчались вслед за императором. Шереметев на бегу сопел, выкатывал глаза. Ожиревшим камергерам нет сил поспевать за ледащим и легким государем. Они бросили епанчу, остановились, отирали пот, пыхтели, ловя ртом воздух. Почувствовав свободу, император несясь подобно крылатому коню. Подхваченный ветром пятнадцатидюймовый шлейф сразу взвился в пространство и шлепал и прихлопывал в воздухе, как парус в бурю. Император хохотал.

– Я озяб, озяб... Надо же погреться, господа, – говорил он подоспевшим камергерам.

Те опять взялись за шлейф, колесница отделилась на изрядную дистанцию и – снова бег, снова шлепал, плескался черный парус. На невском временном мосту дубом стоявшие в своих санях купцы и кучки ротозеев тыкали в бегущего монарха перстами, удивленно пучили глаза, пересмехались:

– Глянь, братцы, глянь! Кажись, царек-то наш ума рехнулся...

Как сказочный черт на черных крыльях, царь догнал золотую колесницу, оглянулся: задохнувшийся Шереметев упал и ходил по снегу на четвереньках, камергеры, стора от стыда, поспешали к императору. Самодержец хихикал про себя.

Екатерина, а за ней вся процессия далеко отстали от колесницы с гробом. Екатерина злилась и бледнела. Когда самодержец всероссийский припустился в третий раз, Екатериною был послан конный адъютант остановить процессию.

Через два часа с верхов крепости раздался пушечный салют, потрясший воздух: прах Елизаветы предали земле. Император во время салюта поморщился и хвастливо заявил свите, что он-де вскорости прикажет дать залп из ста осадных пушек, ха!.. Озлобленный Шереметев осмелился заметить, что от такого залпа рухнут в столице все дома. Царь заморгал на него правым глазом и немилостиво произнес:

– Вы, граф, ничего не смыслите. Вы даже бегаєте, как корова... Я приму меры научить вас... Я всех вас буду учить экзерции... Муштра, муштра!.. Ежедневно... Да-с!..

В этот день по кабакам, питейным, в домах и всюду – только и разговоров было, что о чудачествах молодого государя. Мальчишки, на потеху взрослых, играли по дворам и перелкам в похороны: царь бегал с рогожей за плечами, Шереметев падал.

Вечером помрачневший Петр вошел, пошатываясь, в покои жены.

– Нет, нет, – начал он хриплым голосом, то вскидывая руки к лицу, то опуская их. – Я не подхожу для русских... И русские – для меня... Я убежден, что погибну здесь.

– Не поддавайтесь этой фатальной идее, – ответила Екатерина, – и старайтесь заставить каждого в России любить вас. А вы как сегодня вели себя?

Петр скривил гримасу и, нечаянно икнув, сказал: «Пардон, мадам». Екатерина наморщила нос, подняла брови:

– Идите спать. От вас пахнет водкой. Фи!

Петр повернулся и ушел.

3

Царь быстро обрастал родней из Голштинии. Недавно явившийся с женой и двумя сыновьями дядя царя, принц Жорж, уже был произведен в фельдмаршалы и сразу назначен полковником лейб-гвардии Конного полка с невиданным жалованием сорок восемь тысяч рублей в год и с титулом «его высочества». Вскоре приехал второй царский дядя, принц Петр Голштейн-Бекский с женой и дочкой; он тоже был произведен в фельдмаршалы, назначен петербургским генерал-губернатором и командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками Петербурга, Финляндии, Эстляндии и Нарвы. Такое незаслуженное возвышение голштинских полунищих прихлебателей возмущало русских, а в гвардейских офицерах усиливалось негодование.

Про принцесс говорили: «Смотрите-ка, эти иностранки чуть не голые приехали к нам, а уедут богачками». Принцессы посетили ювелира Позье, показали свои плохонькие бриллианты, просили совета, как являться ко двору в высокаторжественные дни и, вообще, каковы нравы России?

– Ваши светлости! – начал Позье свое сообщение. – В этой стране все женщины, какого бы ни были звания, от высокопоставленных особ до крестьянки, румянятся, полагая, что к

лицу иметь красные щеки. Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их. Бриллиантов придворные дамы надевают изумительное множество. Даже на дамах сравнительно низшего звания нанизано бриллиантов тысяч на двадцать рублей.

Рыжеволосые принцессы ахали, завистливо закатывали глазки, брюхатенький Позье наддавал жару:

– Русская покойная императрица обладала такими драгоценными уборами, как ни одна из государынь Европы. Парадная корона императрицы Елизаветы состоит из бриллиантов, жемчуга и самоцветных камней: рубинов, сапфиров, изумрудов. Все эти камни считаются крупнейшими в мире.

Когда Позье вогнал принцесс в испарину, они сказали:

– Помогите нам... Мы по оплошности оставили крупные бриллианты в Голштинии, захватили с собой мелочь. Как нам быть? Мы и в деньгах испытываем некоторое затруднение, но знаем, что наш племянник император Петр окажет нам милость...

Оказанная впоследствии знатым голштинцам милость стоила России не один миллион. А пока – придворный ювелир Позье состряпал двум этим дамам и девочке несколько уборов из фальшивых камней разных цветов; он подобрал их и перемешал с бриллиантами с таким искусством, что все светские дамы терялись в догадках, откуда такое богатство у заезжих голштинок.

Когда Позье, по зову Петра, явился ко двору, его обступили придворные дамы.

– Неужели то настоящие камни?

– О да, о да! – воскликнул верный Позье.

Петр пригласил француза в кабинет и, узнав про его хитрость, пришел в восторг, очень много смеялся.

– Вы, как черт, изобретательны!

7 февраля Петр объявил в Сенате:

– Отныне Тайная Розыскных Дел Канцелярия быть не имеет.

Этот гуманный и умный политический жест, неизвестно кем государю внушенный, подтвердился через две недели манифестом, составленным тайным секретарем Д. В. Волковым. В манифесте между прочим говорилось: «Тайная Розыскных Дел Канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат и за печатью к вечному забвению в Архив положатся». «Ненавистное выражение, а именно: „слово и дело“ – не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем – не употреблять оного никому; о сем, кто отныне оное употребит, в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

Царь боялся всяких письменных дел пуще огня. Второй важный манифест о давненько обещанной «вольности дворянской» писался Волковым же.

– Романовна, ангел, – обратился Петр вечером к своей возлюбленной. – Вот уж мы с Дмитрием Васильичем запремся в горнице и будем всю ночь писать. Ты не мешай нам. Дела важные, касаемые государственного благоустройства.

Романовна поужинала тертыми рябчиками, изрядно выпила бургундского, посудачила с камер-фрау и легла в постель. Когда наступила ночь, царь запер Волкова в горнице, а вместо собственной персоны оставил с ним своего датского кобеля.

– Напиши, пожалуй, Дмитрий Васильич, какой-нибудь важный указ, я просмотрю завтра, – сказал он, подмигнув, и ушел до утра кутить с благоприятелями.

Очутившись в странном положении, веселый и умный Волков похохотал над собой, поразговаривал с датским кобелем: «Ты собака, а я волк... Хочешь, съем тебя?» – потом долго ломал голову, о чем писать. «Ба! Вот... О вольности... Давнишняя мечта дворянства...» – прихлопнул себя по высокому лбу и, потягивая английское пиво, стал сочинять манифест «о

вольности дворянской» в отмену обязательной военной и гражданской службы, введенной Петром Великим.

Написав, много смеялся: «Манифест о вольности дворянства готов, а я, дворянин, сижу запертым самдруг с собакой. И выпуску нет... Ха-ха». На другой день, 18 февраля, этот манифест был подписан Петром и опубликован.

Так выпускались царем большой политической важности манифесты и указы.

Во исполнение мысли почившей Елизаветы, а главное по подсказу либерального Никиты Панина, отчасти же по своекорыстным наущениям графов Воронцовых, дан был и третий именной указ о монастырских вотчинах, об отобрании от монастырей и церквей крепостных крестьян и переводе их в государственные. Петр к крестьянам относился, разумеется, с полнейшим равнодушием и не ради их благополучия подписал сей указ. Но все же подписал его с особым удовольствием: он попов и монахов ненавидел.

Указ составлен Волковым в умной, иронической форме. «Соединяя благочестие с пользой отечества... монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений... крестьянам отдать землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви».

Этот указ был близок мужицкому сердцу, и о нем долго вспоминали.

Плохо образованный, слабовольный и от природы недалекий, Петр не мог самостоятельно охватить интересы огромной страны да никогда к этому и не стремился и никакой к тому охоты не имел. Однако вспыльчивое, взбалмошное сердце его нередко было открыто к добру. И, побуждаемый благоприятными обстоятельствами, он с охотой подмахивал манифест или указ, обещавший какую-нибудь «милость».

Этим пользовались некоторые приближенные, торопливо выдавая народу за подпись Петра авансы, способствующие укрепить в народной массе доброе имя молодого государя, упрочить незыблемость его престола, а тем самым обеспечить карьеру и себе.

Вот и генерал-прокурор Сената Глебов стал нашептывать государю разные идеи. Государь то отвергал их, то соглашался с ними, смотря по состоянию духа. И вот – именной указ: бежавшим в Польшу и в другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию, причем не должно делать никакого препятствия в исполнении церковного закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят», и что отвращать раскольников от старой веры должно не принуждением и огорчением их, а мерами увещевания.

Раскольники стали почитать Петра III своим заступником, а связанные с гонением на старую веру ужасные случаи саможжения прекратились.

Этот указ точно так же сыграл немалую роль в движении Емельяна Пугачева, расположив в его пользу много раскольников.

Когда Петру никто не нашептывал и если были к тому наглядные причины, он впадал в законодательное творчество самостоятельно. Так, возвращаясь ночью из Аничковского дворца от гетмана Кирилла Разумовского верхом на коне в трезвом виде, он подвергся нападению бродячих псов. На следующий день на имя генерал-полицеймейстера Корфа вышел именной высочайший указ: «Извести имеющихся в Санктпетербурге собак близ дворца. Петр».

Или: над головой Петра пролетало мирное стадо ворон. Одна из них без всякого злого умысла непочтительно капнула на шляпу молодого самодержца. Именной высочайший, не особенно грамотный указ: «Дворцовым егерям стрелять на улицах столицы ворон и птиц. Петр».

4

Освобожденные из ссылки Миних, Лелиенфельды, граф Лесток, Менгден со всей признательностью императору окружили его престол. Вскоре получил свободу и временщик Бирон, умертвивший за десять лет своего правления одиннадцать тысяч человек. Он был любовником царицы Анны Ивановны. Перед своей смертью она назначила его регентом Российской империи. Но через двадцать два дня своего регентства Бирон был арестован фельд-маршалом Минихом, осужден на вечное заточение в Сибирь¹⁰ и прожил в изгнании двадцать два года.

И вот два кровных врага, Миних и Бирон, снова встретились при дворе Петра, благодетеля своего.

Русские вельможи и вся сторона Екатерины косились на этих иноземцев, копили злобу на Петра: почему он всех их возвратил из ссылки, осыпал милостями, а многие русские все еще томятся в заточении?

Но партия Екатерины и даже сами приверженцы царя впали в изрядное раздражение, когда узналось, что с исконным врагом России, с прусским королем Фридрихом II, царь Петр, никого не спрося, заключил мир и дружбу.

Война с Пруссией продолжалась пять лет. Для русского оружия она, в общем, была удачна.

В конце кампании 1761 года разбитый Фридрих с остатками войска отступил в крепость Бреславль и стал там отсиживаться. Он впал в душевный маразм, два месяца не выходил из комнаты: он боялся показываться войску. Надежды на спасение у него не было: он больше не мог рассчитывать на медлительность русских войск – ими командовал теперь образованный, молодой, талантливый генерал Румянцев, ему поручено было Елизаветой взять неприступную крепость Кольберг, и он ее взял.

Положение Фридриха II становилось безвыходным: союзница Англия перестала помогать ему деньгами. Прусский народ упал духом и все сильней озлоблялся против своего короля. Словом, Фридриху угрожала гибель.

И вдруг... На долю несчастного Фридриха выпал счастливейший случай.

Известие о том, что русская императрица Елизавета Петровна при смерти, сразу окрылило Фридриха: на престоле будет Петр Федорович, преклоняющийся пред гением его. И в своих расчетах Фридрих не ошибся. Вскоре развернувшиеся в России события превзошли все его надежды: Елизавета умерла, воцарился Петр, молодая царица Екатерина волею упрямого супруга устранена с поля политической жизни. Итак, Фридрих ожил, союзники увяли.

События шли так: в середине февраля 1762 года вернулся от Фридриха посланный Петром генерал Гудович: он отвозил прусскому королю известие о восшествии на престол Петра III и «высочайшее» письмо с выражением дружеских чувств к вчерашнему врагу России.

Гудович совершил на государственный счет прекрасное турне, но нищей России эта поездка вскочила в изрядную копеечку: царь пожаловал своему любимцу Гудовичу шесть деревень в пределах Черниговской губернии.

Фридрих вскоре направил в Петербург посланника Гольца с благодарственным письмом к царю («Да будет ваше царствование долго и счастливо!») и с прусским орденом в награду императору. Ловкому Фридриху этот орден ровно ничего не стоил, но нищей России он влетел в немалую копеечку: почти выигранная военная кампания сорвалась, союзники – в гневе на Россию.

¹⁰ В 1742 году Елизавета Петровна, при своем воцарении, приказала из Сибири Бирона вернуть и поселить в Ярославле безвыездно. – В. III.

Мир с Пруссией был заключен, предварительный договор подписан, завоеванные нами у Пруссии земли возвращены обратно. Шестнадцать тысяч отборного русского войска соединены с войсками Фридриха II, чтоб нанести решительный удар Австрии, вчерашней союзнице России.

Этот неожиданный, бессмысленный, своевольный мир с Фридрихом II глубоко оскорбил все классы русского общества, от властвующих вельмож, царедворцев, купечества, духовенства и до бесправного солдата. Такой вероломный мир с давнишним врагом России считали издевательством молодого царя над всеми русскими.

Среди солдат действующей армии поднялся ропот: «За что ж мы кровь проливали? Били, били немцев, а тут, на вот те, с немцами вместе других бить заставляют... Да что это в Питере-то, с ума, что ли, посходили? Хватит воевать!..»

Ну что ж, худой мир лучше доброй ссоры. Но Петр не ради миролюбия сломал всю политику Елизаветы, а чтоб, отказавшись от одной войны, бросить войска и средства на новую, явно безумную войну с Данией из-за пустых каких-то голштинских дел.

5

Екатерина затаилась. Она все видела, все знала, все понимала. Она вела закулисную борьбу против прусской политики своего супруга, стараясь в этом опереться на общественное мнение. Вместе с Никитой Паниным, вместе со своими сторонниками-гвардейцами она скорбела о том, что вся политическая жизнь России отныне ведется не Петром III, а коварным прусским посланником Гольцем, действующим по указке Фридриха II.

Гольц и все приспешники Петра обращали внимание молодого государя на то, что не худо бы устроить слежку за ее величеством – Екатериной, особливо же за гвардейцами Орловыми. Но Петр отмахивался со всей беспечностью упрямого недоросля. Он считал себя, как и все бездарности, проницательным, умеющим разбираться в людях.

Толстомясая «султанша» через своего отца графа Романа Воронцова и прочих согладатаев выведала настроение Екатерины и науськивала Петра на свою соперницу. Тот, выпивши, побежал в послеобеденную пору объясняться со своей супругой. Екатерина все еще ходила в широком траурном платье, что скрывало ее беременность от посторонних взоров, а главное – от императора, давным-давно переставшего интересоваться ею как женщиной.

– Вы начинаете становиться невыносимо гордой, – начал он, подергивая головой и плечами. – Я сумею вас образумить...

Екатерина подняла на него лучистые глаза, спокойно сказала:

– В чем вы видите мою гордость?

– Вы очень прямо держитесь... Весь ваш вид... И ваше поведение... и вообще...

– Разве, чтоб вам понравиться, нужно гнуть спину, как гнут рабы перед турецким султаном?

– Я сумею вас образумить, мадам!..

– Каким образом? – В глазах Екатерины презрительная ненависть, на губах улыбка.

Петр, прислонясь спиной к стене, быстро вытащил из ножен шпагу и, гримасничая, с угрозой встряхнул ею.

– Что это значит? Уж не рассчитываете ли вы драться со мной на шпагах?

– Да!

– Тогда, ваше величество, мне также нужна шпага, – весело сказала Екатерина. – Иначе сатисфакция состояться не может.

– Молчать, молчать! Вы ужасно злы. Вы пантера! – крикнул Петр и с треском вдвинул шпагу в ножны.

– В чем же вы видите мою злость? Сделайте милость, объясните...

Петр сорвался с места и, звеня шпорами, стал бегать взад-вперед, бормотать глупости, выкрикнул, подобно попугаю: «Молчать, молчать!..», и, пошатываясь, вышел.

В его голове сумбур. И над сумбуrom – единая мысль: он скоро выступит в поход против Дании, скоро встретится со своим другом – великим из великих, Фридрихом. То-то будет знаменитое свидание!

Когда Петр ушел, из-за ширмы выпорхнула красавица графиня Брюс, близкая подруга Екатерины. Обе молодые женщины принялись хохотать. Графиня беззаботно, Екатерина нервно.

– Очень храбрый воин ваш супруг, ваше величество, – смеялась графиня. – Я видела в щелочку, как он угрожал вам шпагой.

– Любезный друг, Прасковья Александровна, – воскликнула Екатерина. – Но ведь я не крыса, я женщина, я государыня! Вы слышали, как он казнил крысу?

– Вы шутите, ваше величество... – подняла изогнутые брови графиня Брюс и облизнулась, предвкушая услышать интересное.

– Нисколько. Он тогда был еще великим князем. Впрочем, ему было под тридцать лет. Однажды я вошла в его комнату. Посреди комнаты виселица, на ней – дохлая крыса, большущая-большущая, фи... Я спросила его, что это все значит? Он ответил: «Эта мерзкая крыса перелезла через вал фортеции (он показал рукой на огромный стол, где сооружена была игрушечная крепость) и на бастиионе слопала двух часовых». – «Но ведь ваши часовые – из крахмала и муки...» – «Хотя бы, хотя бы. Я тотчас созвал военный совет, в коем участвовали мой лакей Митрич, все камердинеры, хохол Карпович и Нарцис. Я председательствовал. По законам военного времени суд приговорил крысу к смертной казни через повешение». Не в силах сдержаться, я расхохоталась. А он сказал мне: «Ах, вы, женщины, ничего не понимаете в военных законах». Я не переставала хохотать. Он надулся. Я сказала: «Хороши ваши военные законы, ежели крысу повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания».

Графиня Брюс много этому рассказу смеялась. И вдруг заметила: плечи Екатерины стали подергиваться, подбородок дрожать. Екатерина упала в кресло, набросила кашемировую шаль и громко, взхлеб, зарыдала.

– Ваше величество... милая, ваше величество! – кинулась к ней перепуганная Прасковья Александровна. Обняв ее за располневшую талию, графиня Брюс нечаянно коснулась тугого приподнятого живота Екатерины и удивленным шепотом, целуя государыню в завитки темных волос, воскликнула: – Вы... вы!.. И от меня скрываете... Ах, какая вы, право... Ваше величество...

Согретая нежностью женщины, Екатерина благодарно усмехнулась, откинула шаль и, сморкаясь в раздушенный платочек с короною, мешая в одно слезы и смех, тихо промолвила:

– Да, душа моя, Прасковья Александровна, я... я беременна. Роды – месяца через два. Но это – строжайшая тайна, умоляю вас как друга. А ребенка тотчас отдам. Бедное дитя!

Растроганная графиня уткнулась белым лбом в суховатое плечо государыни, стала лить слезы на черный шелк ее траурного платья. Задыхаясь, бормотала воркующе:

– Какая вы милая, ваше величество, какая вы душка... Буду молить Бога о вашем бесценном здравии день и ночь.

– И вот в такое-то время, вы только подумайте, милый друг, – голос, подбородок и щеки Екатерины вновь задрожали, – я в опале, я на краю гибели, я окружена врагами, друзей у меня – вы да Кэтти Дашкова... Ну, кто еще?... Не ведаю, кто...

– Ваше величество! – еще крепче прильнула к ней Брюс. – Вы забыли, ваше величество, упомянуть имя рыцаря, готового отдать за вас жизнь.

– О! – выпрямилась Екатерина, лицо ее вспыхнуло. – Сей рыцарь есть единая отрада моя, единая надежда... Вы же это знаете, мой милый друг.

– Ваше величество! Ваш рыцарь, Григорий Григорьевич Орлов, неотступно просит свидания с вами...

– Да, но... как это сделать? Этот несносный адъютант Перфильев приставлен государем следить за Орловым... Как это сделать?

Графиня Брюс хотела ответить: «Да так же, как на прошлой неделе», но почла неприличным и ответила так:

– Очень просто, ваше величество. Мой муж сейчас в Москве. Рандеву состоится в моем доме. Сегодня ночью государь будет в Аничковском дворце у гетмана Разумовского... Кутеж до утра. И Перфильев будет при государе. Вы ж знаете, ваше величество. Ровно в одиннадцать я заезжаю за вами в карете...

– Я в мужском костюме, в широком плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, выхожу вместе с вами?... – засмеялась царица.

– Нет, вы лучше оденьтесь Катериной Ивановной, вашей камеристкой...

– Нет-нет, мужчиной!.. Пусть Гришенька не сразу узнает меня...

Из половины государя доносились плаксивые звуки скрипки: Петр неплохо играл какую-то сентиментально-заунывную пьеску.

Вскоре состоялся переезд в новый, еще не вполне достроенный знаменитым Растрелли Зимний дворец. Петр сам распределил все помещения. Ближе к себе, на антресолях, поместил Елизавету Воронцову, а царицу Екатерину – в самый отдаленный край дворца. Между передней и покоями царицы – малолетний великий князь Павел с воспитателем его Никитой Ивановичем Паниным. Уединенное помещение Екатерины было ей на руку: удобней видеться с нужными ей людьми, а главное – ей предстояли тайные роды, что она благополучно и совершила, родив на Пасхе, 11 апреля, сына Алексея¹¹. Отец новорожденного, то есть офицер Григорий Орлов, при родах не присутствовал. А ребенок вскоре исчез.

6

Внутренние дела России не сулили ничего хорошего. То здесь, то там волновались пашенные крестьяне. В вотчинах Татищева и Хлопова в Тверском и Клинском уездах мужики срыли и разбросали помещичьи дома, житницы с хлебом и оброчные деньги разграбили, а помещиков повыгнали вон, сказав им, чтоб больше сюда не ездили; приказчиков и дворовых людей хотели убить, но смиловались, однако из вотчины выбили вон. Шумели крестьяне и по Московскому, Белевскому, Галицкому, Каширскому, Тульскому, Епифанскому и другим уездам – всего до восьми тысяч человек.

Волновались на Урале раскольники и крестьяне, приписанные к заводам графа Чернышева и Демидовых; они подали в Сенат жалобу, что «управители и приказчики притесняют их, увечат, а иных до смерти убили».

Начались волнения и в Москве среди фабричных суконной мануфактуры: удерживают-де у них заработанные деньги и дают на делание сукон скверную шерсть.

Сенат всякий раз докладывал царю о народных возмущениях, царь отмахивался, говорил: «Решайте сами, а мне недосуг, я озабочен более важными для государства делами, я готовлюсь к войне с Данией. Вот возвращусь с триумфом с поля военных действий, тогда займусь и помещиком, и мужиком, и фабрикантом».

Действительно Петру некогда заниматься какими-то малыми делами в какой-то там России. Эту провинциальную Россию он не знал, да и не хотел знать, он даже не ощущал ее. Он весь был погружен в военные занятия. Ему и во сне грезились битвы да победы. Добрый по натуре, но плохо воспитанный, заносчивый, вспыльчивый и от природы невеликого ума,

¹¹ Впоследствии – граф Алексей Григорьевич Бобринский.

этот круглый неуч не мог подметить, что императорский самодержавный трон его со всех сторон обложен целым ворохом горячего.

И трагедия Петра заключалась в том, что он сам разбрасывал это горячее возле монаршего престола, замыкая жизнь-судьбу свою в заколдованный круг противоречий и роковых опасностей, что он сам держал в немудрой руке пылающий факел, он сам как бы являлся первым поджигателем: еще лишняя искра, еще неверный его шаг, и трон взлетит на воздух. Петр своею странною персоною был самым лютым, самым коварным, самым жестоким врагом себе.

Он разогнал елизаветинскую лейб-компанию – эту «гвардию в гвардии», эту привилегированную часть гвардии, возведшую в 1741 году Елизавету на престол. Содержание ее стоило государству два миллиона ежегодно. Вот и чудесно! Роспуск дворцовых прихлебателей был заслугой Петра даже в глазах его врагов. Но беда в том, что, бесстрашно разогнав старую русскую лейб-компанию, Петр тотчас сформировал из иностранцев голштинскую гвардию и поспешил отдать ей все свое сердце. Подобный акт дворянская гвардия учла, разумеется, не в пользу императора. Лейб-компания тоже злилась. «Возведением на престол Елизаветы мы очистили и Петру Третьему путь к трону, – говорили они. – А нас расформировали».

Как уже известно, первую роль в войсках играл иностранный принц Георг Голштинский (по-солдатски – «Жоржа»). Солдафон, пьяница, зазнайка, презирающий все русское, принц Георг своими поступками возмущал не только военное дворянство, но и рядовых солдат.

Петр решил: всю гвардию, все войско повернуть на прусский образец. Вместо просторных одноцветных зеленых мундиров, он одел войско в разноцветную, узкую, на прусский манер, форму. Завел в войсках безмерно строгую дисциплину. Наказание солдат батожем, кнутом и кошками – отменено, впредь приказано бить палками и фухтелем¹². Начались ежедневные, и в дождь и в бурю, военные экзерциции. Отдан приказ стянуть в Петербург для военной муштры пятнадцать тысяч войска.

Глава IX

Две Екатерины. Гетман Разумовский

1

Весенний мелкий дождь, слякоть. Плац перед Зимним дворцом. Под ногами смешанный с грязью и конским пометом снег. Эту хлюпающую грязь месит не одна тысяча мужицких и барских сапог. Все в новых кафтанах, на плечах самопалы, косички болтаются.

Маленький Петр на коне. В зеленой накидке, с орденом прусского короля, в треуголке с плюмажем. Треуголка вся мокрая, дождевая вода скатывается на плечи, на спину, за шиворот, но Петр равнодушен к погоде, он держит экзамен на закаленного прусского воина. Из-под шляпы – два больших темных глаза, то веселых, то грустных, то строгих, смотря по тому, как делает русское воинство прусский размашистый шаг.

– Бего-о-м... Марш! – громко командует он. Голос его – резкий, запальчивый и неприятный – кроет всю площадь. – Кру-го-ом!.. (И глаза его стали вдруг злыми, губы обвисли.) Гетман Разумовский!.. Надо слушать мою команду не брюхом, а ухом. Я еще не сказал – марш. Стыдно, стыдно!.. – Царь вытаращил из-под шляпы глаза и вновь закричал: – Круго-о-м... Марш! (Солдаты бегут в такт, слышно пыхтение, звяк самопалов, хлюп промокших ног.) Стой!

¹² Удар по голой спине плашмя обнаженной саблей. – В. III.

Впереди первого взвода, пробежав лишних два шага и со страхом посунувшись пятками взад, утвердился на месте, как вкопанный, низенький, толстенький старичок со звездой на груди, с голубой под кафтаном лентой. Он задышался, как запаленная лошадь, широко открыв рот и полные испуга глаза, косил их в ту сторону, где скомороший царек на коне, и с трепетом ждал обидного высочайшего окрика. Он был несчастен и жалок. «Отдохнуть бы, в кроватку бы, выпить горячего пуншу... Сукин ты сын, ваше величество... Небось сам на коне, как на печке...»

В эту минуту короткого роздыха он вскинул дальнотзорные глаза на дворец. И видит... за зеркальным стеклом два хорошеньких личика. «Матушка-государыня, заступись, заступись! Не дай скоропостижно скончать дни живота моего в сей проклятой экзерции... Когда же возьмешь бразды правления в благоразумные руки свои, о мать-государыня?... Торопись, всеблагая!..» И видит жест белой руки в свою сторону.

– О, бедни, бедни мой старикашечка... Милая Кэтти, вы не можете видеть, кто сей толстячок? – еще плохо владея русским языком, обратилась царица к молоденькой Дашковой, показав ей лорнетом на стоявшего впереди первого взвода пыхтевшего старца.

– Это... это... Да это ж наш князьенька генераль Трубецкой... А вы не узнали? – ответила тоже на русском наречии природная русская княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная княжна Воронцова.

– Как, Трубецкой? Никита Юрьевич?... Господи помилуй!.. – изумилась императрица. – Но ведь он старушечка, ведь он есть генераль-прокурор Сената?

– Да, да... Только старушечка – дама, ваше величество, позвольте поправить вас, а он есть старичок...

– Вуй, вуй, старичок... Но, милая Кэтти, вы анрюсс выражайтесь тоже не есть очень правильно. Или ви нарошно передразняйт меня?

– О, мой Бог! – всплеснув белыми ручками, Екатерина Романовна вскинула брови и сложила сердечком уста. – Могу ли я, ваше величество... Но я и сама очень плохо по-русски.

Они улыгнулись друг дружке конфузливо и перешли на французский.

– Ведь у несчастного Трубецкого больные ноги, подагрическая ломота, – сказала государыня. – Поэтому он и в Сенат по целым месяцам не ездит, да и дома к нему доступа нет. И вдруг...

– И вдруг, ваше величество, – заулыбалась говорливая стрекотушка Екатерина Романовна. – И вдруг государь жалует ему звание фельдмаршала. А раз так, пожалуйста на плац топать ножками с молодцами... Экзерция, ваше величество, ныне для всех обязательна. И старых и малых.

– Знаю, знаю, мой друг... Это мне в большую печаль, – приняла скорбный лик молодая царица. – Ну к чему мучить столь почтенных людей? Скажите, к чему?

– Это воля вашего высокого супруга, ваше величество.

– Глупая воля! Это есть чванный каприз, фанфаронство. Не более... – Брови ее величества сдвинулись, щеки алеют. Дашкова, чтоб сбить настроение царицы, притворялась веселенькой.

– Представьте, ваше величество... Только Алексей Григорыч Разумовский как-то избавился от сего публичного капральства.

– Ну да... Алексей Григорыч просто-напросто откупился. Да, да... Просто дал взятку, а государь ее принял. В день переезда нашей фамилии в Зимний дворец очаровательный дедушка преподнес государю драгоценную трость и просил дозволения присовокупить к подарку – знаете, сколько? – миллион рублей... И его величество деньги те взял...

Екатерина Романовна растерянно захлопали глазками.

– А что касаясь младшего Разумовского, гетмана Кирилла, то он, ваше величество, принужден держать у себя молодого офицера, который дает ему ежедневно уроки новой прусской экзерциции.

– Сей светлый государственный ум рожден царствовать, а не ради капральских артикулов, – в раздражении перебила ее государыня, и лицо ее снова стало печальным. – Бедный, бедный. Но ведь государь его любит и чтит. И в то же время ежечасно при публике обращает в шуту. Дивлюсь моему государю.

За окнами на плацу продолжалось учение. Звенел крикливый голос Петра:

– Правофланговый третьего взвода на гауптвахт... Раз, два! Раз, два! Левой! Левой!.. Бараны!.. Я вас, чертячьи головы, вишколою... Раз, два! Айн, цвай! Четвертый взвод, слушай! Весь взвод под арест! Взводный – под ружье на три ночи к пакхаузам.

Учение продолжается уже битых три часа. Кроме Петра на коне и его свиты, все несказанно устали месить глубокий вязкий снег. Выбившись из последних сил, один за другим упали шесть солдат.

– Убрать, убрать! – бесился всегда ожесточавшийся на экзерцициях царек. – Поставить новых!

Адъютант Перфильев то и дело скачет от Петра с приказами.

– Гетман Разумовский! – кричит Петр. – Подбирайте живот! Прямой вытягивай ногу! Вы опять идете, как выучный двугорбый верблюд. Плечи, плечи назад!..

Изнеженный гетман Кирилл Разумовский, подобно князю Трубецкому, нервничал, куksился, проклинал и жизнь и царя.

Эти царские окрики не могли долететь до ушей государыни, но их слышала гвардия, слышало войско. Щедрый на помощь солдатам и малоимущим офицерам, Кирилл Разумовский был кумиром всей гвардии. Публичная, почти ежедневная насмешка царя над гетманом корбила всех.

– Ваше величество, – прижимая руки к груди и выразив на умном лице таинственность, восторженно шепчет Дашкова. – Ваше величество, если б вы только знали, сколь много у вас друзей среди гвардии: пять братьев Орловых, Ласунский, Пассек, Росла...

– Чшш... – и царица посунулась к Дашковой. – Закройте ваши уста, сии стены с ушами. Мне ведомо очень, очень многое, даже то, чего вы, по своей молодости, не можете знать, мой любезный друг... А впрочем, я рада вас выслушать. Пойдемте ко мне.

Взволнованная Дашкова поймала изящную руку Екатерины и покрыла ее поцелуями.

– Ваше величество! Тучи над вашей головой сгущаются. Доверьтесь мне. Я достойна вашего доверия. Моя жизнь принадлежит вам, государыня. Приказывайте, располагайте мною. Я в курсе всех дел. Скажите, какой ваш план? Я держу полную связь...

– Чш-ш-ш... У меня плана нет. Все в руке Божией, – с притворным смирением прошептала Екатерина.

2

Прозвучали по коридору размашистые, военные шаги. Петр проследовал на антресоли, в покои Елизаветы Воронцовой, завтракать.

– Романовна! Романовна! – сразу зашумел он, бросая арапу Нарцису мокрые плащ и шляпу. – Сегодняшняя экзерциция из рук вон плоха... За ночь навалило снегу, дождь... И этот неженка, сибарит гетман Разумовский! У него ноги, как из ваты, и ходит, как двугорбый верблюд. Мне надоело вычитывать ему рацеи. Я охрип, кричавши на него... Нарцис! Рюмку ежевичной. А я все же его люблю. И он меня любит, Романовна... А не пригласить ли его откусать с нами?

– Что ж, – ленивым голосом проговорила Воронцова, сидя возле венецианского туалета и лениво сажая себе на щеку мушку. – Пригласи, Пьер... Он человек решпектабельный...

– Ну да, ну да... Я и сам к нему полный решпект имею. – Петр подергал висевшую вдоль дверного косяка расшитую бисером розетку. На звонок вошел саженный лысый бородач Митрич, стукнул в каблук и – грудь вперед – замер. – Здорово, Митрич! Ну, как ты сегодня – пьян есть?

– Никак нет, ваше императорское величество! – гаркнул бородач и, прикрыв рот рукой, покашлял в сторону. – Мы не пьем...

– Ха-ха... Смирр-но! (Митрич замер.) Шагом марш! Ать-два, ать-два... Стой! (Пройдя четыре шага, Митрич остановился. Воронцова смотрела во все глаза на причуды императора.) Кру-гом! Ать-два! (Митрич, согласно артикулу, молодецки повернулся задом к Петру.) Сложи руки, сложи руки! Нагнись...

– Никак нет... Не имею смелости, ваше величество, к вам раком стать...

– Император повелевает: нагнись!..

– Как угодно вашему величеству. А токмо что... – пробасил Митрич и, покрутив головой, с неохотой нагнулся.

Петр, разбежавшись, перепрыгнул через него, как в чехарду, и крикнул:

– Вольно, Митрич! Скажи адъютанту Перфильеву, пускай немедленно добудет гетмана Разумовского, Кирилл Григорьевича. Мы просим его откусать с нами... Фриштык, фриштык!..

Вспотевший Митрич вылез вон. Государь, игриво тронув на ходу пухлую грудь Елизаветы Воронцовой, воскликнул:

– Могу ли я после сего верить?

Та встревожилась, ленивым голосом спросила:

– Кому, Пьер, мне?.. О, вполне...

– Ах, нет! Ах, нет!.. Я не про то. Я про Панина Никиту. Представь, я произвожу его в высокий чин фельдмаршала. Эрго: пожалуйста на плац-парад маршировать со всеми, нечего в затхлых комнатах с великим князьком торчать. А он, а он... Ха-ха!.. Он чуть не на коленях стал отказываться от сей чести, от фельдмаршальства, от плац-парада и умолять оставить его в прежних чинах... Каков?.. Мне все уши прожужжали: Панин умный. Панин просвещенный политик... Но могу ли я теперь сему поверить? Вздор! Не политик, а политикан, он под дудку царицы Екатерины пляшет, он заодно с ней. Он против меня. Сукин сын. Они все, каналы, против меня! – петушился Петр, быстро бегая из угла в угол, путаясь несгибавшимися ногами в длинной шпаге.

– Пьер, снимите эспантон, он вам в помеху.

– Вздор! Сие не есть эспантон, сие есть прусского образца шпага... И я его ненавижу, этого Панина! Я этого умника опять в Стокгольм упрячу, пусть там торчит, изучает глупые конституции.

Без доклада вошел красивый, плотный, чуть сутуловатый богач Кирилл Разумовский. Он в красном, расшитом золотом и жемчугом кафтане, на пряжках туфель – яхонты, коса длинная, с большим бантом. Нос ложбинкой, в живых глазах светятся ум и юмор.

– А, старик, – прыгая через ножку, по-мальчишески резво подскочил к нему Петр.

– Никак нет, государь, мне до стариков далеко, я ровесник вам. Но, сдастся мне, вы задались состарить и себя и меня своими ежедневными экзерцициями.

– Вздор, вздор! – Петр схватил его за обе руки и подтащил к Воронцовой: – Романовна! Тщусь счастьем рекомендовать тебе: бывший пастух, ныне сиятельный граф и гетман всея Малыя России Кирилл Григорьевич Пастуховский. То бишь... – Мы довольно знакомы с графом Кириллом, – вправо-влево повела головой Елизавета Романовна.

– Как? Когда? – дурачился Петр, кривляясь.

Гетман улыбался, но глаза его злы.

– Я познакомился с княжной Елизаветой в то время, когда вы были маленьким князьком, государь, в вашей маленькой Голштинии, – резко сказал он.

Оскорбленный Петр дернул носом, закрыл правый глаз и задрогал ногой.

– А что касаясь пастушеского звания моего, правду изволили молвить, государь. И если вам не ведомо, сделайте милость взять в память: я долгое время пробыл за границей, в Германии, Франции, Италии, особенно долго и усердно слушал лекции в Берлине и Геттингене. И смею молвить, что пастух Пастуховский, как вы соизволили обмолвиться, изощрен в науках навряд ли менее государя своего...

Подчеркнутая холодность, с которой говорил гетман, глубоко оскорбляла болезненное тщеславие царя. Петр завертел шеей, закривлялся, покраснел, готов был разразиться гневом, побежал по комнате прочь от Разумовского, схватил скрипку, ударил в струны смычком, бросил. Гетман, наслаждаясь причиненной царю болью, сел без приглашения в кресло.

– Я внук Петра Первого Великого! – бия себя в грудь, с азартом закричал царь. – Я внук Карла Двенадцатого шведского! А ты кто? – царь показал ему язык.

– Я пастух, – хладнокровно ответил гетман, отирая с высокого лба испарину. – А достоинство для пастуха образование я приобрел милостью почившей императрицы Елизаветы, вашей тетушки. И ныне состою президентом Российской Академии наук.

– Романовна! – вдруг закричал Петр, и его подвижное, как у актера, лицо вновь стало веселым. – А знаешь, кто перед тобой сидит? – указал он на гетмана. – Это мой дядюшка. Der Onkel... Только не родной, а как это по-русски?.. Что?

– Двоюродный, Пьер... – подсказала Романовна.

– Чудесно! Двоюродный. А родной мой дядюшка – твой братец, слышишь, гетман, твой брат, венчаный супруг моей тетушки, Алексей Григорьевич Разумовский, к которому я полный респект имею... И почитаю за отца.

– Это есть непреложная истина, государь. – Вздыхнув, гетман опустил голову. Пред его мысленным взором траурной тенью прошла почившая Елизавета.

Петр с разбегу подбежал к поднявшемуся гетману и бросился ему на шею.

– Der Onkel!.. Милый мой дядюшка!.. Чаю, обидел тебя! Ну прощай меня, прощай, пожалуй... А знаешь, а знаешь? – стал он трясти гетмана за обе руки. – Я получил от великого Фридриха высокое награждение... Мой друг Фридрих... (Глаза Разумовского засверкали презрительной холодностью, а Петр, отступив три шага, гордо откинул голову, отставил ногу и ткнул в надетую через плечо генеральскую ленту прусского ордена.) Мой друг Фридрих изволил произвести меня в генерал-майоры прусской службы.

Едва скрывая гнев, Разумовский сказал с коварством:

– Вы можете с лихвой отомстить ему, государь: в отместку произведите его в русские фельдмаршалы.

Озадаченный Петр разинул рот и ничего не ответил.

3

21 апреля Екатерина торжественно отпраздновала день своего рождения (ей исполнилось тридцать три года) и дала в малом тронном зале аудиенцию австрийскому послу графу Мерси Аржанто. Присутствовал весь двор и иностранные послы. Екатерина все еще носила траур. В ответ на приветственную речь австрийского посла она откинула голову и, не спеша, впервые произнесла по-французски официальную речь. Этот день был одним из знаменательных дней ее жизни: она держала пред Европой экзамен политической зрелости. Она еще плохо говорила по-русски, но французским языком владела в совершенстве.

Яркий, выступивший на ее нежных щеках румянец свидетельствовал о сильном внутреннем волнении ее. Но чуть приподнятый голос звучал все-таки спокойно, музыкально.

Она была горда тем, что вся речь составлена лично ею, без посторонней помощи. Да и с кем она могла посоветоваться? – разве что с Никитой Паниным, но и с ним она не советовалась. Правда, что смысл слов довольно банален, но речь была облечена в изысканную форму со всеми дипломатическими учтивостями.

Осмысленно модулируя глубоким, захватывающим слушателя голосом, она придавала особый блеск произносимым ею словам. Все с изумлением разинули рты, напрягли слух, и эта невысокая, изящная женщина вдруг на глазах у всех выросла в заметную фигуру, с которой Европе придется еще иметь дело. Даже Никита Иванович Панин, чей зрелый государственный ум был холоден и всегда трезв, поддался обаянию и, устремив на Екатерину загоревшийся взор, тихо вымолвил: «Умница».

Панин, оба Разумовские, И. И. Шувалов, Трубецкой и другие допущенные к целованию руки государыни искренно поздравляли Екатерину с успехом. В особенности восторгалась без меры княгиня Дашкова. У царицы на душе ликование, однако она продолжала притворяться печальной, почти подавленной.

Государь на аудиенции намеренно отсутствовал: он репетировал скрипичные пьесы, готовясь к собственному музыкальному концерту.

24 апреля был заключен с нетерпением ожидаемый Петром трактат мира с Пруссией. В одной из статей трактата говорилось:

«Российский император в два месяца возвратит королю Прусскому все области, земли, города, места и крепости, ему (королю) принадлежащие и в течение войны российским оружием занятые».

В сердцах россиян, в особенности – войска, ужасный смысл трактата отозвался глухой болью, как удар из-за угла, в спину. Патриотические чувства каждого были оскорблены: значит, кровь русская пролилась на вражьих полях впустую.

Легкомысленный Петр от радости скакал через ножку, с криком «ура» салютовал портрету Фридриха. На плацпараде с войсками был многомилостив. Громко объявил с коня:

– Солдаты! Я и его королевское величество Фридрих Прусский заключили между собой договор вечного мира и вечной дружбы! – И бесшабашно, очертя голову, провозгласил: – Солдаты! За моего друга Фридриха – ура!!!

Смущенное войско кричало «ура», но без восторга. Царь приказал выдать солдатам по три чарки водки.

Через пять дней мир с Пруссией праздновался торжественным обедом. Дальновидная Екатерина, зная, сколь тяжело русские сановники переживают заключение этого мира, присутствовать на обеде отказалась под предлогом болезни. Вздвигнутый Петр кричал на антресолях у Лизки-«султанши»:

– Я ее вылечу! Вот я ее вылечу...

Горничная Екатерина Ивановна эти крики поспешила подслушать и с прибавкой пересказала их государыне. Старик-камердинер Тимофей Евреинов, прослезившись, советовал Екатерине:

– Матушка, ваше величество... Надо бы сходить вам откушать... А то государь император изволят злиться. Как бы лиха какого не приключилось! Они, Бог с ними, сумасшедшие. Однако быть на обеде Екатерина отказалась. Поэтому к столу приглашены были только мужчины. Обед прошел в полном унынии. Был оживлен лишь император. Он в прусском мундире, в ленте прусского черного орла. Под конец он напился, чудил, выкрикивал: «Воля Фридриха – воля Божья!» И еще выкрикивал: «Весь мир будет свидетелем, как я отхлещу по щекам Данию... Да здравствует моя великая Голштиния!» Послы-иноземцы, привычные к выходкам Петра, злорадно запоминали каждый жест его, чтоб тотчас описать обо всем своим государям.

Петр точно так же признал обед скучным, однобоким без веселого женского смеха и объявил, что после обмена ратификациями мирного договора он устроит доброе пиршество с участием итальянских, придворного театра, комедианток, хорошеньких танцовщиц и прочих прелестных гурий, а вкупе с ними, может, и сам кой-что сыграет на скрипке, ибо всему свету ведомо, сколь отменно постиг он сие труднейшее искусство.

На другой день, проспавшись, Петр приказал дворцовому архитектору скакать в Шлис-сельбург, выбрать там место и приступить к постройке добротного, но без всяких пышностей дома. Для кого – о том знала лишь Елизавета Романовна. Царь под секретом шепнул ей, кому вскорости жить в том каземате надлежит.

Все помыслы Петра вращались исключительно возле датского вопроса. Все же остальное было для него между прочим. Он окончательно утратил способность верно мыслить, он даже потерял звериное, данное от природы чувство самозащиты и неудержимо катился в погибель.

Войскам отдан приказ быть готовыми к выступлению. Прошел слух, что русских солдат поставят под команду Фридриха II.

В войсках поднялся ропот, особенно громкий среди гвардии. Гвардейцы привыкли к безмятежной жизни при дворе, и вдруг – повеление следовать за государем куда-то на край света. Озлобленные, они не желали покидать столицу и собирались на войну стиснув зубы. Более смелые среди них вопрошали своих офицеров: «Куда и на кой прах нас уведут из столицы?» Те отвечали уклончиво, избегая смотреть в глаза солдатам: «Император поведет нас в свою Голштинию, он желает отомстить обиды, нанесенные его предкам Данией, и оттянуть от нее все отнятые у голштинцев земли». Гвардейцы разглашали этот ответ своим товарищам, многие с отчаянностью бежали из казарм кутить в кабаки – арест так арест, – напивались там в лоск, орали: «Не пойдем! Пушай сам, ежели хочет, на войну прется вкупе с Фридрихом своим да с Жоржей. Уж и так нас замучил своими вахт-парадами да артикулами на немецкий лад!» Крикунов хватили, били палками, били фухтелем, усылали куда надо. Расправа с крикунами была сигналом к началу волнений: «Пушай всех ссылают!.. Мы все заодно». Беспорядки вспыхивали в гвардии и армии и с жестокостью подавлялись.

Петр считал минуты до воинственного выступления в датский поход. И заветная цель, мечта всей жизни – свидание с Фридрихом! Уже было установлено место встречи.

Но Фридрих, изучая донесения своих политических клеветников, испугался, что его простоватый друг, из которого можно вить веревки, удалясь из России, этим самым поможет сбросить себя с престола. Падение Петра было бы для Фридриха большим ударом. Поэтому, своей корысти ради, он стал застрашивать Петра всяческими страхами, как нянька малого ребенка – буклой. Его гонец день и ночь мчал к Петру письма. Фридрих писал:

«Мне бы очень хотелось, чтоб ваше величество короновались, эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть своих государей коронованными. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским... Предположите, что какой-нибудь негодяй начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол Ивана Антоновича, составит заговор, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорит войско и других негодяев: не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан и поспешно возвратиться, чтобы тушить пожар собственного дома...»

Петр ответил, что короноваться перед походом у него не осталось времени, ему не успеть наделать роскошных фейерверков, да к тому же и корона еще не готова. «Что касается Ивана¹³, то я держу его под крепкой стражей, и если б русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не предпринимаю никаких предосторожностей, хотя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать».

¹³ Петр имел свидание с Иваном Антоновичем 22 марта 1762 года. – В. III.

Глава X Узник без имени

1

Венценосный шлиссельбургский узник Иван Антонович, о котором пишет Фридрих, «несчастнорожденный» для престола, всю жизнь провел в страданиях и умер бесславно от руки насильника.

Петр II, сын цесаревича Алексея Петровича, преданного по приказу своего отца Петра I особому суду и умершего от пыток, скончался от оспы пятнадцатилетним мальчиком. По смерти его вступила на престол Анна Ивановна, племянница Петра I. Она притащила из Курляндии своего любовника, некоего мелкопоместного курляндского дворянина Бирона.

Анна Ивановна царствовала десять лет и перед смертью своей назначила всероссийским императором грудного младенца – Ивана Антоновича, сына принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и принца Брауншвейг-Люненбургского Антона-Ульриха. В Анне Леопольдовне текла хоть капля русской крови (она дочь Екатерины Ивановны, родной племянницы Петра I), а ее супруг Антон-Ульрих был просто-напросто кавалер со стороны.

Регентом лежавшего в пеленках всероссийского самодержца Ивана III¹⁴ был назначен 16 октября 1740 года бывший любовник Анны Ивановны всевластный Бирон, а 17 октября царица Анна умерла.

В народе разнесся глухой ропот. Почему-де царем сделали малютку в зыбке, какого-то Ивана Антоновича? И почему-де он взял верх над законной дочерью Петра I, здоровой, красивой и веселой девушкой Елизаветой Петровной?

После сего приехавшая с ребенком в Россию мать императора Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и назначена правительницей государства. Именем грудного младенца издавались указы, велись войны, а о народе, об империи и о самом младенце совершенно забыли. Правда, во время торжественных церемоний, например, когда приехало в Петербург персидское посольство, малютку выносили в пеленках на балкон, чтобы показать народу. Но сбежавшийся люд мало интересовался и им и его матерью, а искал взором царевну Елизавету Петровну, отворачиваясь от набивших оскомину немецких властелинов.

И в ночь на 25 ноября 1741 года разразилась дворцовая революция. Цесаревна Елизавета, опираясь на придворную знать и гвардейцев-гренадеров¹⁵, арестовывает младенца Ивана III с его родителями и провозглашает себя императрицей.

Молодая Елизавета отличалась необычайной красотой и веселым нравом. У ног ее с давних пор пресмыкался добрый десяток женихов вплоть до французского короля Людовика XV, принца персидского – сына шаха Надира – и молоденького племянника ее Петра II, по уши влюбившегося в свою очаровательную тетку. Но она предпочла остаться девой и, поддерживая обычную придворную традицию, обзаводилась «рабами своего сердца».

Через солидный опыт в сердечно-интимных делах своих Елизавета пришла к заключению, что вряд ли она произведет теперь на свет сына, наследника. Поэтому, желая обеспечить вопрос престолонаследия, она шлет в Голштинию за своим четырнадцатилетним пле-

¹⁴ Как царь – он Иван III (первый царь – Иван Грозный, второй царь – родной брат Петра I – Иван Алексеевич). А по числу князей Иванов – он Иван VI. Но логичнее называть его – Иван III Антонович. – *В. III.*

¹⁵ Впоследствии они получили прозвище «лейб-компанцев».

мянником Петром – Карлом-Ульрихом (будущим Петром III), обращает его в православие и объявляет великим князем и наследником престола.

А в 1744 году, когда Петру Федоровичу шел шестнадцатый год, ему была выбрана невеста, мелкопоместная принцесса Цербтская София-Августа-Фредерика (впоследствии – Екатерина II). Таким образом, по линии престолонаследия все благопоспешно шло своим порядком. О судьбе же арестованного ребенка – императора Ивана III – даже и в придворных сферах никто не знал ничего достоверного, и имя его произносилось шепотом.

Судьба же свергнутого младенца-императора была такова. 12 декабря, то есть спустя семнадцать дней после воцарения Елизаветы, из Петербурга выехало под сильным конвоем несколько повозок. В одной из них – укутанный в меховой мешок «несчастнорожденный» Иван с отцом и матерью. Они изгонялись чрез Нарву, Ригу на свою родину, в Брауншвейг. Ивану было шестнадцать месяцев, из них тринадцать он считался императором. Ему больше никогда не придется видеть Петербург.

Охраняя свое собственное спокойствие, Елизавета старалась стереть при дворе и в народе всякую память о нем: уничтожены все монеты и медали с изображением Ивана III, собраны в Сенат и там сожжены все бумаги, в которых упоминалось его имя.

Тревога Елизаветы была не напрасна. Семь месяцев спустя после переворота камерлакей Турчанинов и два гвардейца, пожалев Ивана III, составили заговор: Елизавету и голштинского принца Петра Федоровича умертвить, на престол возвести низложенного Ивана III Антоновича. А еще год спустя был открыт заговор подполковника Лопухина опять в пользу Ивана III. В это время, вот уже целый год, изгнанная брауншвейгская фамилия содержалась под крепкой стражей в Риге. Елизавета опасалась, что, находясь за границей и придя в возраст, Иван III может оказаться опасным претендентом на русский престол. Поэтому она решила вместо заграницы переправить всю фамилию в Ораниенбург (Раненбург)¹⁶, а вскоре приказала отвезти их в Соловецкий монастырь.

При выезде из Ораниенбурга, по приказу Елизаветы, четырехлетнего ребенка впервые и навсегда разлучили с родителями. Его увез в отдельном экипаже майор Миллер, получив указ: «Оного посадить в коляску и самому с ним сесть. Именем называть его „Григорий“. Проезжать только ночью, иметь всегда коляску закрытой, о младенце никому не объявлять».

Был март 1745 года. Была весенняя распутица. Ребенок скучал и плакал. Изгнанники надолго застряли в Холмогорах, в бывшем архиерейском доме. Елизавета, узнав о сем, приказала: «Известным персонам здесь и жить в теснейшем заключении, младенец отдельно».

Вскоре камергеру барону Корфу, ведающему «известными персонами», дан был секретнейший приказ: «Ежели, по воле Божьей, случится кому из них смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положив в спирт, тотчас же смертное тело к нам прислать с нарочным офицером».

Но супруги брауншвейгские вовсе и не думали умирать, а, наоборот, благополучно в изгнании плодились. Так, Анна Леопольдовна в Холмогорах разрешилась сыном. Елизавета и весь двор поморщились: в Риге родилась девочка, а вот теперь опять принц, новый претендент, брат Ивана. Не прошло и года, опять беда, опять родился мальчишка. Получив о сем известие, императрица Елизавета в великой досаде изволила оный рапорт изорвать в клочки. «Престранная плодливость... Ну прямо крысы!» – воскликнула она.

Однако, родив Алексея, принцесса Анна захворала и в марте 1746 года «великою горячкою и волею Божьей помре». Елизавета ликовала: слава Богу, брауншвейгская семья пошла на убыль. Анатомированное тело Анны Леопольдовны прибыло в Питер, прямо в Александро-Невский монастырь, где почившая принцесса и погребена с почестями.

¹⁶ Бывшая Рязанская губерния.

В это время хворый от природы и недавно перенесший смертельные болезни – осложненную корь и оспу – великий князь Петр Федорович опять лежал больным. Елизавета, Екатерина, двор, иностранные послы предвидели, что в случае смерти Петра Федоровича неминуемо будет объявлен наследником престола все тот же принц-младенец, бывший император Иван III.

У великой княгини Екатерины Алексеевны при этих мрачных мыслях переворачивалось сердце, она четко понимала, что заточение Ивана есть причина ее личного благополучия. Она ко всему прислушивалась, присматривалась, мысленно одобряла все жестокое, прямо бесчеловечные действия Елизаветы по отношению к брауншвейгской фамилии и «несчастнорожденному» Ивану; она знакомилась с подробностями дворцовой революции, возведшей Елизавету на престол, и находила, что подобные перевороты не только возможны, но и легко осуществимы.

2

Время шло. Елизавета благополучно царствовала, полузабыв о заключенном подраставшем Иване. Петр Федорович развлекался игрой в оловянные солдатики, иногда пилил на скрипке, дрессировал свору собак и помаленьку пьянствовал, не забывая в то же время забавляться и любовными утехами, в коих чистосердечно каялся молодой своей жене.

Молодая жена Екатерина Алексеевна, подражая нареченной тетке, собственному мужу и высшему свету, точно так же предавалась влечению сердца, но в любовных утехх супругу своему не признавалась.

Сначала и впервые Екатерина увлеклась одним из трех братьев-офицеров, камерлакеем великого князя – Андреем Гавриловичем Чернышевым. Хотя это увлечение носило платонический характер, но тем не менее все три «продерзостных» брата были из Петербурга высланы. Заглядывался на Екатерину и молодой граф, гетман Малороссии, Кирилл Разумовский. В 1751 году она стала играть в любовь с веселым, умным камер-юнкером графом Захаром Чернышевым (участником прусской войны и однофамильцем Андрея Чернышева). Однако эта любовь продолжалась недолго¹⁷. На смену графу Чернышеву явился новый обожатель, блестящий камергер великокняжеского двора Сергей Васильевич Салтыков. Он был, по выражению самой Екатерины, «прекрасен, как майский день, никто с ним не мог равняться, даже при большом дворе Елизаветы». Поигрывая с ним в «любишь – не любишь», Екатерина по молодости лет дважды доигралась до беременности, но оба эти неосторожные случаи, которые держались в великой тайне, кончились преблагополучными выкидышами.

Вскоре Екатерину постигла третья беременность (не дознано, от мужа или от Сергея Салтыкова). И 20 сентября 1754 года она родила будущего наследника престола, Павла Петровича¹⁸.

Праздник для царствующего дома величайший. Он имел не столько семейное, сколько политическое значение. Начались пиршества, пушечная пальба, фейерверки, маскарады. Вопрос о престолонаследии, таким образом, разрешился вполне благополучно. Теперь не страшит Елизавету призрак изгнанника Ивана III. Теперь, даже в случае смерти Петра Федоровича, наследником престола будет объявлен не Иван, а новорожденный Павел. Теперь Елизавета может веселиться и спать спокойно.

¹⁷ Впоследствии были найдены 23 любовные записки Екатерины к графу, заделанные в стенку колокольни, в том селе Задонского уезда, которое некогда принадлежало графам Чернышевым. – *В. III*.

¹⁸ После рождения Павла Сергей Салтыков был отправлен в Гамбург в качестве полномочного посланника с запрещением возвращаться в Петербург. – *В. III*.

Но тут произошло нечто для «несчастнорожденного» Ивана совершенно трагическое. Попал в лапы страшной Тайной канцелярии тобольский посадский человек Иван Зубарев и на допросе под лютой пыткой показал: в 1755 году он ездил с товарами беглых русских купцов в Пруссию. Там его завербовали в прусскую гвардию и послали обратно в Россию, в раскольниковы скиты, с ответственным политическим наказом: «Уговори-де раскольников, чтоб сами склонялись к нам, пруссакам, и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу. Ты подай только весть ему, а мы в будущем, в 1756 году, подошлем к Архангельску корабли под видом купечества, чтоб выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то сделаем-де чрез раскольниковых старцев бунт, чтоб возвести Ивана III на престол. А как сделается бунт, то мы, пруссаки, придем-де с нашим войском к русской границе».

Узнав о столь опасном умысле Зубарева, Елизавета сразу лишилась сна, веселости и аппетита. И тотчас – высочайшее повеление: немедленно переправить Ивана в Шлиссельбург к вечному заточению в крепости. Сержант лейб-компании Савин вывез его в глухую ночь тайно от отца.

В Шлиссельбурге надзор за Иваном поручался капитану Шубину. В инструкции между прочим говорилось: «Кроме вас и прапорщика, в ту казарму никому не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог. Вам в команде вашей отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертной казнью, коли кто скажет».

«Узнику без имени» было в это время шестнадцать лет.

Шлиссельбургский каземат, где сидел Иван, узкий, длинный, пол каменный, стекла единственного окна закрашены белой краской. Кровать, ширма, стол, скамья, табуретки. В переднем углу образ богоматери, пред ним лампадка. На полке груда церковных книг в кожаных переплетах. Каземат плохо проветривался, солнце здесь никогда не бывает, затхлый полумрак, холодная сырость.

Узник среднего роста, тонок, волосы длинные, лицо необычайно бело, болезненно, нос большой, глаза окружены нехорошими тенями, в них временами гнев, но чаще они задумчивы. Кафтан, камзол, штаны грубого синего сукна, чулки темные, башмаки с пряжками, на каблуках подковы.

3

Идут годы. Наступает 1759 год. Узнику девятнадцать лет. Ежегодно на рождество и пасху к нему приходит священник, служит молебен. Узник прикладывается ко кресту, вопрошает с жаром:

– Скажи, отец, кто я?

– Раб Божий, – робко отвечает священник, торопясь уйти.

– Врешь, старик, врешь! – в безумии кричит узник. – Я принц!.. Я здешней империи повелитель... Стой, старик!

Но священник уже успел выскочить, вбегает сменивший Шубина капитан Овцын, с ним – прапорщик.

Узник бросается на них:

– Опять, опять игемоны?! Слуги ада... Кто я?

– Безымянный узник, – с волнением отвечает Овцын и пятится от наступающего на него страшного и жалкого Ивана.

– Палач... Молчи!.. Я разможду твою башку. Я задушу тебя!

– За сие ответишь, – возражает Овцын. – Тебе за это самому отсекут голову.

Глаза узника ширятся, рот открыт, перед узником встают воспоминания.

– Голову? – подавленно и тихо переспрашивает он. – Моя голова и так давно отрублена... Бедная голова моя... – Он вскидывает широкие ладони, стискивает ими виски и расхлябанно, шатаясь из стороны в сторону, идет к своей кровати, с грохотом отбрасывает ногой ширму, валится на кровать лицом в подушку и начинает выть, как зверь.

Офицер и прапорщик уходят, щелкает замок железной двери.

Сегодня первый день пасхи. Не торчать же Овцыну здесь, он ушел на обед к коменданту. На стол вскарабкались две мыши, лакомятся едой. Вой узника переходит в тихий плач, разрываемый истерическим повизгиванием. Отчаяние пресеклось тяжелым сном со стоном и бредом. Но вот к узнику возвращается сознание.

В полумраке седовласый солдат топит огненную печь, дрова трещат, стреляют золотыми, как звезды, угольками, желтое полымя, солдат курит трубку.

– Здравствуй, солдат!.. Христос воскрес!

– Воистину воскрес, – отвечает старик солдат, он стоит на коленях пред печкой, мешает кочергой дрова.

– А ты что нашептываешь там? Ты что это волхвуешь? Вы все, шептуны, смерти моей ищите... Вот я вам! – грозит узник пальцем. И затем – тихо: – Ты пошто, солдатик, уж который год не пускаешь меня гулять?.. Все гуляют, один я сижу.

– А вот и неправда твоя, – говорит старый хромой солдат, – здесь никто не гуляет, здесь все сидят... Вот и я сижу. Видишь?

– А пошто же в Холмогорах гуляют, я в окно смотрел?

– То в Холмогорах, а то у нас. Ты, парень, не равняй...

– А здесь что, здесь какое место?

– Тут трущоба, мил человек, – попыхивает трубкой солдат. – Буераки да болотина... Тут пень на колоду брешет.

– А как зовется это место? Далеко ль оно от Петербурга, от Москвы?

– Сие место зовется – пагуба... И ни Питера, ни Москвы отсель не видно.

– Врешь, солдат!.. Вижу, что врешь. Тебя тоже научили врать. А ты не ври, ты ведь старик – грех ведь... Я тринадцать ночей сюда ехал. А куда привезли меня вороги мои – не вестен я. Грех вам всем будет. Все станете в аду кипеть, а я, грешный, вкупе со Христом обрящусь. Вздуй, солдатик, фонарь: темно здесь, мыши... Я про себя в книгах вычитал, в апокалипсисе. И наречется имя ему «Иоанн»...

– Ха-ха, – как-то неестественно запорхал солдат стариковским смехом. – Попал в небо пальцем... Это ты-то Иоанн?..

– Дурак! Свинья! Пошел вон, дурак!.. Меня младенчиком от матери отняли, от отца... Я принц!.. Я император Иоанн! Вот уж стану царем, тебе голову ссеку! – Он вскочил, разорвал ворот рубахи, пал с разбегу на колени перед образом и, простирая руки к огоньку лампадки, кричал неистово и страшно: – Господи Иисусе Христе, спаси меня, спаси меня! Господи Иисусе Христе!!!

В последующее время узник вел себя особенно буйно: бросался с кулаками на капитана Овцына, швырял в него тарелками, бутылками, кричал: «Смеешь ли ты, свинья, меня унимать?.. Я тебя сам уйму!.. Я здешней империи принц и государь ваш!»

Глава XI

Мясник Хряпов. «Карету его величеству!»

1

В мае закончены все приготовления к походу в Данию. Верховые кони государя уже были отправлены. Петр на прощание кормил их сахаром, говорил: «Вы своими копытами будете топтать землю исконных врагов моих».

Кто же станет управлять Всероссийскою монархией в отсутствие царя? Простонародье, купечество и все жители столицы наивно ожидали, что замест царя будет управлять делами государства сама Екатерина. Однако все они просчитались: по проискам голштинских своих родственников, а также Романа Воронцова, отца Лизки-«султанши», учрежден особый совет во главе с принцем Голштейн-Бекским Петром. Опять голштинец, опять не любимый народом немчура.

В начале июня приехал из Ростова Великого в Петербург крупный огородник Андрей Иванович Фролов заключить сделку с двором на поставку овощей. Остановился он у земляка своего мясника Хряпова, что снабжал двор мясом. Поцеловались в обнимку, по-старинному, крест-накрест. Весь налитый жиром, красный, пыхтящий мясник сказал:

– Вот и добро, Андрюша, что прибыл вовремя: завтра праздники начнутся, три дня велено гулять. Царек наш, чтоб ему, мир с Фридрихом заключил... Слыхал?

– Слыхал, слышал... – ответил щупленький огородник. – Уж чего пакостней – война не кончена, а он с врагом мир заключает. Не в большом уме царек наш...

К обеду приехал в одноколке лакей царя – рыжебородый и плешивый верзила Митрич.

– Отпросился у царя-батюшки: «Езжай, говорит, Федор Митрич, разгуляйся». А теперь время летнее, топить печей не надо, знай ковры выбивай да у Лизаветы Романовны клопов шпарь... Должно, царь от голштинцев натаскал.

Митрич всегда под хмельком, дышит тяжело, с присвистом, говорит густым басом.

Вместе с гостями сели за стол хозяйка и трое детей мясника. Старшему, Мишке, одиннадцать лет. Но хозяин жену и детей из-за стола выгнал – пущай обедают в кухне, а здесь пойдут разные умственные речи, и бабе, а наипаче ребятам, нечего уши развешивать. Хозяйка надулась, дети, уходя, заплакали: и унижение при гостях, и зело хотелось им послушать, что будет сказывать весь обшитый позументами, весь в медалях плешастый дядя, уж очень занятно он рассказывает о дворце, о дворцовых людях и обычаях. Но хозяин стукнул кулачком в стол – и все исчезли.

Мясник Хряпов, крепостной крестьянин, плативший своему барину большой оброк, жил богато в собственном доме на Садовой, поставлял ко двору битую птицу, горы разных мясов, даже рыбу – иногда с тухлинкой, но чрез хорошую взятку и тухлинка благополучно сходила с рук: «Сожрут».

Щи были жирнушие, из миски вкусный пар, подавала жирнущая же баба Секлетинья в засаленном грязном сарафане с подоткнутым подолом.

Хотя день был будний, но весь Питер по приказу праздновал, лавки с обеда заперты, хозяин в шелковой рубаше, волосы смазаны репейным маслом, расчесаны на прямой пробор, свисают крышей. Из кухни несло чадом: Секлетинья и мальчишка на посылах Колька топили сало, разливали по плошкам: полицией велено завтра иллюминировать весь город.

Выпили смородинной по три стопки, похвалили, перешли на пиво. Секлетинья принесла жареной телятины. Мысли у приятелей взыграли, языки распоясались, потекла беседа.

Огородник Андрей Иванович подергал черную бородку и, поблескивая белыми зубами, начал:

– Я, други мои, ко Господу прилежен и владыку нашего ростовского Арсения¹⁹ чту, справедлив и дерзновенен. И как вышел царский указ мужиков с землей от монастырей отобрать, Господи Боже, что содеялось... Мужики бросились рубить монастырские леса, сено грабить, рыбу в святых прудах да озерах ловить... Арсений монахов выслал: «Братие, защищай Божье имущество». Куда тут!.. Мужики монахов так взлупили, едва ноги унесли: «Бей долгогривых по царскому приказу!» Вот вам, други мои, каков наш царь-государь...

– А-я-яй, а-я-яй, – изумился хозяин, отирая рушником взмокшее лицо.

– И собрал нас, почетных прихожан, митрополит Арсений на первой неделе великого поста в Белую палату. «Ну, говорит, православные, по милости нового царя нам, монахам, с голоду умирать. Например, говорит, воевода ростовский Петр Протасьев был распален указом царским, тотчас по всем вотчинам монастырским опечатал все житницы, оставив меня со всем духовенством без пропитания, всем нам идти нищими по миру. О-хо-хо, о-хо-хо... Да этак, братия, говорит владыка, и турецкий султан не поступил бы со своими подданными, как дозволил себе царь православный. О-хо-хо, о-хо-хо... Царь жизнь нашу приводит к στε-наниям и горестям...» Тут владыка Арсений прослезился, и мы все от мала до велика заплакали.

Хозяин-мясник, слушая земляка, тоже заплакал, затряс головой и засморкался в ручник.

– Я владыку Арсения знаю, я его знаю... Горячий, справедливый пастырь, – сказал он и предложил выпить с горя крепчайшей тминной.

Хозяин с огородником пили рюмками, Митрич пил стаканом.

– И вот, други мои, – опять заговорил Андрей Иванович, закусывая соленым, с чесночным духом, огурчиком, – и достает владыка из-под рясы бумагу и оглашает жалобу в Сенат, написанную по-латынски и по-русски зело умственно и плачевно. «Вот, говорит владыка-митрополит, сию бумагу острого и высокого рассуждения я завтра же отправлю с иеросхимонахом Лукою в Санкт-Петербург».

– Я хорошо вестен, что с сим старцем Лукою содеялось и как Петр Федорович его обласкать изволил, – прогудел красный от лихого питья царев лакей.

– Погодь, погодь, Митрич. Дай досказать, а ежели навру, поправишь. И вот, други мои, минуло с того времени два месяца. И возвращается из Питера наш иеросхимонах Лука чуть жив и докладывает митрополиту ростовскому Арсению: «Вручил, говорит, аз грешный оное прошение во царские его величества руци, припав к стопам его, в Сенате, весь генералитет тут был, и обер-секретарь с расстановкой то прошение огласил. Тогда его величество пришли в сугубый азарт, закричали на меня гласом велиим, затопали: „Вон! Вон, бородатый козел! В крепость! Молчать, молчать!“ Меня тут сразу из ума вышибло, покачулся и враспяжку на пол повалился. И закатали меня за сию бумагу острого и высокого рассуждения на шесть недель на хлеб и на воду в Невский монастырь под караул...»

Секлетинья поросенка с кашей подала.

– А ну, расскажи, Федор Митрич, как же государыня-то молодая, она-то что? Ведь ты денно-ночно возле царской семьи трешься, поди много знаешь. Не таись, люди свои...

– Много знаю, да мало болтаю, – приосанился Митрич, но пьяная голова его клонилась. – А кабы болтал, давно бы на каторге в Сибири был. – Он помолчал, покряхтел, для отрезвления понюхал табачку. Огородник с хозяином усталились в его уса́тый рот, ждали откровений. – Государыня тихо-скромно себя соблюдает, жительствоует от царя в особых

¹⁹ Знаменитый Арсений Мациевич, выступивший впоследствии против Екатерины и сосланный ею в заточение. – В. III.

покоях, а царь все с Лизаветой Романовной... Она привязала царя-то к себе, как коня к столбу. Все с ней да с ней блезир ведет...

– Блезир? Ишь ты, – прищелкнул языком огородник.

– А государыня по их пьяным куртагам не ходит, а сидит смирихонько да тихомолком дело делает.

– Тихомолком? Ишь ты...

Хозяин положил Митричу поросенка с кашей. Митрич тяжело задышал, расстегнул пуговицы штанов, принялся за поросенка.

– Да, да, – сказал хозяин. – А чем-то пахнет в воздухе таким-этаким... Быть смуте!..

Вот только как бы государыня не сплоскала да не угодила в монастырь.

Огородник перекрестился и вздохнул. Митрич сказал:

– Не в монастырь, а похуже. Мы-то все знаем... Слуги-то все тайности ихние больше царя знают, да молчат. Вот и я помалкиваю...

Хозяин лукаво усмехнулся, налил тминной.

– А ну, за великого молчальника, за Федора Митрича выпьем здравицу!

Выпили. Митрич, зажав в горсть бороду, таинственным шепотом сказал:

– Намеднись Лизка самого-то по щекам хлестала, три оплеухи нанесла... Ну какой же это, к свиньям поганым, царь? Бывало, Петр Великий, дедушка-то его, сам всех по зубам бил. Вот это царь!.. А этот хоть и внук, а дерьмо. Тот куст, да не та ягода. Дурак не дурак, а захлебнувшись.

– Царь! Царь! – слышались на улице резкие выкрики.

А в комнату ворвались ребятишки!

– Батеньки! Царя везут!

Все бросились к окну, распахнули настежь.

2

– Эвот, эвот Корф катит, генерал-аншеф, полиции начальник, – тыча пальцем в пролетевшую тройку, пояснил мясник Хряпов. – А с ним рядом на лошаденке скачет евонный адъютант Болотов, большого ума барин.

За Корфом пронеслась другая тройка, за ней третья – пыль столбом, вслед им взвод конных голштинцев, затем на паре гнедых в открытом лакированном экипаже Петр с Елизаветой Воронцовой, следом за ними еще две тройки с девицами и хохочущими офицерами, сзади опять взвод голштинских драгунов на чистокровных скакунах. Драгуны в светло-голубых с белыми отворотами мундирах и в больших с крагами перчатках формы Карла XII. По обеим сторонам всполошившейся улицы бежал простой народ, громко крича кто «ура», кто «дурак»; в воротах, на перекрестках, одеваемые облаками пыли, тоже толпились праздные зеваки. Вдруг веселый шум толпы покрыла пронзительные озорные голоса:

– Эй, Лизавета! Не на свое место уселась!

– Ура Катерине Алексеевне!.. Ура!!!

– Глянь, братцы!.. Новая государыня... Царская пресуха...

– Га-а-а!!! А подать сюда!.. – вопила конная полиция, надвигаясь на толпу. – Где крикуны, где они?.. Га-а-а... – улыбаясь во все лицо, не страшно грозили полицейские нагайками.

– Ура-а!!! Ура!.. Дура-ак!..

Но все промчалось, прогремело, все заволокло плотной тучей пыли. Только собачий лай стоял да кибитка протарахтела сзади. На кибитке подпрыгивает сундук, в нем что-то брякает, как сухие кости. Возница, надвинув шляпу на глаза, постегивает лошадеенок и свистит.

– А это наш Наумыч, – продирая осовелые глаза, мычит пьяный Митрич. – Глиняные трубки за царем везет. Для раскури, значит. А царь поехал на веселую пирушку к дяде за город...

– К принцу Жорже?

– Пошто к Жорже... К Петру Голштейн-Бекскому... У царя дядьев-крохоборов не обери-бери...

Хватаясь за стены, Митрич едва дополз до дивана, повалился и заснул.

Хозяин сел к столу, спросил огородника:

– На много ль тысяч сделку с двором ладишь повершить?

– Да тысяч десятка на полтора, а то и больше. Ведь я первый раз здесь. У меня на огородах капуста, лук, огурцы, морковь. Да вот второй год к кофеям цикорий развожу, уродился добрый. А огороды у меня огромные...

– Доведется тебе, землячок, тысчонку на смазь в дворцовой конторе выбросить, как говорится, барашка в бумажке.

– Ой... А где мне взять?..

– А ты думал как? Ты еще, брат, вижу, не напистерился, голенький. Я дам, ежели нет. – Хозяин принес в мешочке золото, положил на стол гербовый вексельный лист. – Вот тебе тыща, пересчитай. А теперича давай вексель на тысячу двести. А ты думал как? Нет, я вижу, ты вовсе даже не напистерился, плохой из тебя купец будет, плохой... И еще вот чего, друг: празднички мы с тобой погуляем, условие с дворцовой конторой заключишь да гони-ка ты опять в свой Ростов, сколачивай-ка всех огородников тамошних в один кулак, вроде как артель за круговой порукой. Я тебе помощь окажу большое дело заварить, чаю – вы меня апосля отблагодарите.

– Какое ж дело-то, Нил Иваныч?

– А вот какое дело: на всю армию и флот соленые огурцы да рубленую капусту заготавливать, да грибы соленые, да яблоки моченые, дело прямо стотысячное. На всю армию и флот! Чуешь? А то дворянчишки из своих имений доставляют... Надо их нашему брату всех взять под ногу: купцам торговать, дворянам служить да войну вести... Чуешь, где ночуешь? Ха!.. Я четверых дворянчиков – мясом было вздумали торговать, нас, мясников природных, хотели сковырнуть, а на-ка выкуси, – я их всех в трубу пустил, сам едва в долговую яму не попал, да Никола-угодник спас, а их всех без порток оставил!

Хозяин захохотал; глядя на него, несмело засмеялся и гость.

– Ну, милай, – расчувствовался хозяин и обнял гостя. – Я мужик, ты из голытьбы посадской, а вот теперя кто мы с тобой? Купцы мы!

– Так, так, Нил Иваныч, купцы.

– Я чаю, многие из мужиков ныне в купечество пойдут. А не пойдут, дураки будут, बारे задавят их капиталищем своим, хоть хозяева они никудышные, зато капиталов много. Вот в чем суть. А мужик али, допустим, какой посадский головастый человек, он с умом, он с опытом и работать умеет. Вот уж я тебя с моим закадычным другом Барышниковым сведу... Вот хват!.. Ну и хват!.. – И хозяин пересказал гостю мошеннический случай с селедками и золотом.

– Да неужто?!

– Уж поверь!.. Сам-то он не говорит, а слушок-то катится. Ныне две лавки имеет, Барышников-то, да трактир. Ужо сходим. Секлетинья! Полпива жбан, да пушай хозяйка выйдет сюда.

На диване блаженно похрапывал упившийся Митрич.

3

Государя встретил у подъезда шестидесятипятилетний фельдмаршал принц Петр Голштейн-Бекский со своими адъютантами-голштинцами. До прибытия царя в зале стояло у всех угнетающее чопорное настроение: принц Петр с семейством помешались на этикете и придворных приличиях. Но появившийся в зале узкоплечий царь с детским лицом и задорным блеском в выпуклых глазах сразу сбил и спесь и этикеты.

– Здравствуйте, господа! – крикливо поздоровался он, вбегая в залу. Все изогнулись в низком поклоне. Дамы стали приседать. Кавалеры вместе с Гудовичем и трое толстобрюхих – старый князь Никита Трубецкой, голштинцы: генерал Шильд и полковник фон Берг – окаменело стояли навтыжку. – Фэ! Духами воняет, как в аптеке. Теперь время военное, господа. Медам, прошу садиться. Гудович, трубку...

И несколько десятков голландских глиняных трубок, привезенных императором, быстро задымили. Даже те, кто сроду не курил, неумело набив трубки кнастером и другими табаками, в угоду царю тоже зачали, перхая и покашливая. В зале стало как в харчевне. Голштинские мужланы то и дело поплевывали сквозь зубы на ковры, им стал подражать и царь. Густые клубы дыма заволокли пространство. Дамы отмахивались веерами, утыкали носы в раздушенные платочки. А царь, как журавль, расхаживал ко комнате, больше всех дымил, улыбался, похохатывал:

– Прекрасно, прекрасно. Воин обязан курить. Все должны курить, включая женщин... Да, да, медам! Я опубликую указ... С некурящих мужчин – штраф, с хорошеньких женщин – фанты... – он шутил то с тем, то с другим, старца Никиту Трубецкого похлопал ладонью по тугому животу: – Плохо, князь, на экзерцициях стараешься, жиру много... Как на войну с Данией пойдешь? Медам, позвольте отрекомендовать! – возгласил царь, подталкивая чрез табачный туман только что вошедших девиц в крикливых нарядах. – Вот плясунья Полина, исполнит зондер-танец, вот беленькая попрыгунья Каролиночка, по канату, как по плац-параду, ходит... Лутче князь Трубецкого... Вот Мэри, вот Лизетт...

Развязные девчонки, подпрыгивая и посмеиваясь, приседали, вздергивали обнаженными плечиками. Дамы, брезгливо морщась, осматривали их в лорнеты, но сквозь дым было плохо видно.

– Откройте окна. Ради Бога! Этак задохнуться можно, – зывали дамы.

Окна распахнули. В сад повалил дым, как из горящего здания. А трубки попыхивали и попыхивали; особенно старались brave голштинцы – их человек двадцать – и сам Петр.

В этой бесшабашной обстановке чванливый хозяин чувствовал себя подавленно. Хотя он и привык к беспечным фривольностям царственного своего племянника, но... помилуйте... на что это похоже?... В его вельможные палаты затесались какие-то крашенные девки, какие-то... какие-то... О позор! Впалые щеки его покрыл нервный румянец, губы дрожали. Он растерянно взглянул в набеленное лицо добрейшей своей, расфуфыренной в пух и прах старой принцессы – полуфальшивые бриллиантовые серьги мастера Позье тряслись в ее оттопыренных ушах, она, лицемерно и болезненно улыбаясь немилым гостям и императору, тоже мучительно страдала. Принц незаметно перевел ревизующий взор в сторону иностранных дипломатов. Министры – английский Кейт и прусский Гольц – неотрывными взглядами следили за пустоцветом-царьком, изредка перебрасываясь между собою сухими короткими фразами и двусмысленно подмигивая один другому.

Принц все более и более омрачался.

По блестящему паркету, по турецким коврам неслышно подскользился к нему обер-лакей в разноцветной, как павлин, одежде.

– Ваша светлость, стол готов.

Принц приблизился к царьку.

– Государь, рад просить ваше величество и всех любезных гостей отужинать, – громко проговорил он с кислой улыбкой.

Царь, ничего не ответив, швырнул трубку в хрустальную с бронзой вазу.

Величаво подшагав, гремя шпорами, к Елизавете Романовне, принц с изысканной простотой предложил ей руку и вопросительно посмотрел на императора. Тот было направился к старой принцессе, чтоб в первой паре открыть шествие в столовую, но вдруг передумал, торопливо забежал вперед, повернулся лицом к строившимся парам, трижды ударил в ладоши.

– Медам, мсье! Я церемоний не терплю. Стол брать штурмом. Места захват!.. Кто где, кто где... Бегом, марш! – и, подпрыгивая на негнувшихся ногах, побежал через комнаты в столовую, за ним стадом вся толпа.

Толстобрюхий князь Никита Трубецкой, рискуя мгновенно кончить жизнь апоплексическим ударом, страшно пыхтя и сразу вспотев, прибежал к столу вслед за царем вторым.

– Здесь, ваше величество! – радостно отрапортовал он, задыхаясь.

– Молодец, князь... Садись рядом!

Стол взят штурмом. Комедиантки, итальянские певицы и танцоры с наскока усаживались возле довольного царя. Грузная Елизавета Романовна, раскачивая наливными плечами, прибежала последней, и ей не было места.

– Гудович, встань! – скомандовал царь. – Романовна, садись. Гудович, стой сзади нее...

– Срам, срам, – шептались дамы Трубецкая, Разумовская, Строганова, Брюс и другие, – с кем это он нас посадил, в какой компании?.. Комедиантки и какие-то цирюльники... Фи...

– Медам! – услышал чутким ухом Петр. – Среди женщин нет чинов... Все равны, все равны.

Взглянув на прусского посланника Гольца, император встал, и все вскочили.

– Прошу поднять бокал за мой камрад великого Фридриха. Ура-а! Репнин, я назначаю тебя министром-адъютантом его величества короля Фридриха! Волков, издать о сем указ!

Князь Репнин и Волков поклонились.

Началось пьянство и обжорство. Скуповатый хозяин принц Петр с тоской посматривал на шумную ватагу прожорливых комедиантов: голштинцы, девчонки и танцоры поглощали снесь и пития с аппетитом голодной саранчи.

Веселый ужин, весь в смехе, болтовне и выкриках, тянулся довольно долго. Почти все гости, кроме фельдмаршала Миниха, кроме хитрого, все подмечающего Гольца и некоторых чопорных дам, были довольно пьяны; даже у старца Никиты Трубецкого по-хмельному отвисла нижняя губа. Стоявший за государем острослов и шутник Строганов усердно подливал в бокалы царю и князю Трубецкому.

– Пей, дедушка, пей, – гримасничая и подмаргивая правым глазом, понуждал взбалмошный гуляка-царь своего несчастного соседа.

Шум и гам – как в базарной харчевне, где гуляют дорвавшиеся до водки ямщики.

Царь своим пронзительным криком покрывал все голоса, он нес несусветную ахинею, мысли его путались, были сумбурны. Впрочем, его почти никто не слушал.

– О мой Фридрих! – кричал он, путая немецкую и русскую речь. – Мы скоро с тобой встретимся... Дания будет бита! Я еще юношей с отрядом карабинеров разогнал становище богемских разбойников... Ах, вы не верите?

– Не богемских разбойников, ваше величество, а табор мирных цыган, – возразил ему из хмельного тумана резкий чей-то голос, похожий на голос австрийского посла.

– Молчать, молчать! – и царь, сердито гримасничая, стал совать девчонкам в нос перстень с портретом Фридриха. – Целуйте, поклоняйтесь!.. Встать! Впрочем... вольно. Романовна!.. В Ораниенбаум. Актеры, медемуазель! В Ораниенбаум!.. Вы услышите там в моей

персоне неплохого скрипача. Полина, Лизочка! Ха-ха-ха... Царь ваш ох! —мелел, ох! —мелел...

— На воздух! В сад... Здесь так накурено, такая духота!

— Ваше величество, ве-великий государь, — покачиваясь и посовываясь носом, склонился перед царем изрядно подвыпивший кутила Роман Воронцов. — Соизвольте проследовать в сад... Там чи-чистый воздух... и... и... белая... (Воронцов громко икнул) белая ночь... ваше величество, — он, как теленок, облизывал толстые губы, и выпуклые глаза его были глупые, телячьи.

Куранты, вызванивая наивный серебряный мотивчик, пробили двенадцать. Объевшиеся гости, пытая и шатаясь, повалили чрез веранду в сад. Впереди, повиснув на плече Строганова, потешно семенил пьяный император.

4

В тихом воздухе застыла белая невиская ночь. Небо на западе было еще нежно-палевым, с перламутровым отсветом. Отраженные лучи давно закатившегося солнца еще блуждали в онемевшем пространстве. Весь небольшой загородный сад, огражденный чугуной решеткой, наполненный дремавшими деревьями хвойных и лиственных пород, с затейливыми коврами цветников, с немудрыми гипсовыми статуями, с пересохшим фонтаном, с прямолинейно расчерченными желтыми дорожками — напоминал собою живую акварель изысканного вкуса. Чем-то хрупким, к чему нельзя грубо прикоснуться, а можно лишь благоговейно созерцать, казался этот милый уголок, пронизанный задумчивым светом прозрачных северных небес. Блаженный покой и тишина.

И, разрывая эту тишину, попирая топотом веселых ног, крикливыми возгласами, пьяным смехом, визгом, ватага царедворцев сразу вдребезги разбила, как драгоценный сосуд тончайшего стекла, эту невискую чудодейственную ночь и, разбив, стала грубо топтать ее осколки.

Очумелые гости, вытаращив посоловевшие глаза, шатались по широкой дорожке, охваченной бордюром подстриженных кустарников. Винные пары на свежем воздухе пуще ударили в мозг и в ноги. Пьяные люди вскоре перестали соображать, где они, с кем они, и, поощряемые самим императором, который гундосо покрикивал: «Без церемоний, господа, без церемоний!» — распоясались вовсю.

Трое Нарышкиных (придворный шут Лев Нарышкин успел нарядиться кормилицей) ударились в пляс, падая и сминая цветочные клумбы. Приплясывали и барыни, жеманно придерживая концами пальцев свои платья; однако хмель бросал их в стороны; они с хохотом валились в объятия молодого генерала Мельгунова или подвернувшихся голштинцев. Гудович залез на березу и каркал вороном. Гости гонялись друг за другом и за визжавшими актерками (царь по-немецки поощрял: «Хватай девок, хватай девок!»), бесцеремонно поддавая один другому коленом киселя, играли в чехарду, издевались над толстобрюхим князем Никитой Трубецким: два голштинских молокососа Ланг и Грин с лошадиным ржаньем свалили князя на дорожку и под хохот нахалов стали загигать ему салазки.

Охмелевший старик в возне чуть не умер; весь испачканный песком, он крикнул голштинцам: «Мерзавцы, прочь!» Едва дополз до скамейки и, обхватив голову, заплакал: «Оскорбляют. Такое унижение... Я князь! Я древнерусский князь, мерзавцы». Седая голова без парика тряслась, бежали ручьем слезы, утирался обшлагом кафтана и с ненавистью бросал взоры в сторону царя.

Гримасничая и подмаргивая правым глазом, предоставленный самому себе, царь, подсаженный шутлом Нарышкиным, кой-как вскарабкался на кирпичный пьедестал с солнечными часами и, став в позу триумфатора, резким голосом кричал:

– Остригу бороды всем попам! Иконы вон!.. Мы с братом Фридрихом завоюем весь мир!.. Воля Фридриха – воля Божья... Молчать, молчать! Где Гудович?

– Здесь, ваше величество! Карр... Карр...

– Гудович! Скачи в Петропавловскую крепость... Салют из всех пушек... Преклоняйтесь, все преклоняйтесь... Канальи, мизерабли, разбойники, разбойники, русские подлецы... – Он выхватил длинную шпагу, покачнулся и упал.

Отделившись от группы трезвых и сказав: «Пардон, пардон», к царю пошагали долговязый принц Петр и фельдмаршал Миних, чтоб как-нибудь затушевать это постыдное зрелище. Напересек им, чуть не опрокинув Миниха, промчался за девчонками пьяный голштинский ротмистр Витих, он улюлюкал и лаял по-собачьи. В тон ему Гудович каркал с березы вороном. Два голштинца – фон Берг и майор Стефани, обхватив одно и то же дерево и столкнувшись лбами, мерзко очищали желудки. Гофмаршал Измаилов на веранде прямо из горлышка тянул вино.

Жалкий царь, впавший в охмеление и всеми забытый, сидел на земле, вытянув негнувшиеся ноги; он припал спиной к пьедесталу, опер ладони о землю, свесил голову на грудь и что-то бормотал. Шпага валялась возле. На царя никто не обращал внимания, даже Елизавета Воронцова. Оливкового цвета широкое лицо ее покраснелось, оспенные рубцы выступили ярче, она откалывала трепака с тайным секретарем красавцем Волковым. Упившийся Мельгунов лежал пластом в кустах и охал. Разгульный Роман Воронцов, сбросив кафтан, затеял борьбу с Нарышкиным, он свалил Нарышкина, и оба они, взлягивая ногами и пыхтя, впереверт катались, орали, превращая цветущую картину в грязь. Шум, крики, визги, беготня. В беседке бесшабашно наяривала музыка.

– О, милый мой дядя, спаси меня, спаси меня, – простонал император навстречу принцу. Он силился приподняться, побледневшее лицо исказилось скорбной гримасой, в его неустойчивой душе – трагический разлад и чувство страха. – Да, да, меня убьют здесь, в этой стране... Проклятая, ненавистная Россия. Дядя, спаси меня, спаси, спаси...

– Что за вздор! Любезный мой мальчик! Ты вернешься победителем из похода в Данию. Царствование твое будет из славных славное...

Вместе с Минихом и подбегавшим Александром Шуваловым они бережно поставили царя на ноги, кой-как отряхнули его запачканный мундир, поправили сбившийся парик, вложили шпагу в ножны, повели. Из голенищ царских ботфорт торчали анютины глазки с резедой. Предупрежденная, беззаботно подковыляла толстуха Елизавета Воронцова. Досадливым голосом спросила:

– Готов, Пьер?

– Как видишь, Романовна... Готофф, готофф. Гудович, трубку!

– Карету его величества! – скомандовал принц Петр.

– Карету его величества! – подхватил команду начальник полиции Корф.

– Карету его величества!!! – прокричали два лакея и бросились к конюшням.

На террасе, в каменной позе, с окаменавшим лицом стоял прусский посланник барон Гольц. Губы его кривились, глаза презрительно шурились.

– И это русский император, – с холодной надменностью бросил он в воздух.

А сидевший рядом с графиней Брюс английский министр Кейт сказал ей:

– Послушайте, графиня, да ведь ваш император совсем сумасшедший. Не будучи безумным, нельзя так поступать, как он поступает... Всех этих голштинских солдафонов следовало бы повесить на дереве. О, позор...

– Бедная Екатерина, – вздохнув, тихо сказала Брюс и потупилась.

– Смею просить вас, графиня, передать ее величеству мое отменное, наилучшее почтение.

Звуки бубенцов и крики «ура» возвестили об отъезде государя. Вся вельможная знать, пошатываясь, поддерживаемая лакеями, помаленьку разбрелась к экипажам. Принц Петр, высокий, испитой и тощий, вместе с лакеями и взводом гренадеров лично хватал за шиворот пьяных голштинских офицеров, кричал солдатам:

– Таскайте их вон, валяй на рюска телег, вози прямо гауптвахт! Шволочь...

И опять кричал:

– Девка, девка, актерка и вся шволочь – вон, вон! Взашей!

Сад опустел. В гостинной, прижавшись к плачущей принцессе, лила слезы ее юная дочь. Обе они оплакивали саксонскую и севрскую побитую посуду, истоптанный, как табуном коней, сад.

– О варвары... о варвары...

Глава XII

Умная «дура». Гвардия гуляет

1

Трехдневные торжества начались 9 июня благодарственным молебствием во всех церквях. Здания украшены прусскими и российскими флагами. На Дворцовой площади государь произвел осмотр гвардейским и полевым полкам, поздравил войска с русско-прусским миром. Прогремели салюты из пушек и ружей. Войска и сбегавшиеся народные массы царское поздравление приняли холодно. Народ, как обычно, «ура» не кричал, шапок вверх не бросал, стоял молча.

Никита Трубецкой в церкви и на параде отсутствовал: лежал дома, страдал от вчерашней оскорбительной пирушки.

Петр тоже уныл, не оживлен, чувствовал на душе горечь. Предстоящий отъезд на войну, свидание с Фридрихом и перспектива триумфального возвращения с поля брани сегодня не радовали его. Уверенность в грядущих своих успехах в нем заколебалась. Пытливо, с внутренним трепетом он всматривался из-под полей большой, надвинутой на глаза треугольной шляпы в суровые лица проходивших мимо него гвардейских полков. Сердце его замирало. «Да, да, они янычары... Настоящие янычары. К черту гвардию, распустить гвардию, вывести из столицы вон – и, может быть, правы Фридрих и Гольц, указывая мне, что я окружен врагами...»

Он возвращался домой в золоченой карете один, твердил вслух:

– Этот день будет для меня несчастьем. Проклятая страна... Боже, убереги меня от врагов, не отнимай из моей жизни мою Романовну. Боже, уничтожь, унизь Екатерину.

Прибыв во дворец, он с какой-то фатальной нежностью бросился обнимать Елизавету Воронцову, он весь дрожал, озибался, гримасничал, нервно шептал:

– Романовна, Романовна... Друг мой... Спаси меня, побереги.

Императрица Екатерина сегодня чувствовала себя тоже не в своей тарелке: болела голова, шалили нервы, она была внутренне возбуждена, но старалась казаться спокойной.

– Итак, ваше величество, – начала тихо, по-французски, Екатерина Романовна Дашкова, – уже многие приготовления, благодаря моему неусыпному старанию и помощи друзей моих, приходят к концу.

– Какие приготовления, к чему приготовления? – с лицемерным неведением приподняла Екатерина черные брови.

– Ваше величество! – обиженно воскликнула Дашкова. – Но ведь события близятся, все готово...

– Вы долго, мой друг, будете одержимы пророчеством? – Екатерина скрашивала свои колкие слова обольстительной улыбкой, нюхая букетик резеды. В закулисных политических делах Екатерина была осведомлена в десять раз лучше Дашковой. Но молоденькая Дашкова, имея в руках кой-какие нити борьбы придворных партий, наивно воображала, что именно она, а не кто-либо другой, есть главная пружина «заговора» в пользу Екатерины, пред которой она преклонялась горячо, искренно и страстно.

– Вы столь неопытны, что роль дельфийской Пифии вам не к лицу, мой юный друг, – продолжала государыня. – И напрасно вы берете на себя роль Сибиллы.

Тщеславная, болезненно самолюбивая Дашкова была потрясена пренебрежительным отношением к ней Екатерины. Широко открытые глаза увлажнились, она всплеснула руками и подалась всем корпусом к Екатерине.

– О, ваше величество! – воскликнула она трагическим шепотом. – Вы все еще продолжаете мне не доверять... Но знайте, что...

– Именем Бога умоляю вас, княгиня, – перебила ее Екатерина, – не подвергайте себя опасности... Если б вы из-за меня потерпели несчастье, я вечно буду жалеть...

– Ваше величество! Как бы ни была велика опасность, она вся упадет только на меня. Если б моя беззаветная любовь к вам привела меня к эшафоту, верьте, вы не будете его жертвой...

Екатерине ничего не оставалось, как притянуть к себе Дашкову, поцеловать ее в лоб и сказать ей:

– Ну что ж вы, друг мой, знаете? Я рада выслушать вас... Только ради Бога – тише... Каждая дверь, каждая маленькая щелочка – это большое ухо.

Боясь, как бы ее не оборвала Екатерина, и подавив в себе вздох обиды, княгиня Дашкова заговорила взволнованно и быстро. Она дважды имела свидание со своим дядей Никитой Паниным, она сообщила ему, что составлен комплот с целью свергнуть Петра и возвести на престол Екатерину. Панин поддакивал, соглашался, говорил, что другого средства спасти Россию нет, но высказывал опасения возможных междоусобий. (Красиво очерченные глаза Екатерины едва заметно ухмыльнулись: она не могла себе представить более разительного контраста, чем молоденькая пылкая Дашкова и медлительный, чрезвычайно осторожный Панин.) Затем Дашкова, все более возбуждаясь, перечислила и заговорщиков: Репин, Ласунский, Пассек, двое Рославлевых, Бредихин, Орловы и другие. (При упоминании об Орловых сердце Екатерины забилося чаще.) Ну вот, например, она разговаривала на ту же тему с некоторыми молодыми офицерами, сослуживцами ее мужа, – офицеры совершенно соглашались с ней, называли своих товарищей, тоже согласных действовать, как только император уедет к заграничной армии. Ей хотелось бы привлечь к заговору и гетмана Разумовского, она думает переговорить об этом с Мельгуновым...

– Удивительные новости вы, мой друг, сообщили мне, – кусая кривившиеся в усмешку губы, прервала ее Екатерина. – Я не ожидала, что вы такая... такая отважная.

– Ваше величество! Будьте готовы. Время близится. Момент может наступить внезапно. А мною все сделано, все нити заговора в моих руках...

– Но мне сдается, что у вас нити не от заговора, а от разговоров. А сие, мой друг, не одно и то же. Итак, Кэтти, будьте сугубо осторожны, умоляю вас.

Слушая мелодичную болтовню подруги, Екатерина внутренне улыбалась: прежде чем княгиня Дашкова услышала первое слово о возможности переворота, Екатерина уже в продолжение шести месяцев, с момента воцарения Петра, лично сносилась со всеми главными лицами ожидаемых дворцовых событий, но она вела опасную игру необычайно скрытно, не оставляя ни малейших подозрений не только в русских царедворцах партии Петра, но даже в проницательных хитрых всезнайках – иностранных послах.

Не в силах разгадать тайных дум Екатерины, княгиня Дашкова чувствовала себя подавленно, как маленькая девочка перед строгой тетей.

Прогремел полдневный выстрел пушки. Вошла горничная Катерина Ивановна.

– Ваше величество, мсье Мишель ожидает вас к туалету...

2

Через два часа Екатерина и княгиня Дашкова присутствовали на парадном обеде. В большой дворцовой зале сервированы столы на четыреста персон. За «высочайшим» столом – в середине, на своем обычном месте, Екатерина, на конце стола – Петр, рядом с ним барон Гольц, дальше – вельможи первого ранга с женами, иностранные послы, Елизавета Воронцова и родственники царя – голштинские принцы Георг и Петр. Царь трезв, но не в духе. Он бросал уничтожающие взгляды на Екатерину. Она старалась казаться спокойной, расточала соседям очаровательные улыбки, но душа ее вся во мгле.

Царь предложил три тоста: за императорскую фамилию, прусского короля и мир с Пруссией. Дежурные офицеры закричали по коридорам, по лестницам, до самой улицы: «Салют, салют!» Уличный часовой, задрав голову, крикнул махальщику на крыше: «Салют!» – махальщик взмахнул крест-накрест двумя флагами, с крепости загревели пушки.

Все поднялись, поднялся и Петр. Сидела лишь Екатерина, она отхлебнула шампанского и поставила бокал. Все прокричали «ура», выпили, сели. Царь сразу вскипел, в бешенстве стал гримасничать, кривить губы, приказал стоявшему сзади его кресла дежурному генерал-адъютанту Гудовичу:

– Андрей Васильич, сейчас же спроси ее величество, почему она не потрудилась подняться, когда пили здоровье императорской фамилии?

Гревели пушки, дзинькали стекла в окнах и хрусталь на столе, играл на хорах оркестр. Выслушав Гудовича, Екатерина опустила глаза и с твердостью сказала:

– Передайте его величеству, что, по моим соображениям, императорская фамилия состоит из его величества, меня и нашего сына Павла, посему – требование императора, чтоб я вставала, кажется мне бессмысленным.

За столом гудел шум, разговоры не прерывались, но все сразу подметили что-то неладное и навестили слух.

Гудович, подойдя к Петру, доложил ответ государыни, елико возможно смягчая стиль ее выражений, Петр завертел головой во все стороны, пальцы левой руки трепетали, правой судорожно комкал салфетку.

– Передай ей, что она дура. Она должна знать, что к императорской фамилии принадлежат и мои дяди, принцы Голштинские... Дура она... Ступай!

Гудович, пожав плечами и изменившись в лице, нога за ногу направился к государыне. А царь, поймав горящий взгляд Екатерины, вдруг через весь стол крикнул ей:

– Дура!

Разговоры и звяк серебряных ножей и вилок на мгновение пресеклись. Грубое слово упало, как камень, как грязный плевок. Всем стало крайне неловко. Барон Гольц хмуро поморщился. Все подняли головы, безмолвно вращая глазами от Петра к царице. На мгновение – немая картина. Но воспитанность высшего общества сразу сбила неловкость молчания – снова шум, разговоры, манерность и шуточки, гости ловко прикинулись глухими ко всякого рода «высочайшим» вульгарностям.

Однако все ждали скандала, все в страхе готовились к дальнейшему гневу царя, как бы царь не обрушил гнев на их головы. Всяко бывает...

Царь резко схватил граненый графин бургундского, налил в фужер и с жадностью выпил. Жидковолосые брови его скакали вверх-вниз, глаза то презрительно шурились, то вдруг выкатывались в приступе иступления, в горле переливались хрипы нервного удушья.

– Александр Сергеевич, – обратилась царица к стоявшему за ее креслом графу Строганову, глаза ее покрыты слезами, уши пылают, на щеках красные пятна. – Потешьте меня чем-нибудь веселеньким. У вас такой изобретательный ум... Я вас прошу.

Массивный Строганов неуклюже согнулся, деланно осклабился.

– Был такой, ваше величество, казус, занесенный в скрижали амурных походов французских пейзажей. Однажды, лунной ночью, молодая прекрасная пастушка наткнулась в поле на спящего полуодетого юношу...

Екатерина чрез силу смеялась, но слезы скандально крупнели, падали в блюдо вкусных воздушностей. Остроумный шутник вел анекдот на французском наречии. Откровенные непристойности он облачал в столь изящную форму, что они, теряя цинизм, звучали пикантно и вызвали дружный смех соседей Екатерины.

Слегка опьяневший Петр, справившись с приступом гнева, стал болтать своему соседу Гольцу всякую несуслазницу, восхвалял себя и Фридриха, говорил о собаках, о своей знаменитой скрипке работы итальянца Гваданини, о том, что Иван Антонович сошел с ума и живет за крепким запором, что он, император Петр III, ничуть не боится один гулять пешком даже ночью по улицам города, что он досконально изучил прусскую военную тактику и берется в любой момент разбить французского полководца де Сент-Жермена. Бросая эти бессвязные фразы, сам все косился на говорливого Строганова, бормотал себе под нос: «Молчать, молчать, обезьяна!» Пил вино, чокался, пил, затем стал хохотать по-солдатски, раскатисто. Гольц все больше и больше мрачнел, морщился, с горечью думал: «Шут не может долго оставаться на троне».

Обед закончился. Хор солдат орал под окнами походные, с присвистом, песни. Царь, удаляясь в покои, приказал князю Барятинскому арестовать Екатерину, а Строганова немедленно выслать в его загородный дом. Барятинский растерялся. Он бросился к принцу Георгу, умоляя его как-нибудь исправить столь невероятный приказ об аресте царицы.

Рыжий и толстый принц Георг, не менее пьяный, чем император, шумно вломился в царские покои и, не обратив внимания на полураздетую Елизавету Воронцову, шмыгнувшую за китайскую ширму, сразу накинулся на племянника:

– Прошу тебя, милый Пьер, тотчас же отменить постыдный приказ об аресте жены.

– Ни-ког-да...

– Этой глупостью ты губишь себя и... нас всех...

– Как ты осмеливаешься мне это говорить? Мне, императору? Молчать! Руки по швам!..

– Любезный Пьер... Брось глупости. Я говорю с тобой как отец. Ты только подумай, если еще на это способен, что ты наделал? Что скажут про тебя иностранные посланники?

– Пусть только пикнут, я в пять минут вышвырну их за пределы России...

– Так может рассуждать только помешанный или от природы слабоумный... А Гольц? О-о, что он напишет великому Фридриху?

– Молчать! Все письма Гольца перлюстрируются моей канцелярией, Александром Шуваловым... Гольц – мой друг...

– Ты хочешь, чтобы завтра же вспыхнул в столице бунт? Ты этого хочешь? Ты, верно, забыл про шлиссельбургского узника? Так я тебе напоминаю о нем. И я не уйду отсюда, пока ты не отменишь свой дурацкий приказ.

– Старый баран! – скакнул Петр к дяде и выхватил свою огромную шпагу. – Сатисфакция, сатисфакция!

Принц отпрянул к печке, закричал:

– Спасите от этого пьяницы!.. Эй, слуги! – и тоже обнажил шпагу. Их шпаги со звяком скрестились.

– Я снесу с плеч твою глупую башку! – кипел принц, пуча глаза.

– А я разрублю тебя пополам, как полено! – с хрипом выплевывал царь.

Но обе шпаги были совершенно тупые, ими можно лишь действовать как палкой. Елизавета Воронцова, накинув халат, визжала: «Пьер, Пьер, оставь!.. Ваша светлость!» – и, схватив Петра, как за хвост, за фалды мундира, тянула его прочь; царь, пыхтя, отлягивался. Междрачунами упал на колени рыжебородый плешистый верзила Митрич и завыл заполошным, как старая баба, голосом:

– Не допущу, вот те Христос, не допущу! Да лучше я сам себя зарежу... Вот те Христос, зарежу!.. Ваше величество!.. Ваша светлость! Миленькие... Поцелуйтесь...

Бабий вой хмельного великана был столь дик, а бородатое, искаженное ужасом лицо его столь потешно, что оба задиры, любившие Митрича, вдруг захохотали и бросили тупые шпаги на пол. Неприятный шар-мюнцель закончился. Принц от сильного волнения хрипел, как мопс. Вспыльчивый царек сразу остыл.

– Романовна, дядя! – вышагивая вспотычку по комнате и гримасничая, воскликнул он. (Сияющий Митрич почтительно подал ему шпагу.) – Как только минуют торжества, еду в Кронштадт инспектировать флот. Я его тоже веду в Данию... Слышишь, дядя? А посему... Митрич! Беги к Барятинскому, подтверди приказ о высылке этого фигляра Строганова, а что касается второго приказа – отменить. От-ме-нить!..

– Слушаюсь, – заторопился Митрич, выпячиваясь задом из покоев.

За ним горделиво, но тоже вспотычку, молча направился к выходу и мрачнейший принц.

3

Вечером возле многих домов зажгли смрадные плошки, а в каждом окне – по две свечи. На улицах шум, на Царицыном лугу²⁰ – карусели, канатоходцы, Петрушка.

В десять часов, сытно поужинав, мясник Хряпов с огородником Фроловым гуляли по городу, прислушиваясь, приглядываясь, чем дышат люди. Приятелей удивляло, что всюду, куда они совали носы, уже известно было про великий скандал на торжественном царском обеде: приказ об аресте и «дура» были у всех на языке, все осуждали царя, жалели Екатерину. Трезвые делились мыслями втихомолку, обиняками, а пьяные болтали по кабакам и переулкам в открытую, нередко нарываясь на полицейских. В иное время за такие слова всю жизнь маяться, а вот теперь гладко сходило с рук: полицейский слегка даст пьяному в загривок и отечески пальцем погрозит: мол, сии неподобные речи болтай, да оглядывайся. Кабаки и трактиры набиты серым народом, матросами, гвардейцами, «пехтурой», дворниками, захудалыми чиновниками.

Земляки перебрались через Неву яликом на Васильевский остров, подошли к знакомому трактиру «Зеленая дубрава». Дверь трактира заперта, впустили их не вдруг.

– Уж простите Бога для, у нас се-вечер гости по выбору, – сказал малый в красной рубахе и побежал «доложиться» хозяину.

– Будь здоров, дружок Барышников! – весело приветствовал хозяина мясник Хряпов. – А мы к тебе. Вот приятеля привел. Пивцо-то аглицкое есть?

– А куда оно делось, – ответил из-за стойки быстроглазый хозяин, он высок, жилист, сухощек, рыжая борода хохолком. – Для добрых гостей завсегда есть... Проходите вон в тот уголок.

²⁰ Впоследствии – Марсово поле, против Летнего сада.

– А селедочка-то есть? Поди, из Пруссии-то изрядно ее вывез... – и мясник, захихикав, плутовато подмигнул хозяину, а огородника ткнул локтем в бок.

– Ты ляссы-то не точи, Нил Иванович, – тенористо прогнусил Барышников. – А то матерком пушу.

Мясник Хряпов захихикал пуще, отмахнулся рукой и, брюхо вперед, повел огородника в уголок к столу.

– Хи-хи-хи... Не любит про селедки-то, в драку лезет. Ох, хитрец, ох, хитрец, – мясник снял тонкого сукна чуйку, расстегнул ворот рубахи и провел медным гребнем по напомаженным волосам и бородище.

Курносый, угреватый половой в белом фартуке притащил пива и посоленных ржаных сухариков. Трактир богатый, обширный, высокие стены оклеены цветистыми шпалерами, столики покрыты опрятными скатертями, много мух, босоногие мальчишки в красных рубахах отгоняют их от посетителей метелками из конского волоса.

За соседним столиком полный, пучеглазый помещик, покуривая трубку, ведет деловую беседу с сенатским чиновником и подьячим о продаже трех крепостных музыкантов и чернобровой девки: «Не девка, а богиня, любую барыню за пояс заткнет». Дальше за пятью сдвинутыми столами шумно пьет «зелено вино» большая компания гвардейцев.

– А ну, ребята, за здоровье его величества Фридриха... Ура! – вызывающе кричит пьяный сержант, подмигивая солдатам.

– Подь к черту! – с хохотом обрывают его гуляки. – За ее величество Екатерину Алексеевну... Ура!

– Чшш... – откуда-то слышится предостерегающее шипенье. И вслед за этим:

– Господа гвардейцы! У нас покедова Петр на троне... Петр Федорыч...

– Ха-ха-ха!.. – без стеснения гогочут гвардейцы. – Ловко сказано: «покедова». Гвардейцы! Выпьем чару за «покедова» Петра Федорыча... Ур-ра! А там, что Бог даст...

Гвардейцы пьют, подмигивают друг другу и гостям. Барышников из-за стойки ухмыляется. Помещик пучит пьяные глаза, попыхивает трубкой и тоже ухмыляется в усы.

– Знамение времени, знамение времени, – с притворным сокрушением вздыхает ненавидящий царя подьячий. И шепчет, озираясь: – Слухи зело мрачные по столице ходят... Прислушайтесь, как гвардия шумит... Не в аванта же император наш. А про арест да про «дуру» слышали?.. Грехи!

– Грехи, братия, грехи, – подхватывает сухопарый старик-монах с кружкой. – Пожертвуйте на разоренную обитель, рабы Божии.

– Кто разорил-то? – выкрикивает издали сержант. Гвардейцы хохочут.

– Игемон разорил, султан турецкий, – кланяется монах, подставляя кружку; лицо его строго, в умных глазах злые огоньки. – Землю от нас отобрали, мужиков отобрали... И довелось нам, Христа ради, по миру скитаться. Жертвуйте, рабы Божии.

Огородник ткнул мясника в бок: «Слыхал?» А гвардейцы закричали:

– Не голштинский ли султан-то это был?

– Сами знаете кто, детушки. Чего меня, мниха старого, во грех вводите. Царь православный сие учинил. Вот кто, – зашептал старик, прикрывая ладошкой рот. – Бают, попов всех обрить приказал, бают, иконы приказал из церквей повынести... Ох, грехи, грехи тяжкие. Молитесь, братия, Богу, стойте за веру православную... С нами Бог...

– А чего ж государыня-то смотрит, Екатерина-то Алексеевна? – громко говорит, подымаясь, купеческой складки бородатый дядя, на румяных щеках улыбочивые ямочки. – Пошто матушка-царица окорот супругу своему не делает? Пошто на лютеранство веру нашу православную рушить позволяет?

– Да здравствует государыня Екатерина! – орут гвардейские солдаты.

– Да здравствует Екатерина! – подхватывает весь трактир.

Барышников резко стучит ножом в медный поднос: «Тихо, тихо, тихо!» – выскакивает из-за стойки, испуганно зовет:

– Господа посетители!.. Нельзя шуметь... Хоша с полицией мы в мире и полиции здесь духу нет (все весело с благодарностью смеются), иначе упреждаю, дорогие гости, чтобы душевредных опасных слов у меня ни-ни... Отец Паисий, ступай с Богом, иди, иди, откуль пришел, – и вразвалку продвигается меж столами к мяснику.

Час поздний. Белая ночь затмилась. В трактире посерело. Мальчишки зажигают свечи. На улице гармошка, песни, визг.

– А-а, Барышников, садись, дружок! – восклицает мясник Хряпов и шепчет: – Вот, брат, какой шум у тебя. Да и по другим кабакам не мене. Ну, не ко двору царь и не ко двору, как черная корова...

– Тш-ш-ш... – грозит Барышников. – Молчок, старичок, старушка денежку даст, – и хочет идти дальше.

– Слышь-ка, Барышников, – схватил его за руку мясник. – Врут ли, нет ли, быдто ты семь бочонков золота себе с войны привез?

– Брось, брось... Как тебе охота такие враки слушать, – и кричит по-злому: – Иди, иди, отец Паисий, не проедайся тут!

Паисий в дверь, а из двери, с улицы, звеня шпорами, быстро входят два великана в преображенских времен Петра I офицерских мундирах, лица скрыты черными масками, кружева приспущены до бритых подбородков, в прорезы сверкают веселые глаза. Враз все смолкло.

– Помогай Бог гулять, жители! – громко произносит один из великанов. По трактиру гул ответных приветствий и путаный шепот:

– Кто такие, кто такие?

– Целовальник! – басисто кричит второй великан. – На каждый стол по две кварты пива за наш счет.

Загремела посуда. Ввалился с улиц хор плясунов и песенников – гвардейцы и артиллеристы, все вполпьяна.

– Гвардия, песню! Целовальник! Двери на запор... Пляши, ребята! – командуют великаны, прихлопывая в ладоши, выбрякивая шпорами.

Два десятка только что вошедших красавцев-богатырей, наскоро хватив по чарке и подбоченившись, дружно грянули отборными голосами залихватскую:

При долинушке калинушка стоит,
На калине соловей-птица сидит,
Горьку ягоду калинушку клюет,
Он малиною закусывает.

Быстро раздвинули столы, и четверо гвардейцев бросились в дробный пляс. Тут все сорвалось и закрутилось: песня, топот, сопелки, дудки. По трактиру ветерки пошли, молодые голоса рвут песню с гиком, с присвистом, звенит в ушах, звякают стекла, взмигивают, стелются плашмя хвостатые огоньки свечей. Гости прихлынули вплотную к плясунам. Довольные лица улыбаются, хмельные глаза горят. Крики:

– Пуще! Пуще... А ну, гвардия, надбавь!..

– Веселись, гвардия! – все покрывает громовой голос великана. – В Данию не ходить! Ружья не отдавать! Государыню беречь! Государыня в опасности...

– Ур-ра! – орет гвардия и гости. – А что государыня? Жива ли, здорова ли?

– Жива, здорова, – великан швыряет на стол гвардейцам пригоршни серебряных рублей. – Лови, ребята! На завтрашнюю гулянку... А ну! – Он призывно взмахивает рукой в замшевой перчатке, и сотня гвардейских глоток прогремела:

– Ур-ра Екатерине Алексеевне!!! Защитим матушку!

– Ур-ра!!! Ура!..

Оба великана резко хлопали в ладоши:

– Гвардейцы, по казармам!

Солдаты послушно повалили вон. За ними – великаны. Один из них, Алексей Орлов, схватил Барышникова за плечо, встряхнул – рубаха лопнула:

– Полиции и подозрительных нет?

– Клянусь Богом, вашскородие! – задыхаясь от боли, крикливо прогнусил Барышников. – Все гости лично мне знакомые. Все до единого... Чужим впуску нет. А полиция взаперти сидит, вашскородие, водку хлещет...

– Помни, Барышников... Чуть чего, пополам перерублю, – не на шутку пригрозил Орлов.

Великаны вскочили на верховых коней и умчались. По улицам несло чадом от дымящихся плошек.

– Кто такие, кто такие? – шумели взбудораженные гости. – Эй, хозяин!.. Не Орловы ли? Один, кажись, Пассек, спинница – во...

– Бросьте, бросьте, – разминая плечо, затекшее от железной хватки великана, успокаивал гостей хозяин. – Какие, к свиньям, Орловы... Очумели, что ли, вы... Это замаскированные солдаты, два денщика. Я их знаю.

Не попадая зуб на зуб, хозяин пальцем поманил мальчишку:

– Степка, загляни в окно с улицы, какова полиция.

– Глядел, дяденька... Все пьяные на полу лежат.

– Гаси огни. Эй, господа гости!.. Просим оставить заведение.

Третий час ночи. По небосводу течет новая заря. На улицах, среди дороги, под воротами валяются пьяные. В будках дремлют караульные. Рыбачьи челны и рябики бороздят озаренные невские воды. Белая ночь гаснет, начинается предутрие. В домах тишина. Город спит.

Но Екатерина бодрствует.

4

Тотчас после бранного, прогремевшего на всю Европу слова «дура» оскорбленная Екатерина заперлась в своем кабинете. Сдерживая громкие стоны, она выкрикивала: «Боже мой, какая я несчастная... Гришенька, Гриша, где ты?..» – заламывала руки, валилась на диван, рыдала. Но взвинченные чувства вскоре подчинились разуму. Слово «дура» только обижало Екатерину, а вот гнусный приказ царя пугал и подавлял ее. Если сегодня отменен приказ об аресте Екатерины, то завтра он может быть исполнен. Екатерина теперь ясно видела, что под ее ногами разверзается земля, что ее личная жизнь и судьба империи в опасности, что время действия наступило.

«Будь мудра, будь мужественна и осторожна», – внушает она самой себе. Мозг ее горит. Воображение рисует картины наплывающих событий. Екатерина мысленно сочиняет манифесты, указы, воззвания. К великой досаде, она плохо еще владеет русским языком. Она поручит сие дело Гришеньке, но свет-Гришенька тоже не горазд до бумаг высокого штиля. Она укажет начертать манифест Волкову совместно с Никитой Паниным: «Божьей милостью мы, императрица и самодержица всероссийская Екатерина Вторая» и прочая и прочая.

Но как поймать презренного Петра и куда запрятать? Ей припоминается широкоплечий и хмурый, всей душой преданный ей Пассек. Не так давно он упал к ее ногам и воскликнул: «Ваше величество, супруг ваш с ненавистной вам персоной женского рода чинит пешком променады к домику Петра Великого. Мать-государыня, повели, и я среди бела дня при всей гвардии насмерть поражу врага твоего!» Екатерина ответила ему: «Господин капитан гвардии! Не уподобляйте себя римскому заговорщику. И не тщитесь забрызгать меня кровью. Сей несчастный Дон Кихот унизит себя сам своими несуразными делами и, унизив, упадет».

А с кем же предстоит Екатерине иметь дело? Сенат, духовенство, высшее дворянство, гвардия, войско, Гришенька. Но Никита Панин мнит заменить Петра малолетним наследником Павлом, а ее, Екатерину, сделать регентшей. Даже намекал о конституции. Ни-когда этого не будет! Оставьте, сеньор Панин, свои политические бредни. Нет, нет, Екатерина властна взять в свои руки полные самодержавные права. Она добудет их! Братья Орловы «со товарищи» принесли Екатерине рыцарскую клятву возвести ее на всероссийский трон.

...Курчавая болонка, спавшая на козетке, вдруг пробудилась, насторожила уши и звонко залилась. По деревянной мостовой мерный лязг копыт. Какая-то сила бросила Екатерину к окну. «Не он ли?» Два всадника, почтительно приподняв шляпы и повернув закрытые черными масками лица в сторону дворца, проехали неспешной рысью. Один из них, увидав в окне Екатерину, весь подобрался, приосанился, чуть поотстал от товарища, приподнял с лица маску и послал своей даме едва приметный, но полный изящества воздушный поцелуй.

Сердце Екатерины сладостно замерло, улыбнувшиеся губы прошептали: «Гришенька... Душа моя».

Торжества продолжались на второй и на третий день. Днем народные увеселения, ночью балы, гульба, фейерверки. По городу слонялись кучками пьяные гвардейцы, почти открыто поносили русские порядки и царя. Всюду рыскали какие-то подозрительные люди, распускали слухи, что крымский хан стоит на границе, ждет, когда войска будут выведены в Данию, тогда хан набросится на Россию; что во многих губерниях восстали против бар мужики; что монастырские крестьяне сбегаются толпами со всех сторон и не повинуются новому указу об отобрании их от монастырей.

На площадях, на мостах, на Царицыном лугу возле каруселей, по кабакам и по трактирам, подзуживаемый гвардейцами и подкупленными прощелыгами, народ брюзжал:

— Царю надо не в Данию ехать, а в Москву, короноваться, как и все государи. А такого-то царя, не помазанного на царство, не грех и скovyрнуть...

Настроение столицы и состояние умов Екатерина прекрасно знала и, может быть, даже косвенно всему этому содействовала. Развязка приближается. Екатерина напрягает все силы ума и воли и спокойно выжидает удобного момента.

Петр отправился на летнее жительство в Ораниенбаум. Весь большой двор (несколько сановников и царедворцев и семнадцать дам) 12 июня последовал за ним. Екатерине приказано немедленно перебраться в Петергоф, что вблизи Ораниенбаума. Из чувства самосохранения Петр боялся оставить ее хозяйничать в столице. Тем не менее Екатерина под благовидным предлогом задержалась в Санкт-Петербурге на пять дней, употребив это время в огромный вред царю и в великую пользу для себя.

Глава XIII Заговор

1

После отъезда государя в Ораниенбаум киягиня Дашкова потеряла сон и аппетит. Даже книги – ее воздух и дыхание – перестали для нее существовать. Императрица Екатерина наконец оценила ее привязанность к себе; ее личные качества – мужество, изворотливость, храбрость – и, оценив, воспользовалась ею. Молоденькой Дашковой казалось, что она есть первое лицо при государыне и самостоятельно сплетает сети заговора. На самом же деле она была лишь на побегушках у опытной Екатерины. При ее помощи стала теперь осторожно устанавливать связь между высшими сановниками (Никита Панин, гетман Разумовский, князь Волконский) и Екатериной. Гвардейские офицеры с Пассеком точно так же неоднократно имели с Дашковой свидания, но гвардейцами главным образом руководили два брата Орловы, а ими в свою очередь вертела сама Екатерина.

Главою движения против царя был, разумеется, Никита Панин и стоявшая за ним компания прогрессивных аристократов-феодалов. В это время в Москве аристократы группировались вокруг университета и поэта М. М. Хераскова²¹ (он заведовал университетской типографией и вскоре был назначен ректором университета.) Но москвичи острополитических идей почти что не касались, они вели борьбу пером, пытаясь поднять в стране прогрессивное и культурное движение, их идеал – просвещенная монархия. В Петербурге же, наоборот, шла осторожная, но упорная борьба за власть.

Умный Панин ненавидел Петра III как свою противоположность и не возлагал на его царствование никаких надежд. Весь свой талант и свое влияние он перенес на «обработку» Екатерины. С ее воцарением он предвидел широкие возможности к обновлению России. Свергнув Петра III, он мечтал объявить законным государем малолетнего Павла, и чтоб до его совершеннолетия при нем была регентшей Екатерина, а при ней – он, Панин, и группа правящих аристократов. Уж они-то сумеют прибрать Екатерину к рукам и положить конец абсолютизму. Никита Панин, распространяя свое влияние, вел дружбу и с передовой литературой, вождем которой был знаменитый поэт Сумароков. Тщеславный, считавший себя равным Буало и Вольтеру, Сумароков происходил из стародворянской семьи и состоял в это время директором первого русского театра в Петербурге, основанного ярославским актером Волковым.

И Сумароков со своими друзьями, и Никита Панин со своими – били в одну точку: присмотревшись к Екатерине, они время от времени вызывали ее на откровенность. Осторожная Екатерина отвечала им полунамекami, она искала популярности среди литературной и придворной фронды. Подготавливая себе в фавориты Григория Орлова, она, кривя душой, возмущалась фаворитизмом вообще и грабительским поведением Шуваловых; она всячески старалась подчеркнуть свое вольномыслие, она, пожалуй, готова заключить с Никитой Паниным и его группой негласный союз против Петра III (но боится целиком попасть к ним в руки); намеками и на ходу бросаемыми мыслями она как бы говорит: «Надейтесь на меня, я ученица Бейля, Монтескье, Вольтера, и вы не можете поэтому сомневаться в глубине моих политических убеждений, я против деспотии. Я, как Монтескье, за аристократическую конституцию. Ведь я философ, а не какой-нибудь азиатский сатрап. Словом, помогите мне достигнуть власти, и вы будете со мной соцарствовать».

²¹ Пасынок князя Н. Ю. Трубецкого – В. III.

На другой день после отъезда Петра III в Ораниенбаум Никита Панин был позван к Екатерине. В этот вечер она была чрезмерно взволнована и встретила Панина особенно мило и любезно. Ее волосы в пышной прическе слегка припудрены, брови тонки, красивые темно-голубые глаза, которыми она в нужные моменты так ловко умеет играть, таили выражение «себе на уме», ее маленькие свежие губы пленяли улыбкой, темно-синий роброн, оттенявший белизну полуоткрытой груди, стягивал тонкую талию и ниспадал пышным, на кринолине из китового уса, колоколом. При встрече с Екатериной Никита Панин всякий раз подпадал под обаяние этой женщины и всякий раз злился на себя; он знал, что имеет дело с политическим врагом своим, ибо и государственные идеи их не всегда между собою совпадали. Примерно то же самое чувствовала по отношению к Панину и Екатерина.

– Дорогой и добрый друг, Никита Иванович, – по-французски начала она, певуче модулируя своим звучным голосом. – Я всегда восторгалась свободолюбивым образом ваших мыслей. Вы первый просвещенный человек в России, вы европеец, впитавший в себя в продолжение многолетнего вашего пребывания в Швеции конституционные идеи Запада... – как бы захлебнувшись словами, она замолчала и потупилась.

Панин сразу сметил, что сейчас должно наступить окончательное объяснение и торг за власть. Его сердце застучало сильнее.

– Мне кажется, государыня, вы гораздо преувеличиваете мои слабые качества, и боюсь, чтоб впоследствии вы не разочаровались во мне...

– Я вам верю, мой друг, как никому. Я вижу, что политический горизонт нашего любезного отечества покрыт тучами. Будем, Никита Иванович, откровенны до конца. Вы видите, какого монарха имеет отечество наше... Какие пути, какую судьбу он готовит России? Он ненавидит Россию, он ненавидит и вас, мой любезный друг...

– Я знаю, государыня, – тихо сказал Панин, – но неограниченные самодержцы всегда своевольны и зачастую в мнениях своих неправы, а подвластный им человек – всегда раб и абсолютно бесправен.

При подчеркнутых Паниным словах «неограниченные самодержцы» по лицу Екатерины скользнула едва заметная тень раздражения, они оба глядели один другому в глаза, следили друг за дружкой.

– Да-а, – раздумчиво протянула она и, притворившись наивной, сказала: – Но ведь, но ведь... Что может быть выше прав самодержца?.. Разве один Бог.

– Закон, ваше величество! Основные законы государства превыше всего. Им равно подчиняются и самодержец и раб... Так мыслит и Монтескье.

– Да, да, – прошептала Екатерина, тонкими пальцами она коснулась высокого лба, к щекам ее прихлынула краска. – И если б несказанным промыслом Божиим мой не-ко-ронованный супруг потерял престол, какие же перспективы вам грезятся?

– Пока у нас нет точного регламента о престолонаследии, вы совершенно правильно, ваше величество, изволили выразиться: дальнейшие судьбы трона не больше, как греза, как летучий туман. – Панин сидел, свободно откинувшись в кресле и положив ногу на ногу. – Я мыслил бы, если мне позволено будет вашим величеством, императором быть великому князю Павлу Петровичу, возлюбленному сыну вашему...

Екатерина гордо, порывисто откинула голову, и ее слегка раздвоенный подбородок задрожал.

– А я, при малолетнем сыне моем, регентша?

Панин быстро поднялся, стукнул каблук в каблук, с легким поклоном тихо молвил:

– Да, государыня, – и снова сел.

Драгоценное кольцо на груди государыни стало учащенно колыхаться. Она опустила брови, веки и голову, Панин с любопытным нетерпением ждал, что она скажет. За себя он ничуть не боялся: сидели друг перед другом два заговорщика против царствующего монарха.

Панин жадно наблюдал за искусной игрой Екатерины. Он заметил, как голова ее никнет все ниже и ниже, как ноздри римского носа ее вздрагивают и раздуваются от участвовавших вздохов. Она сказала трагическим шепотом:

– Я столь несчастна, столь унижена супругом своим, что в крайнем случае, если этого требуют интересы России, я предпочту стать матерью императора, нежели супругой его... Я столь несчастна и всеми покинута. – Из смеженных глаз ее брызнули бисером слезы.

Панин улыбнулся, но, тотчас придав лицу скорбь, он вскочил; как хороший актер, стал заламывать руки, припал пред плачущей женщиной на одно колено, взывал взволнованным, умоляющим голосом:

– Ваше величество, государыня, будьте мужественны. О, поверьте мне, государыня, ваши слезы огнем жгут мое сердце. Успокойтесь, внимайте совету человека, который готов ради вашего счастья сложить к стопам вашим самую жизнь свою, – голос его рвался, замирал, как бы увязая в глухих рыданиях, но все естество царедворца ликовало.

Екатерина утирала платочком глаза. Панин приник к ее дрожащей руке, стал осыпать кисть руки поцелуями. Но поцелуи его были для Екатерины как прикосновения кинжала.

Панин встал, сановито и важно пронес свою особу к окну и по-русски вкрадчиво вымолвил:

– Надо все обдумать, государыня, все взвесить, прикинуть и так и сяк. Час благосклонен, ваше величество, и прожекты государственных комбинаций многообразны суть. Не огорчайтесь!

Она повернула в его сторону надменное лицо, и глаза ее засверкали. Раздельно и ясно она сказала:

– Милый друг мой, Никита Иванович. У меня единая надежда на Бога, на вас и на любезную моему сердцу гвардию... Да, да, на гвардию!.. – повторила она порывисто.

Никиту Иваныча пронизала нервная дрожь. Впрочем, он быстро превозмог себя и еще раз попытался вырвать у самовластной Екатерины нужное ему признание. Очень ласковым, но тонко намекающим тоном он произнес:

– Гвардия – сила. Однако ваше искреннее желание, государыня, гораздо сильнее гвардии: ведь како похощете вы, тако и будет.

Екатерина молчала и хмурилась. Панин чувствовал, что дело с воцарением Павла безвозвратно проиграно: ведь он мог опираться в борьбе лишь на личный авторитет да на кучку своих единомышленников, на стороне же Екатерины – дворяне-гвардейцы и десять тысяч штыков.

Но как бы там ни было, Екатерина никак не могла бы остаться без Панина: ведь он главный механик всего государственного аппарата, он вдохновитель заговора, он влиятельнейший из вельмож, он руководит иностранной коллегией, и он, поэтому, единственный человек, с мнением которого считается вся Европа: захочет Панин, воцарение Екатерины будет встречено Европой с восторгом, захочет Панин, и может возгореться война против узурпаторши, похитившей «священные» права сверженного императора. Наконец, кто, кроме Панина, может руководить первыми шагами Екатерины II по управлению столь обширным государством? Итак, Екатерина без Панина беспомощна. Так по крайней мере полагал сам Панин.

Пассек и братья Орловы вымолили через Дашкову от Екатерины ее личные записки, чтоб иметь возможность убедить своих друзей в ее согласии.

«Да будет воля господ Бога и поручика Пассека. Я согласна на все, что полезно отечеству. Екатерина».

Записка Орловым:

«Смотрите на то, что скажет тот, который показывает вам эту записку, так, как будто я вам говорю это. Я согласна на все, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасаете меня, а также и себя. Екатерина».

Царица строжайше велела Дашковой проследить, чтоб обе записки по миновании в них надобности были сожжены.

Орловы с Пассеком сумели завербовать в свои ряды сорок офицеров и десять тысяч гвардии. Необходимо было окончательно договориться с Никитой Паниным, князем Волконским и любимцем гвардии гетманом Кириллом Разумовским, командовавшим Измайловским полком. Гетман Разумовский обладал несметными богатствами, щедро помогал офицерам и солдатам, снисходительно относился к их слабостям, мирволил им. И царица отлично понимала, что «где гетман, там и гвардия».

Чтоб избежать подозрений, дальновидная Екатерина, исполняя волю Петра, 17 июня выехала в Петергоф. Семилетний сын ее великий князь Павел был оставлен в Петербурге на попечении своего воспитателя обер-гофмейстера Панина.

2

Петр проводил время в Ораниенбауме беспечно и праздно. Впрочем, он ежедневно устраивал вахтпарады и всякие экзерциции с голштинцами, вечерами – пьяные кутежи, пиры, домашние спектакли: царь играл в оркестре на скрипке, а комедию вели придворные дамы и кавалеры.

Однажды, слегка одурманенный выпивкой и непрерывным курением трубки, Петр после фриштика прошел осмотреть свою многочисленную псарню и показать гостям свои владения. Проходя мимо голштинской церкви, он сказал своим спутникам:

– Когда я был великим князем, я мечтал выстроить здесь капуцинский монастырь, чтоб весь двор и я с женой носили одеяния монахов-капуцинов. И у всякого свой ослик, чтоб ездить с кувшином за водой... И вообще... О, мечты, мечты!

– Вы слишком влюбчивы, государь, чтоб быть монахом, – игриво погрозила ему мизинчиком красавица графиня Брюс.

– Вы правы, – выпятил грудь Петр и, вздернув плечи, приосанился. – Но мне бы тогда открылся тернистый и сладостный путь грехопадений.

Зашли в маленький «Эрмитаж», с шутками и прибаутками осмотрели кунсткамеру с ее монстрами: человеческий скелет о двух головах и трех руках, ребенок с лицом «лягушачьего образа», три пальца канонира в спирте, ремень человеческой кожи и т. д. Посетили «Минажерию», где содержались звери и птицы. Медвежонок, принадлежавший голштинцу капитану Лангу, увидав гостей, закрутил башкой и по-звериному заулыбался, затем встал дубом, прижал передние лапы к брюху, начал кланяться и просительно порякивать. Петр снял перчатку и подал ему на ладони кусок сахара. Елизавета Романовна, бесцеремонно зевнув, выразила желание покататься с горы. Кательная гора, построенная Ринальди, представляла собой десятисаженную башню, увенчанную золоченым куполом, от нее тянулся на полверсты пологий скат, по обе стороны его богатая колоннада тосканского ордена. Покатались на золоченых колясочках, выпили по бокалу освежительного, закусили воздушным безе.

Вернувшись домой, Петр выпил два бокала английского пива, попилил на скрипке и стал бегать, как маленький, со своей любимой собачкой вокруг биллиарда. Пес, виляя хвостом, громко лаял, Петр того громче кричал, пес разодрал ему штаны, он высек пса арапником и вышвырнул за дверь. Повалился на кушетку, не лежалось, взгляд скользнул по портрету Петра I: «Дедушка, преобразователь! Все по-новому. Я тоже». Взял лютеранский молитвенник, перелистал, крикнул арапа Нарциса, велел позвать Гудовича.

– Вот что, Андрей Васильевич, – сказал он своему генерал-адъютанту. – Немедленно пусть явится ко мне... этот поп. Ну, вот этот бородастый... Дмитрий.

– Митрополит новгородский Дмитрий Сеченов, ваше величество?... Первоприсутствующий в Синоде?..

– Я – первоприсутствующий в Синоде, и не кто иной!

Поздним вечером на четверке цугом подкатил ко дворцу митрополит.

Представ перед государем, он издали с чувством неловкости преподал ему благословение. Государь в ответ состроил иерарху гримасу и, не пригласив сесть, крикливо сказал по-немецки:

– Император Петр Великий, мой дед, стриг бороды боярам. Я иду по его стопам. Повелеваю: извольте, сударь мой, распорядиться, чтоб все попы были бритые и вместо хламид носили платье, как иностранные пасторы!.. Андрей Васильич, переведите! – Петр задержал шеей, замотал головой, взъершился, ожидая возражений владыки.

Гудович, краснея, стал переводить. Митрополит оборвал его:

– Не трудитесь, генерал. Немецкий язык мне ведом... Лишь неведома мне причина, побудившая монарха православного шествовать не по стопам деда своего, блаженные памяти Великого Петра, а по вихлястым петлям церкви лютеранской.

– Да, да, господин архиерей! Да, да... – заgrimасничал, заморгал правым глазом Петр.

Дмитрий Сеченов пожал полными плечами, опустил низко голову, раскидистая с проседью борода его закрыла усыпанную бриллиантами панагию. Петр заговорил по-французски:

– Повелеваю: в храмах оставить лишь иконы Спасителя и Богородицы... Чтоб прочих икон так называемых вашим святым в храмах не было. Чтоб посты были не обязательны для всех, а кто хочет, пусть постится... Греха прелюбодеяния нет! Этот грех выдуман... Сам Христос прощал другим этот грех... Гудович, переведите!..

– Ваше величество! Французский язык мне ведом не меньше немецкого! – воскликнул архиерей и пристукнул жезлом с двумя золотыми змеями на верхушке. Старику не хватало дыхания. Перед строгими глазами его летали темные тени, кровь стучала в виски. – Ваше величество! Словесный указ вашего величества должен быть изложен в письменной форме. Я доложу о сем владыке – митрополиту петербургскому и всем членам святейшего Синода. Для столь коренной ломки канонов и догматов церкви православной довелось бы, согласно духовного регламента, собрать всероссийский собор...

– Собирайте, господин архиерей, хоть десять соборов! – закричал царь; стоявший возле него Гудович выразительно кашлянул, что-то шепнул ему; царь пришел в себя, сбавил тон. – Можете собирать собор, но моя воля непреклонна. Ибо я есть глава вашей церкви.

– Сугубо ошибаетесь, государь, мня себя главою церкви православной, – спокойно возразил Дмитрий Сеченов. – Глава церкви есть во веки веков Христос. А главою Синода является монарх, коронованный и миропомазанный на царство. Вы же, ваше величество, медлите воспринять корону в Успенском соборе в Москве, как это делали предки ваши... А посему...

– А посему... Прощайте, господин архиерей! Я вами, сударь мой, очень, очень недоволен.

Дмитрий Сеченов издали кой-как преподал благословение, кой-как поклонился и с гордостью, однако весь сотрясаясь от злости и скорби, вышел вон.

25 июня Синод получил высочайший указ: все исповедания объявляются равноправными с государственной господствующей религией, обряды православной церкви отменяются, церковное имущество отбирается в казну.

Этот наскоро состряпанный указ и нелепый разговор царя с Дмитрием Сеченовым произвели на знатное духовенство удручающее впечатление. Официальная церковь оказалась, подобно гвардии, во враждебных отношениях с царем.

3

В один из дней придворный бриллианщик Иеремия Позье получил приказ явиться ко двору в Ораниенбаум. Дальновидный француз прихватил с собой брошь из бриллиантов для Елизаветы Воронцовой и рано утром явился в Ораниенбаумский дворец, в помещение графини.

- Встала ли графиня? – спросил он горничных.
- Нет, мсье... Графиня еще не встала, но и не спит, потому что не в духе.
- В таком случае я уеду.
- Что вы, что вы!.. Мы уже доложили о вас. Благоволите подождать.

Через несколько минут Позье был введен в помещение графини. Она сидела пред туалетным столиком. На ее полных губах капризная гримаса, в глазах любопытство и простое ожидание подарочка. Позье расшаркался, пытливо взглянул на нее и поцеловал руку.

- Вы не в духе?.. Поэтому – разрешите мне откланяться.
- Нет, ради Бога! – и она вскочила со стула. – Что вы принесли мне хорошенького?
- У меня ничего нет для тех, кто не в духе, – шаркнув ногой, подобострастно изогнулся француз.

Она с хохотом кинулась к нему, принялась обшаривать его карманы.

Через потайную дверь неожиданно появился в халате царь.

- Что это значит? – пожимая плечами, полугневно, полуигриво спросил он.
- Ваше величество! – воскликнул Позье, целуя протянутую царскую руку. – Я очень рад, что вы изволили явиться ко мне на выручку. Я хотел показать графине одну изящнейшую вещь, но графиня не в духе, и я отказался от своего намерения.
- Прекрасно сделали, Позье. Не давайте ей, отдайте мне.

Позье двумя перстами извлек из кармана маленький футляр и со всей грацией француз протянул его императору. Елизавета Романовна сделала быстрый маневр завладеть вещичкой. Позье ловким вольтом руки обманул графиню, и вещичка чуть-чуть не досталась императору, но Елизавета Романовна успела схватить руку ювелира, француз перебросил футляр в другую руку. Тут зачалась шумная возня. Брюхатенький француз с сувениром в поднятой руке, пыхтя, крутился волчком, возле него с ловкостью откормленной ярославской телки подпрыгивала и трясла телесами графиня, тщаься перехватить сувенир. Глаза ее горели, как у кошки пред мышонком. А царь-цапля тоже бегал вокруг Позье, кричал: «А moi, monsieur, а moi», и с наскока, едва не опрокинув и Позье и графиню, вдруг выхватил футляр. Позье улыбался и сипло дышал. Елизавета Романовна, притворившись обиженной пай-девочкой, надула губки. Царь с выражением проказливого школьника показывал ей язык и рассматривал сверкавшую бриллиантами дорожку брошь.

– Дарю тебе, Романовна! – сказал он торжественно-насмешливым голосом. – Но с условием, чтобы ты развеселилась.

Графиня с жадностью схватила подарок и ушла. Петр заказал ювелиру несколько вещей к своим предстоящим именинам, велел передать ему ключ от драгоценных вещей в петербургском дворце с наказом почистить их и доставить сюда. Деловой разговор окончен. Позье приготовился поцеловать Петру руку и выйти, но Петр сказал:

– Куда вы спешите? Вы сегодня останетесь здесь. Я хочу, чтоб вы посмотрели мою комедию. Вот вам билет. Я все билеты раздаю сам. Можете пообедать с моими медиками.

Перед обедом Позье в одиночестве прогуливался по парку. На большом озере шло сражение двух маленьких галер. Одетые матросами голштинцы дружно взмахивали веслами, стреляли из крошечных пушек, брали на бордаж, схватывались врукопашную. Царь, стоя на высоком береговом помосте, кричал команду, махал флагом, топал ногами, азартно бил в

барабан, всем существом своим с жаром участвовал в этой детской игре людей-марионеток. Затем началось утомительное ученье голштинских войск на плац-параде. Четыре голштинских знамени склонились долу, когда к фронту подъехал на серой кобыле император.

Вечером началась в придворном театре комедия. Екатерина тоже получила билет. Приглашение равнялось приказу. Она приехала из Петергофа. Позье сидел против сцены, под ложей, где помещалась императрица. Она в глубоком трауре; при ней две фрейлины и молодой паж в светло-зеленом мундире, красном камзоле, зеленых штанах, шелковых чулках, белых башмаках с пряжками и красными каблуками – признак высокого дворянства. Разместившиеся в ложах возле оркестра дамы обмахивались веерами, весело болтали с кавалерами.

Появился царь, под мышкой скрипка, в руке смычок. Все встали. Он быстро прошел меж рядами кресел в оркестр итальянцев и русских офицеров, сел за пюпитр, перелистал ноты, начал настраивать скрипку. Он был сегодня, пожалуй, красив. Веселые глаза блестели, густо напудренные вержет и букли оттеняли загорелое с румянцем лицо. Он играл довольно хорошо и бегло и всегда выступал на придворных куртагах. У него было несколько лучших по тому времени скрипок: Страдивариуса, Руджиери, Амати. В Ораниенбауме он устроил музыкальную из детей служителей школы.

С шумом отдернулся шелковый в золотых звездах занавес, и глупенькая комедийка, сопровождаемая жидковатой игрой оркестра, началась. На сцену смотрели мало, любопытствующие взоры сосредоточились на Екатерине. Она очень грустна, озабочена, замкнута. В антракте раздались дружные хлопки. Вместо любителей актеров, на аплодисменты поднялся из оркестра царь; прижимая скрипку к груди, он изысканно раскланивался с публикой.

К Позье подошел паж, передал ему приглашение Екатерины прибыть после спектакля в ее покои. Вспомнив строжайшее запрещение государя заходить к Екатерине, Позье весьма опечалился. Но, никем не замеченный, он умудрился проникнуть к ней. Она сидела на диване, казалась утомленной, душевно измученной. На ее коленях облезлая собачонка с серебряным бубенчиком.

– Позье, я повредила свой орден святой Екатерины, – проговорила царица. – Возьмите его с собой и поправьте. (Она приказала горничной снять с себя этот орден и передала французу.)

– Осмелюсь спросить, ваше величество, – стоя навытяжку, сказал француз, – вы не возвратитесь в Петергоф, а изволите остаться на ужин здесь?

– Мне бы этого не хотелось. В Петергофе мне было бы веселее. А здесь – скука, скука. Я вас, Позье, завтра жду в Петергофе. Я имею передать вам несколько вещей для переделки. Прощайте.

Позье, припав на одно колено, поцеловал руку Екатерины и вышел.

Вслед за удалившимся Позье был впущен в покои императрицы генерал-адъютант Гудович.

– Ваше величество, – сказал он, руки по швам, и вскинул голову. – Его величество приказали доложить вашему величеству, что его величество канун своих именин, то есть день 28 июня, изволят проводить в Петергофе, в обществе вашего величества.

– Передайте его величеству, – с холодной маской на лице проговорила Екатерина, – что я весьма польщена ожидаемым визитом его величества ко мне и в назначенный день буду ждать государя со всеми его гостями у себя в Петергофе.

Генерал Гудович не сумел подметить ни особого блеска глаз Екатерины, ни явных ноток сарказма в ее голосе.

4

25 июня вечером состоялось свидание Никиты Панина с гетманом Кириллом Разумовским. «Авдиенция» произошла в Аничковском дворце, принадлежавшем Алексею Григорьевичу Разумовскому. Вельможи дружески обнялись и поцеловались. Затем, уставясь глаза в глаза, с минуту держали один другого за руки, доверчиво улыбаясь, в то же время старались всмотреться в глубину души друг друга. Взор у каждого был светел и открыт.

Заперли двери, по персидским коврам прошли в глубь комнаты, отделанной бронзой, кленом и палевым штофом, уселись возле беломраморного холодного камина, предложили друг другу из золотых табакерок отведать табачку.

Обер-гофмейстер Панин в парике, в голубом кафтане с желтыми бархатными обшлагами, в брюссельских тончайших кружевах. Ему сорок четыре года. Он несколько грузен, осанист и, пожалуй, красив. Полные щеки припудрены, большие серые глаза улыбчивы, блестят умом. Знатный царедворец, он много путешествовал, был очень образован, долгое время занимал место посланника в Копенгагене, затем – полномочного министра в Стокгольме.

– Итак, мой добрый друг, прямо к делу, – начал Панин глубоким, проникающим в душу голосом. – Образ мыслей нашего императора и действия его наводят дурные импресии, они производят впечатление чего-то удивительно недодуманного, недоделанного.

– Я бы даже так молвил, – с украинским акцентом сказал гетман Разумовский. – На вещи серьезные он смотрит взглядом маленького дитя, а к детским забавам относится с серьезностью зрелого батьки... И далее: сей голштинский выходец вовсе не знает и не хочет знать армию, он боится живых солдат, они слишком громоздки для него. И он заводит оловянных солдатиков и забавляется с ними с серьезностью зрелого мужа. Какая-то глупость, дурачество, фиглярство...

– *Militaire marotte*, – перевел на французский Панин. – Вглядитесь, мой добрый друг, в его судьбу. – Панин простер руку вперед, склонил голову набок и прищурился, как охотник пред выстрелом. – Судьба приуготовила этому голштинскому принцу два трона – шведский и русский, а ему лишь впору, да и то, пожалуй, велик, даже маленький голштинский трон. И вдруг судьба бросает его на престол необъятно огромной Российской империи. Но... его слабый ум не может расшириться, чтоб охватить ее пределы и ее нужды. Он называет Россию проклятой страной, он боится ее, как ребенок, оставленный в обширном пустом доме. – Панин говорил не громко, но голос его насыщен ненавистью и сарказмом. – И что же мы наблюдаем? – продолжал он. – Под давлением страха, среды и собственного вкуса государь окружил себя обществом недостойным, он создал себе свой жалкий голштинский мирок и тщетно старается скрыться в нем от страшной ему России. Он не знает России и не хочет знать ее. Для него интересы государства и само государство как бы замкнулись в его дворце. Отечество наше сейчас похоже на корабль, управляемый сумасшедшим капитаном. Подобное положение дел я считаю ужасным, ваше сиятельство.

– Ясно, ясно! – с какой-то веселостью отозвался гетман, он поставил ногу на парчовый диван и, покряхтывая, стал натягивать сползавший чулок. – Хе-хе. Любопытный разговорчик недавно проистекал между государем и мною. Или, правильнее (гетман выпрямился, подмигнул Панину и с игривостью прищелкнул двумя пальцами), между мною и государем. Хе-хе. (Панин одобрительно кивнул головой, улыбнулся.) «Гетман, я вас назначу главнокомандующим моей армией против датчан». – «Благодарю вас, государь. Но доведется сзади послать вторую армию». – «Для чего?» – «Чтоб она штыками подгоняла первую идти в немилый поход».

– И что же он? – вскинулся Панин, приготовясь рассмеяться.

– Да ничего... – пожал плечами гетман и, выхватив платок, чихнул. – Император показал мне язык, отвернулся и сплюнул.

Панин, сотрясая плечами, беззвучно засмеялся и потом сказал:

– Вы, добрый мой друг, остроумец известный. А вот я вчера вел беседу с преосвященным Дмитрием. С печалью поведал мне оный владыка свой разговор с царем в гораздо ином духе, чем ваше, я бы сказал, препирательство.

– Я знаю, знаю...

– Про указ об иконах и прочем тоже знаете? Я дал владыке Дмитрию совет указ этот схоронить под сукно... Время терпит, как сказал мудрый Соломон. И вот... – Панин выпрямился и оправил звезду на андреевской ленте, – подводя итоги, прямо скажу: из всего, что мы ведаем о сем странном царе, проистекает неминуемая гибель для государства... – Голос его стал тверд и властен. – Гетман граф Разумовский! Отечество, любимая родина наша в опасности.

– Не родина, Никита Иванович, а матушка Екатерина!

– Верно... Наша родина – увь! – непробудно спит.

– То-то же, – встряхнул пудреными буклями гетман и воскликнул: – Никита Иванович, я решительно готов!

– Готовы? Так действуйте, действуйте, гетман. Станем действовать вместе. Сроки близятся. Не таясь, обязан открыть вам, что мною посвящен в сие дело и генерал-аншеф князь Волконский. Он человек храбрый, осторожный, пользуется отменным доверием в армии. Я не знаю, как будет... Но в мечтах у меня – единственный выход без особых потрясений, без крови и, к тому же, национально оправданный: Павел – император, он юноша русских кровей; при нем регентша Екатерина Алексеевна.

– Пока медведь не убит, шкуру делить нечего, любезный друг.

– Убит? Никакого убийства, ни капли крови.

– О Боже правый! Да это ж пословица.

Панин на мгновение задумался, глаза его стали хитрить, вилять, испугались. Он быстро прикинул в уме и сказал:

– Сие мыслится мне, как наиболее законное и логически возможное. Но я не чуюсь и от другой комбинации. Отнюдь нет, отнюдь нет...

– На престол – государыню! – вполоборота уставился на Панина гетман; глаза его тоже стали хитрить и вилять.

– Хотя бы... Отнюдь не чуюсь вашей мысли. Только – мнится мне – самодержавные права будущей повелительницы надлежит ограничить.

– А как именно? – и гетман, сморщив гладкий подбородок, развел руками. – Это неудобь-имверное дело зело хлопотливо и гораздо сложно.

Панин соорудил недовольную мину.

Чтоб пояснить свои мысли, гетман сказал:

– Орловы там, с матушкой-то. Гвардия... о? – и поднял палец.

– Вы – тоже гвардия! – воскликнул Панин. – Вы ж гвардии Измайловского полка полковник.

– Який бис! – воскликнул и гетман, горько усмехаясь. Сей день – полковник, а завтра – покойник... Ха! Каша заваривается крутая... А говорится: не круто начинай, да круто кончай.

Панин с искренней дрожью в голосе сказал:

– Мне близки интересы моего воспитанника цесаревича Павла Петровича, коего я люблю паче сына. Мальчик одаренный, острый, и сердце его в руке Божией, – и чувствительный Панин слегка прослезился. – Когда я говорил о нем как о будущем государе, Екатерина Алексеевна, видя, что ее собираются низвести до роли регентши, изволила жаловаться

на свое несчастное положение. Она даже всплакнула при сем, чем и сделала в душе моей колебание.

– Ну, слеза у матушки скоро сохнет.

Вельможи снова, лицо в лицо, крепко взялись за руки, снова пытливо глядели друг другу в глаза. «Веришь ли? Не предашь ли?» – мысленно вопрошали один другого. «Верю тебе, не предаю тебя. Верь и ты мне». Оба горячо обнялись. Панин сказал:

– Ежели иного исхода нет, пушай, коли так, матушка садится на престол. Ну что ж... За ней сила, за нами государственный опыт и разум... Попытаем побороться.

Взволнованный гетман вдруг оживился, широко задышал, глаза засверкали. Ударяя в левую ладонь ребром правой, он сердито прошипел:

– А можно о-так, о-так, с Орловыми: Гришу – геть, Алешу – геть, а как император Павел в возраст войдет, матушку такожде – геть!

Панин улыбнулся. Вельможи опять крепко пожали друг другу руки. Долго думали, взвешивали все обстоятельства сложного дела. И все же вопрос о том, кого возводить на престол: мать или сына, – остался не вполне выясненным.

– По моему разумению, – Панин деликатно взял гетмана под руку и пошел с ним к окну, – вы, гетман, всенепременно должны заманить царя в Петербург. К вам царь имеет полный респект, и я чаю, – вы сможете сие сделать.

– Лыщу себя надеждой, что сделаю... Лишь бы мотив был придуман...

– Мотив – поход в Данию, всенародный молебен, парад, что-нибудь в этом роде. А там – видно будет. Арестовать можно в спальне, в постели, ночью. И да поможет нам Бог... – мрачно закончил Панин.

– Бог и... молодцы-гвардейцы! – с бодрой веселостью подхватил гетман.

Спустя два часа Никита Иванович Панин вел такую же беседу с князем Волконским. Казалось, все сулило удачу, Панин мог спокойно ожидать грядущих событий.

Глава XIV

«Сон в летнюю ночь»

1

События развернулись неожиданно и совсем не так, как предполагала сторона Екатерины.

Главный зачинщик придворной трагикомедии был случай.

Исторический маскарад начался случаем внезапным: вечером 27 июня, то есть спустя два дня после свидания Разумовского с Паниным, был арестован капитан Пассек, один из немногих главарей дворцового переворота. Этот случай сразу поставил на ноги всех заговорщиков, в особенности собутыльников Пассека – отчаянных братьев Орловых. Что делать? А ну как Пассек под пыткой откроет все нити заговора? Тогда головы полетят с плеч, как кочны. Тогда, пожалуй, и «матушке» несдобровать. Сначала все растерялись, казалось, ничего приготовлено не было, «случай» застал всех врасплох.

Григорий Орлов в поисках Н. И. Панина примчался к княгине Дашковой, его племяннице. Панин как раз сидел у нее.

– Пассек арестован, – с мужеством заявил Орлов.

Екатерина Дашкова вскочила, схватилась за голову, стала метаться от Панина к Орлову. Лицо ее побелело.

– Успокойтесь, княгинюшка, – спокойно сказал Панин. – Ну арестован. Ну что ж из того? Начудил чего-нибудь по службе, вот и посадили...

– О, если б так! – трагически заламывая руки и в то же время ловя свое изображение в настенном зеркале, восклицала Дашкова. – Нет, дядя, ошибаетесь, Пассек арестован по приказу государя. Он на допросе может всех нас выдать с головой! Григорий Григорьевич... Пришло время немедля начинать восстание.

– Друг мой, – перебил ее Панин и принялся резонерствовать: – Я считаю вас за пламенную патриотку. Вы, знаю, чужды личных, честолюбивых расчетов. Но... Какое восстание? Надо сперва все толком разузнать, взвесить обстоятельства, а не с бухты-барахты. Во-первых, за что арестован Пассек, во-вторых, каково настроение на сей день в гвардейских полках...

– Настроение крепкое, – в свою очередь перебил Панина Григорий Орлов. Он стоял возле секретера, откинув назад красивую голову, и время от времени хитрым прищуром насмешливо взглядывал в сторону хозяйки. – Солдаты молодцы. Давно готовы. Да вот вам: я только что повстречал унтер-офицера Гаврилу Державина. У него из-под подушки деньги хапнули в казарме. Он выбежал ловить вора, глядит: кучка солдат его полка горланит во дворе: «Пусть только наш полк выйдет в поход в Данию, мы кой-кого спросим, куда нас ведут... Не пойдем... Мы нашу матушку не оставим, мы рады служить ей!» Таких казусов хоть отбавляй...

Дашкова звонко, как ребенок, засмеялась, забила в ладоши:

– Браво, браво! Слышите, Никита Иванович, слышите?... Ах вы, телепень! Ну, до чего же, дядечка, вы медлительный. Кунктатор вы! Больше огня, дядечка... Надо действовать!

Панин поморщился и, прикрывшись рукавом кафтана, аппетитно зевнул.

– В жизни – осмотрительность первое дело, молодая княгинюшка, – сказал и поднялся. – А в политике – хладнокровие первейшее правило.

Он вернулся в Зимний дворец поздно вечером, выпил стакан брусничной воды и сразу же завалился спать. Им все обдуманно до мельчайших подробностей, тайные распоряжения давным-давно сделаны. Теперь можно всхрапнуть.

В тот же час легла спать в Петергофе, в низеньком длинном Монплезире, и царица Екатерина.

Княгине Дашковой вскоре принесли от портного мужской костюм. Стала примерять, вертелась перед зеркалом. Здесь режет, там жмет, шагать непривычно. Разделась, глазки слипались, мужа нет, наскоро помолилась перед образом: «Господи, пошли мне мужество для предстоящего дела. Помоги двум Екатеринам, рабам твоим». Пылкая почитательница Вольтера, она в Бога верила условно, но надвигается момент исключительный, надо напрячь все душевные силы. Легла в постель. Чтоб не разболелась у княгини голова, горничная убрала из спальни большущий букет жасмина, тот, что преподнес Панин.

– Покойной ночи, ваше сиятельство!

– Покойной ночи, Лизетт! Приготовьте мне костюм, ботфорты и плащ. Если кто постучится хоть в самую глухую ночь, сию же минуту будить меня... И скажите в конюшне, чтоб все было наготове.

Утомленная необычайными треволнениями, она вытянулась, тотчас крепко заснула и благополучно проспала все, к чему так страстно стремилась ее романтическая натура.

Молодую Дашкову подняли на ноги уже в новом царствовании.

2

Но гвардейцы в ту ночь не спали.

Не спал в Ораниенбауме и царь Петр.

Он еще утром 27-го получил из столицы подробный доклад о том, что молодой офицер Ребиндер обращался к полковнику Будбергу, советуя ему присоединиться со своим полком к гвардии, будто бы решившейся возвести на престол Екатерину; что вчера вечером, 26 июня, простой капрал спрашивал поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора, причем на допросе в полковой канцелярии капрал показал, что об этом же он спрашивал и капитана Пассека, который будто бы прогнал его. Однако в канцелярии лежало известное императору показание некоего солдата, что Пассек еще накануне оскорблял императора поносными словами.

Прочитав этот неприятнейший доклад, Петр вспылil, забежал по кабинету, нервный тик исказил его лицо. Потом он вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и стал выкрикивать в сторону оторопевшего дежурного генерала.

– Трусy! Они там все трусы, все походили с ума. Какой-то офицеришка Ребиндер. Да что он значит? Или дурак капрал... Возвести Екатерину! Ха! А я, а я? Куда же меня? Да что я, пешка, что ли? Трусy! У меня там надежный человек, адъютант Перфильев. Он молчит, значит, все благополучно. Генерал! Выдайте голштинцам по чарке водки. А Пассек немедленно арестовать, арестовать! Вы слышали? Как он смел?! Через час я отправляюсь на охоту... Я им пропишу переворот!.. Трусy!.. Завтра всем двором выезд в гости к государыне императрице. Вот мое повеление ее величеству. – Петр вынул из-за обшлага прусского мундира записку и подал генералу. – Немедля отправить. До свидания, генерал! Ступайте.

Между тем Григорий Орлов выведал: Пассек сидит под караулом на полковом дворе, а его рота, узнав об аресте, сбежалась в боевом вооружении без всякого приказа на ротный плац и, постояв во фронте, нехотя разошлась.

Вернувшись к себе, он встретил дома – черт его дери! – адъютанта Перфильева (глаза и уши государя).

– Ба! Григорий Григорьевич! А я вас давненько поджидаю... Может быть, в картишки перебросимся?

– Ну что ж, давайте... Митька, трубку!..

Началась азартная игра и пьянство. Обескураженный Орлов, как бы подвергнутый в такой ответственный момент домашнему аресту, впал в отчаяние и не знал, как отвязаться от назойливого посетителя. Он хрипел от злости, с ожесточением проигрывал золото, накачивал зловредного гостя водкой.

Гетман Кирилл Разумовский был очень взволнован. От него только что ушел соучастник тайной группы – третий из братьев Орловых – Федор. Гетман немедленно потребовал к себе содержателя типографии Академии наук адъютанта Тауберта и строго-настрого объявил ему:

– Вот что, сокол мой. В подземельях Академии сидят наборщик и печатник при станке; они будут печатать ночью манифест о воцарении ее величества Екатерины. Текст будет передан... Вы должны быть с ними, будете иметь наблюдение за корректурой...

– Ваше сиятельство! – взмолился было Тауберт.

– Ни слова, душенька... Я есть президент Академии, я приказываю вам. Правда, что тут дело о моей и вашей голове, но ведь вы, ангел, знаете обо всем об этом слишком много... Идите... Да хранит вас Бог.

Через несколько часов пришло время Петру Федоровичу спать, Екатерине – бодрствовать.

3

В третьем часу северной белой ночи рысцой бежала четверка крепких коней, впряженных в обыкновенную ямскую карету. Два молодых путника, Алексей Орлов и Василий

Ильич Бибилов, не изнуря лошадей, подвигались к Петергофу. Перед отъездом из столицы они обменялись заряженными пистолетами и братски обняли друг друга. Алексей Орлов сказал:

– В случае неудачи, ты поразишь меня, а я тебя. Сразу!

– Клянусь, Алеша, – ответил Бибилов.

Увеселительный домик Монплезира, где почивала Екатерина, никем не охранялся: ни часовых, ни дворника. На зеленой луговине пасся на привязи рыжий теленок. В цветнике кралась к чирикавшей птичке серая кошка. Орлов швырнул в нее камнем и вошел во дворец. Весь дом спал. В уборной лежало парадное платье Екатерины, завтра высочайший, в присутствии Петра, торжественный обед. Орлов с благоговеньем поклонился платью и обошел его на цыпочках.

– Государыня, государыня, встаньте, – будила спящую камер-фрейлина Екатерина Ивановна Шаргородская.

Екатерина вздрогнула и, как на пружинах, приподнялась. Спутанные темно-каштановые волосы в папильотках, чепец съехал на ухо, в темно-голубых, вялых от сна глазах удивление.

– Ваше величество, в соседней горнице Алексей Григорьевич Орлов.

– Орлов?!

Из-за двери раздалось:

– Государыня, пора вставать! Все готово к вашему провозглашению.

Екатерина, сбросив одеяло, вскочила:

– Гребень!.. Волосы!.. Стакан воды! Смочите губку... – взгляд ее упал на бронзовые часы под колпаком: пять утра.

Камер-фрейлина отдернула шторы, распахнула окно. Ворвался ранний, розоватый свет и запах утренней прохлады.

Орлов, находившийся в соседней со спальней комнате, изрядно волновался, колотилось сердце, пересохло во рту, хотелось дернуть стаканчик водки. На мавританском столике в хрустальной вазе в виде лебедя крупная петергофская земляника. Он поддел горсть прохладных ягод и торопливо отправил в рот. Прожевывая и с опасением поглядывая на дверь в спальню государыни, с возмущением он вспомнил, что царь запретил садовникам выдавать к столу императрицы любимые ею фрукты. Горничная покупала их у местного огородника Желонкина. «Ладно, ладно... скоро сочтемся, царек!» – злобно прошептал Орлов и вынул белый носовой платок, чтоб вытереть запачканную красным соком руку, но – передумал, вытер об испод мягкого кресла, потом уж о платок.

Постучав в дверь, он загремел:

– Не медлите, ваше величество!.. Все готово, гвардия с нетерпением ждет. Торопитесь, государыня!

Спальня наполнилась звуками суетливости, выкриками, шепотом. Наспех отерев лицо ароматным спиртом, Екатерина, полуодетая, заканчивая туалет на ходу, выпорхнула к великану Орлову.

В этой дворцовой комнатке-шкатулке он был очень громоздок, едва не касался головой потолка. Мрачный, он вдруг весь просиял, будто вошедшая миниатюрная женщина в обычном черном платье была лучезарным солнцем; быстро, с особым жаром поцеловал протянутую руку и побежал вперед по тропинкам пустынного в эту минуту парка. Следом за ним – Екатерина, горничная Шаргородская и только что одевшийся камер-лакей Шкурин. Все они торопливо, вприпрыжку спешили за Орловым.

Всходило солнце. Екатерина с горничной сели в карету. Шкурин с офицером Бибиловым стали на запятки, Орлов примостился с кучером, и кони понеслись.

Екатерина чувствовала себя прекрасно.

– Похищение сабинянок, – улыбаясь, сказала она. – Или «Сон в летнюю ночь...». Вы не находите?

– Да, да, государыня, – откликнулась Шаргородская. – Прямо-таки Шехерезада... Ах, у вас в волосах папилюточка торчит.

– Где? – Екатерина откинула с головы испанскую кружевную шаль. – Выньте... Боже, у меня спустился чулок. Мы забыли подвязку, – и Екатерина, натягивая на белоснежную ногу чулок, нервно смеялась.

Улыбался и Орлов: подвязка государыни лежала у него в кармане. «Ни за что не отдам... На груди буду носить, у сердца», – думал он и покрикивал долгобородому кучеру:

– Не жалей, борода! Дери! Шпарь!

Ранние встречные, сидящие на подводах, не знали, кто едет в закрытой карете, но, чтоб не получить плетью по спине, на всякий случай снимали шапки.

Екатерина приподняла шторку, высунула голову из окна и вдруг закричала:

– Мишель! Мишель!

Сухощавый француз-парикмахер, большой лоботряс и бабник, переночевавший у очередной хорошенькой горничной из барской дачи, спешил к Петергофу во дворец, чтобы загодя сделать императрице туалет: ведь сегодня она ждет высокого гостя из Ораниенбаума, самого Петра. Как только его окликнули, он вскинул взор и обмер: в карете государыня, на запятках люди... впереди офицер.

«О мон Дье! – в страхе подумал он, всплеснув руками. – Государыня арестована».

– Следуйте, Мишель, за мной.

Не помня себя, путаясь в серой накидке, он едва взгромоздился на запятки между Бибиковым и Шкуриным, сразу побледнел, стал дрожать, стал стучать зубами, силы покидали его. «О мон Дье... – невнятно выборматывал он, – государыню отправляют в Сибирь... И я попал...» Умоляюще он взглянул на Бибикова. Но молодой офицер, сразу оценив душевное состояние несчастного Мишеля, с притворной грустью подмигнул в задок закрытой кареты, где помещалась государыня, и ребром ладони рубанул себя по загривку.

– Финир...

Изнеженный француз ахнул и едва не упал с запяток.

– Погоняй, погоняй, борода! – покрикивал Орлов.

Становилось жарко. Взмокшие лошади выбивались из сил, роняли в пыль белую пену из оскаленных ртов, храпели.

Навстречу – здоровенный крестьянин на возу сена, лошадь добрая, видать – господская.

– Мужик, стой! – крикнул Орлов, соскочил с козел и начал выпрягать лошадь крестьянина.

Рыжебородый тоже спрыгнул с воза, толкнул Орлова. Тот, озлившись, швырнул крестьянина в канаву. Пострадавший, непотребно ругаясь, вылез из канавы и побежал к изгороди выломать хорошую жердину. Но быстрый Орлов успел уже перепрячь лошадей, оставив крестьянину свою усталую пристяжку. Поехали дальше.

Вдоль дороги попадались нарядные, все в зелени дворцы столичной знати, и очень близко голубело тихое море, сновали рыбацьи челны, над горизонтом кучились белые грозовые облака.

Кони вздымали тучи пыли, едкая пыль проникала и в карету. Екатерина принялась чихать. Веселое и бодрое настроение ее исчезло, оно сменилось минутами удручающего раздумья. В неверных, быстро ускользающих мыслях то мелькали держава со скипетром и алмазная корона, то плаха и топор. Она нервно передергивала плечами, она не узнавала себя. Куда девалось ее мужество? Ей нужна сейчас чья-то сильная поддержка, иначе она разрыдается и прикажет повернуть лошадей обратно...

Вдруг: «Сто-о-й!» – и четверня остановилась. Кто-то рванул в карете дверцу. Екатерина ахнула, из глаз ее полились слезы. Богатырские руки Григория Григорьевича Орлова подхватили ее и поставили на землю. Коленопреклоненный Орлов поцеловал ее руку.

– Ваше величество, почтительнейше прошу вас в мой экипаж...

Рядом – грудь вперед, обнаженная шпага на караул – замер князь Федор Баратынский. Екатерина с обольщающей сквозь слезы улыбкой кивнула ему головой и, вся пропыленная, села в открытую простенькую коляску рядом с Григорием Орловым.

Кони дружно взяли, понеслись мимо «Красного кабачка» в столицу.

– Гришенька, Гриша, – взволнованно и благодарно шептала Екатерина, слегка прижимаясь к близкому своему другу.

– Государыня, свет мой... Дела блестящи... Измайловцы ждут ваше величество.

От Григория Орлова изрядно пахло сиводралом, большие глаза его утомлены, мутны от бессонницы. Он всю ночь не мог отвязаться от Перфильева, продул ему в карты много денег, оба дебоширили, кутили до зари; наконец пьяный Перфильев, промямлив: «Под столом увидимся», свалился на пол и захрапел.

В деревне Калинкиной, в черте столицы, начались слободы Измайловского полка. Григорий Орлов соскочил с сиденья и сломя голову побежал вперед. Лошади шагом подвигались к полковой кордегардии.

У ворот стоял на часах восемнадцатилетний солдат Николай Новиков, два года тому назад исключенный из московской гимназии «за нехождение в классы и лень». Новиков вскинул голову, сделал артикул ружьем, Екатерина милостиво ему улыбнулась. Она не ведала, что, много лет спустя, ей доведется лить слезы досады и горечи от остро-славного пера возмужавшего Новикова.

Барабан резко забил тревогу. Из казарм выбегали, одеваясь на ходу, солдаты. Пересекая плац, бежал к Орлову офицер. Горнист, надув щеки, заиграл в трубу, дробь барабана участилась.

Было восемь часов утра.

Екатерина вышла из коляски.

4

Уж не этот ли гул барабана и боевой клич трубы разбудили императора? Петр вскочил, свесив с кровати ноги.

– Фу... Я застрелил утку. Где она? Какой глупый сон... Гудович!

Вбежал лакей Митрич, вскоре за ним полуодетый генерал-адъютант Гудович.

– Станный сон, господа, – рассуждал император, подобрав левую ногу и колуя мозоль. – Представьте, кошка... Глаза желтые, злые, сама черная. Хорошо это или плохо? Митрич, как?

– Да как, ваше величество, – замялся бородатый, тугой на мысли лакей. – Конечно, ежели мужику-дураку приснится кошка, либо бабе дурашливой, это, верно, к худу. Ну а ежели особе священной, вроде вас, ваше величество, то кошка во сне обозначает... это самое... как сказать... – Он усмотрел чрез окно сгущавшиеся облака и брякнул: – Кошка к грому императорам снится, к грозе!.. Я этак слыхивал... – Митрич покашлял в ладонь, осторожно покосился на Петра, отошел на цыпочках в уголок и стал там трясти царские штаны.

– Она подкрадывалась к моей короне, это презренное животное. Я в нее выстрелил и... представьте – не кошка, а утка.

– Ах, утка? Так бы и сказали, ваше величество, – отозвался Митрич и еще раз встряхнул штанами. – Одно дело утка, а другое дело кошка. Утка от кошки или, допустим, от кота штука завсегда отменная. Ежели жареная утка, это к хорошему...

– Живая, живая! – раздраженно вскрикнул Петр и показал лакею язык.

– А живая утка – того лучше, ваше величество. Значит – пир на весь мир, фиверки, музыка...

– Глупый сон, глупый сон, глупый, глупый, – зачастил Петр, – у меня еще нет короны, нет... Какая корона? Митрич, умываться! Который час? Восемь? Пиротехники посланы в Петергоф?

– Два дня тому назад, государь, – ответил генерал-адъютант.

– Гудович, прикажите доставить сюда Пассека! Я его лично высеку плетью и ущемлю ему язык... Впрочем, нет... После праздников. После, после.

Петр был сегодня особенно бодр и свеж. Кофе он пил один, на ходу. Елизавета Романовна да и многие во дворце еще почивали. Он спустился с холма, где дворец, вышел на берег к пристани. Пред ним за нешироким морским пространством виднелся Кронштадт с крепостным валом. Возле укрепленного острова стоял, ожидая приказа императора, вооруженный флот.

А там, где-то далеко, за пределами Кронштадта, вправо или влево, Петр не знал точно, лежала ненавистная Дания. Да, да, Петр бросит на датчан весь свой флот, он лично поведет сушей свои несокрушимые полки, он растопчет гадину, он вернет извечно принадлежавшие милой Голштинии земли. Он возвратится победоносным триумфатором на золотой колеснице, весь осиянный славою, путь его будет усеян розами.

Берегись тогда, коварная Екатерина!

...К Екатерине кинулись измайловцы, стали целовать руки, платье, называть ее – «избавительница, матушка». Кричали: «Веди! Все за тебя умрем!» Они негодовали на Петра и были польщены тем, что государыня явилась к ним, простым солдатам, искать защиты. Ходили слухи, будто бы Григорий Орлов обещал: «Не подгадь, молодцы, а уж винца похлебам вдосыт».

Радостные возгласы «ура» чередовались с криками: «Да здравствует матушка Екатерина!» А куча росла и росла, измайловцев становилось густо. Крупные, сильные, они взирали на невысокую, с лучистыми глазами темноволосую красавицу, как на икону.

– Расступись! – загремел голос Григория Орлова.

И сразу просека – в людском лесу. По просеке приближался с крестом и Евангелием полковой священник Алексей Михайлов. Старый, он не мог быстро переставлять ноги, его волокли под руки двое бравых великанов. Прискакал на громадном жеребце сам полковник Измайловского полка, гетман Кирилл Разумовский. Он опустился на колени и, прослезившись, поцеловал руку царицы.

Под открытым небом началась первая присяга на верность новой повелительнице – Екатерине II. И снова крики «ура».

Отныне в России три самодержавных повелителя: двое властвуют, третий – за решеткой.

Екатерина вновь садится в коляску (на облучке рядом с кучером – седовласый отец Алексей в эпитрахили, с крестом в руках; сбоку на своем скакуне – гетман Разумовский), и, окруженная орущей толпой измайловских офицеров и солдат, благодарно улыбаясь и раскланиваясь, она едет в Семеновский полк. От оглушительного рева: «Да здравствует Екатерина!» – казалось, дрогнула и уплыла в вечность тень императора Петра Федоровича III.

5

Весть о необычайном событии быстро облетела все полки. Братья Орловы порхали на рысистых конях по всему Петербургу. Их курьеры и посыльные скакали из дворца к Панину,

к Волконскому. От Панина неслись его гонцы в Сенат, в Синод, к воинственной княгине Дашковой, которая все еще сладко почивала.

Вскоре всполошился весь пробудившийся город. Измайловцы, семеновцы, часть преобразенцев спешили от казарм к Невской перспективе.

Горожане и солдаты бежали по Литейной, Садовой, переулкам и улицам, направляясь к Зимнему дворцу. По Невской перспективе люди шли густой беспорядочной массой, весело шумели, переговаривались, до хрипоты кричали «ура». Торговцы запирали лавки, присоединялись к публике.

За наследником Павлом был послан полковник Мелиссино. Никита Иванович Панин разбудил сладко почивавшего мальчика. Медлить некогда, и полуодетого Павла везут в открытом экипаже в Казанский собор к присяге. Он крайне встревожен, он не может понять, к чему такая торопливость. До него долетали странные слухи о каких-то назревающих в придворной жизни событиях. И вот сейчас, сидя рядом с Никитой Ивановичем в быстро мчавшемся экипаже, окруженном эскортом скачущих всадников, мальчик с тоской и страхом озирается на шумные толпы спешивших горожан, и его сердце замирало. Он перевел вопросительный взор на замкнутое, обычно ласковое, а в эту минуту суровое лицо своего воспитателя, и умоляющие глаза его вдруг наполнились слезами.

– Никита Иваныч! Что стряслось? Это куда мы едем? Почему народ кричит?

– Успокойтесь, успокойтесь, ваше высочество. Ничего страшного. Вы мужчина. Клики народные от ликования. Народ течет к Казанской церкви. И мы туда же поспешаем, дабы учинить присягу новой государыне, всеблаготворительнице вашей.

– Новой государыне? А где же родитель мой? – закартавил наследник. – Что... что... с ним? – Он заплакал, стыдливо прикрывая лицо рукавом голубого, накинутого на плечи кафтана.

Чувствительный Панин со всей нежностью обнял наследника, поцеловал его в непричесанную голову и, выхватив кружевной платок, стал бережно вытирать увлажненные слезами глаза и ланиты мальчика.

– Бодритесь, ваше высочество. На вас верные войска и ваш верноподданный народ взирают.

Процессия с Екатериной, выехав с Садовой, двигалась среди толпищ по Невской перспективе. Вдруг показались на рысях стройные эскадроны конногвардейского полка. С неистовыми криками «ура» они тоже присоединились к Екатерине. Окруженная со всех сторон гвардейскими полками процессия остановилась у Казанского собора²². Загудел-залился малиновый трезвон колоколов. После краткого в соборе молебна с многолетием «самодержице Екатерине II и наследнику цесаревичу Павлу Петровичу» императрица вступила в Зимний дворец. Было около десяти часов утра.

Глава XV

Переполох. Екатерина оседлала коня и Россию. Кронштадт зарядил пушки картечью

1

А в одиннадцать часов кончался обычный высочайший развод голштинским войскам. При появлении Елизаветы Романовны голштинские знамена склонились, как перед императрицей. Петр просиял, поздравил войска с чаркой водки.

²² В то время церковь Рождества Богородицы. – В. III.

После развода были поданы кареты, коляски, линейки.

Царь пригласил гостей ехать в Петергоф, чтоб накануне Петрова дня присутствовать при большом обеде в Монплезире у ее величества императрицы, а вечером принести государю поздравление с наступающим днем ангела и быть за ужиным столом.

В парадной открытой коляске Петр поместился вместе с Елизаветой Воронцовой, прусским министром Гольцом и тремя молодыми дамами. Елизавета Воронцова со звездой на красной муаровой через плечо ленте – орден св. Екатерины. Все сопровождающие Петра вельможи и сам Петр ехали запросто, без особых регалий, Елизавета же напялила на себя ленту с единственной целью унижить соперницу свою – императрицу.

Коляску государя конвоировал блестящий отряд гусаров. Экипажи один за другим катили по дороге, гладкой и влажной от недавно пробрызнувшего дождика. Прусский министр Гольц был сегодня не в духе. Да и вообще вся эта большая канитель при дворе маленького императора не предвещала ничего хорошего ни карьере Гольца, ни его родине.

– Вы знаете, господин министр, – начал Петр, – к чему может присниться жареная курица? Я видел сегодня сон.

– Курица не знаю, – ответил Гольц, сидевший против государя, – а жареный, поющий ку-ку-ре-ку петух всегда снится к отменной выпивке, ваше величество.

Дамы рассмеялись. Царь сказал:

– Вы правы, господин министр. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мои пиротехники устроят нам блистательный фейерверк. Я приказал отпустить сто двадцать пудов пороха. Ночью катанье на иллюминированных шлюпках. Я прикажу подать в Петергоф весь флот. – Он стал гримасничать, кривляться, царственной рукой благосклонно коснулся коленки графини Брюс и сказал: – На вас, графиня, ораниенбаумский воздух действует великолепно: ваши щечки стали алеть, и, когда вы улыбаетесь, на них появляются восхитительные ямочки.

Красивая графиня смутилась, чрез румяна и пудру сразу выступил натуральный румянец, засмеялась в нос, заглянула в серебряное зеркальце.

– Ах, ваше величество, не смущайте свою пленницу, – нараспев сказала она, обнажая в улыбке белизну зубов.

– Пленницу? – с хохотом вскрикнул Петр и подтолкнул Елизавету Воронцову. – Слышала, Романовна? Но милая графиня, пока ваше сердце не завоевано мною, не считайте себя моей пленницей.

– Пред вооруженной силой вашего величества падают не только женские сердца, но даже крепости, – не то льстиво, не то желая обидеть Петра, принудившего ее быть при нем, а не при Екатерине, сказала графиня Брюс и потупила взор.

– За иную обладательницу сердца можно отдать все крепости мира, а в придачу и самую жизнь, – возразил Петр.

– Жизнь владык, ваше величество, увы, принадлежит не им самим, а их подданным, – лукаво заметил Гольц, и в глазах его сверкнули злые огоньки. Фраза явно двусмысленна: и лесть и издевательское застрашивание.

– Ха-ха! Очень хорошо вами, Гольц, сказано: когда жареный петух запоеет ку-ку-ре-ку... Господа, давайте запоем все курицами... Кудях-тах-тах! – замахал он руками, как клуша крыльями, и потешно стал ужиматься и гримасничать (кучер покосился через плечо на дурашливого императора и ухмыльнулся в бородину). – Ну, пойте, пойте же! Медам, господин министр...

Гольц, поддерживая свое достоинство, опять кольнул царя, к которому относился с плохо скрываемым презрением:

– Мой государь Фридрих, узнав, что я пою курицей, боюсь, выразит мне свое неудовольствие.

Царь заморгал правым глазом и резко сказал:

– Если он *ваш* государь, то он *мой* друг! И я сумею защитить вас пред его величеством. Кроме того, смею думать, что против орла вы – курица (Гольц сидел как раз против государя).

Проглотив пилюлю, немец приложил руку к сердцу и почтительно поклонился императору.

...Меж тем в Петергофе поднялся переполох: дворцовому коменданту доложили, что исчезла государыня с камер-фрейлиной, лакеем и парикмахером Мишелем. Обшарили весь парк, беседки, все углы. Пьяненький солдат показал, что когда он, возвращаясь поутру из трактира, перелезал через забор, то видел, как выходили из парка две женщины, а кто такие – не заметил.

Останавливали редких проезжих из Петербурга, но они решительно ничего не знали, да и дорога опустела: экстренным приказом Никиты Панина – по всем дорогам устроены заставы, выезд из Петербурга прекращен.

В это время прискакал в Петергоф генерал-адъютант Гудович. Узнав, в чем дело, он прищипил коня и повернул обратно. Экипаж Петра был в полуверсте от Петергофа. Гудович, подъехав к царю, проговорил:

– Ваше величество, соизвольте остановить коляску.

– Что за глупость! Почему? – крикнул Петр.

Гудович, прыгнув с коня, стал шептать Петру на ухо. Тот побледнел, сказал гостям:

– Пустите меня вон, – затем отошел с Гудовичем в сторону, раздражительно выпрашивал его, крикнул: – Этого не может быть, не может быть! Она не могла послушаться моего повеления ждать меня сегодня... Романовна и вы, господа, – обратился он к гостям, – прогуляйтесь до дворца пешком, тут близко, – вскочил в коляску и во весь дух помчался ко дворцу.

Оставшиеся недоуменно пожимали плечами. Елизавета Романовна, предчувствуя что-то недоброе, начала похныкивать. Все шло молча.

Петр с Гудовичем обшарили весь большой дворец и Монплеизир. Петр, дав поблажку своей ярости, сошвырнул с кресла бальное платье Екатерины, поддел его ногой. Грохнул об пол вазу с земляникой, хрустальный лебедь – вдребезги. В спальне беспорядок, кровать прикрыта кое-как, рассыпана пудра, пролита вода. Петр, скрипя зубами, пошарил тростью под кроватью, заглянул в шкафы. Весь опустошенный гневом, выбежал на воздух и, переводя сердитое дыхание, крикнул подоспевшим Романовне и дамам:

– Ну, не говорил ли я, что она способна на все!

Тут подволокли к Петру пойманного на дороге плюгавенького подвыпившего мужичонку. Козлобородый, оборванный, со слюнявым ртом, повалился Петру в ноги. От него изрядно несло сивухой и чесноком. Петр брезгливо подернул носом и отступил на шаг. Мужик забормотал:

– Вот меня сгребли, а за что сгребли, не ведаю. А выехал я к куму в гости, кум в Раибове²³ служит, конюшни твоей милости царские чистит. Завтра Петры-Павлы, завтра именник он, кум-то мой... А солдаты на заставе не пускают: «Куды прешь, не велено!..» Я упротосил, укланял. А ты, светлый царь-государь, не печалуйся, жива-целехонька царица-то, в Питере она. И в Питере, слава-то Христу, все благополучно. Солдатни стоит возле Казанской церкви видимо-невидимо, «ура» кричат.

Петр позеленел, бросил в него перчаткой:

– Дурак! Арестовать его!.. Мушик... Вонючая скотина... В палки его!.. Заковать!.. Сослать в Сибирь! – Петр гримасничал, бегал взад-вперед по дорожке, дергал головой.

– Ваше величество, – пред царем вытянулся в струнку высокий, опрятно одетый в простую чуйку человек и, встав на колени, подал Петру записку: – От его высочества принца Голштинского Георга... Я его переряженный слуга, зипун надел.

²³ Ораниенбаум в просторечии Раибов. – В. III.

Петр схватил записку, быстро пробежал ее, закрыл глаза и покачулся. Овладев собой, упавшим голосом проговорил:

– Послушайте, послушайте, что пишет мой Жорж...

Миних, Гудович, Трубецкой, принц Петр Голштейн-Бекский, все общество посунулось к опечаленному императору, окружило его. Он, задыхаясь, тихо прочел:

«Гвардейские полки взбунтовались: императрица впереди, бьет девять часов, она идет в Казанскую церковь; кажется, весь народ вовлечен в это движение. И где ж твои подданные? Где верные войска? Тороплюсь писать. Опасаюсь сам лишиться жизни. Поспешай...»

– Ну, вот теперь видите, господа, что я был прав. Она низкая дрянь...

Пораженные этой грозной новостью, все опустили головы. Все верили в успех Екатерины. Всем угрожали немилости нового царствования, опала. Елизавета Романовна поднесла к лицу платок. У тучного Трубецкого начались непорядки с животом, он надолго куда-то скрылся. У принца Петра стала неметь и плохо слушаться левая нога.

Утомленный, обескураженный Петр пошел с Гольцем, Романом Воронцовым, Волковым, Гудовичем и Нарышкиным в нижний сад, к каналу. Остальные гости бродили, как тени, возле дворца, сидели на решетке, обдумывали в молчании, как бы лучше ускользнуть в лагерь Екатерины. Ни солнечный день, ни пенье птиц не радовали их.

На Петра сыпались умные и глупые советы. Гольц предлагал немедленно бежать в Нарву, к войскам, идущим в действующую армию. Волков считал необходимым с небольшой свитой явиться государю лично в Петербург.

– Вы, ваше величество, укажете войскам и народу на свои священные права, на свое высокое происхождение – вы внук великого Петра, расспросите народ о нуждах, дадите милостивое обещание...

Кто-то предлагал бежать прямо в Голштинию. Униженный пред своими подданными, нерешительный, раздавленный событиями, Петр отвергал советы, либо соглашался с ними и снова отвергал.

2

Екатерина в это время торжественно восседала в тронном зале Зимнего дворца. Присягали Сенат, Синод, члены высших государственных учреждений, генералы, офицеры.

Двадцать тысяч войск всех видов оружия стояли в боевом порядке возле дворца, охраняя государыню. Они тоже все были приведены к присяге. Двери дворца – настежь, входил, кто хотел, всякому лестно взглянуть на царицу, поцеловать ей руку. Опьяненная дурманом власти, она всем улыбалась, говорила ласковые слова, всех благодарила. И без того румяные щеки ее горели. Чрезмерно взволнованная, как бы приподнятая над жизнью напором необычайных событий, она до краев преисполнена была высшей патетикой, кровь в ней бурлила, мозг горел, потерявшие сон глаза метали лихорадочные искры. Все преклонялись пред ней. Она чувствовала себя обожествленной, кружилась голова, захватывало дух, словно на неокрепших еще крыльях она совершала опасный полет над пропастью.

Панин примчал из Казанского собора малолетнего цесаревича Павла Петровича, одетого небрежно, наспех. Екатерина с балкона показала его войскам и публике.

Всматриваясь с балкона в несметные полчища солдат и любопытной толпы, швырявшей вверх шапки, вслушиваясь в неистово-радостный рев десятков тысяч глоток, она вдруг, со всей наивностью, поверила в истинную любовь к себе народа. Окруженная генералитетом, взволнованная до последней кровинки и вся сияющая, она возвращается под неумолчный рев толпы обратно в тронный зал и, еле сдерживая счастливые слезы, шепчет Панину:

– Слышите, Никита Иванович? Это вам не дворцовый переворот, когда Елизавету посадила на престол какая-то рота лейбкомпанцев. Слышите? Меня венчает на царство народ...

Бывалый царедворец иронически подумал: «Этот же самый народ умеет и по-иному покричать, от этого крика может и не поздоровиться». Но, соблюдая торжественность минуты и гордо вышагивая рядом с самодержицей, он громко молвил:

– Все предвещает, государыня, счастливейший путь вашего царствования.

Всюду разъезжали герольды, красавцы-всадники с перьями на шляпах, раздавали манифесты о восшествии на престол Екатерины. Люди с жадностью набрасывались на свежепечатные листы, но ничего не могли понять. А где же император Петр? Жив или помер? Почто про него в манифесте ни слова, ни полслова?

Меж тем по городу еще с утра ходили кем-то распускаемые слухи, что император упал с лошади и разбился насмерть.

3

Петр все еще бодрился. Он петухом шагал на негнущихся ногах взад-вперед возле цветочной клумбы пышного петергофского парка, выборматывал никому не страшные угрозы, гневно сшибал тросточкой цветы. Из толпы генералов выдвинулся канцлер М. Л. Воронцов.

– Разрешите мне, государь, поехать в Петербург. Я имею силу над умами народа и императрицы. Я пушу в ход все свое красноречие, весь свой авторитет, я урезоню императрицу, указав ей на всю неблаговидность ее поступка.

– Пожалуйста, граф. И тотчас возвращайтесь ко мне.

– Сочту священным долгом, государь.

– И передайте ей, что она будет повешена, как крыса! – Он обнял Воронцова, и карета с гербом унесла канцлера в столицу.

А вслед за ним были посланы уже самим Петром князь Трубецкой и граф Шувалов с повелением удержать гвардию в повиновении. Царь сказал им, что, если они сумеют поразить узурпаторшу кинжалом, имена их будут для него незабвенны.

– Гудович! Потрудитесь тотчас составить приказ верным моим голштинцам. Без промедления чтоб спешили из Ораниенбаума сюда со всей артиллерией...

Он вдруг стал бегать, подобно помешанному, часто просил пить, кричал: «Стол, два стола, бумаги!» Диктовал приказы: гусарам ездить по всем дорогам к Петербургу, сгонять сюда из соседних деревень крестьян с топорами и лопатами, задерживать проходящие полки, привлекать их к Петергофу обещанием от государя милостей.

В Кронштадт был послан полковник Неелов с указом переправить в Петергоф три тысячи солдат с боевыми патронами.

Угнетенное состояние Петра сменилось вспышкой суетливой деятельности. Он искал Гольца взглядом, прусского министра близко не было. Тогда он сбросил с себя прусский мундир с прусской лентой и велел лакеям облечь его в мундир русский и возложить все знаки отличия Российской империи.

Придворные и четыре писца переписывали именные указы, царь подписывал их на ходу, где-нибудь на парапете шлюза. Гусары развозили их. Но в его противоречивых повелениях не было ни логики, ни зрелой мысли. Впрочем, указы Петра теперь никому не нужны, их никто не будет читать.

– Пить, пить! – требовал он.

Ему принесли воду, наливку, пиво, но пил он только московский, с изюмом, квас, не касаясь до хмельного. Он принялся сам строчить безграмотные, на русском языке, манифесты, преисполненные ругательствами по адресу Екатерины. Писал, разрывал их на части и, наконец, засадил писать тайного секретаря Д. В. Волкова. А сам, встав в позу, грозно указывая на петергофские высоты, закричал так пронзительно, что все вскочили:

– Рыть в зверинце траншеи!.. Редуты!.. Ставить пушки... Трусы! Я сам буду командовать. Я засыплю картечью, ядрами всех ее проклятых янычаров вместе с ней. Я всем им устрою здесь хорошую могилу!..

– Государь, – твердой походкой приблизился к нему по кленовой аллее престарелый Миних. Он лелеял тайную мечту, что пришло время снова ему выдвинуться в первые ряды вельмож и снова стать, как при царице Анне, обладателем власти. – Государь, больше спокойствия, и – престол ваш будет спасен.

Опустошенный Петр вперил большие, детски-наивные глаза в сурового старика, опустил по швам обессилевшие руки.

Крупный, крепкий Миних, хмуря брови, взял хилого Петра под руку и повел по кленовой аллее прочь от людей.

Многие из оставшихся вельмож стали подумывать о бегстве в лагерь государыни, положение всех их было очень незавидное.

– Слушайте меня, великий государь, внимательно, – каким-то лающим, с удушьем, голосом начал Миних. – Чрез несколько часов ваша супруга может оказаться здесь с двадцатитысячным войском и сильной артиллерией... (Петр боднул головой, захлопал глазами.) Поверьте мне, старому вояке, что ни Петергоф, где мы находимся, ни окрестности не могут против превосходных сил удержаться более двадцати минут. А я знаю скотство русского солдата: ваше слабое сопротивление кончится тем, что озлобленные солдаты убьют вас, а окружающих ваше величество тоже убьют!

Петр резко отстранился от Миниха, задержал головой, заморгал правым глазом и сердито прошептал:

– Что вы говорите, фельдмаршал... Я не узнаю вас.

Фельдмаршал пожал плечами, в его строгих, под нависшими бровями, глазах – едва уловимые искры презрения. Несколько мгновений смотрели друг другу в лицо. Широко открытые глаза Петра вдруг испугались.

– Так что же нам делать, фельдмаршал? – растерянно спросил он.

Миних вновь взял его под руку, опять повел в глубь кленовой аллеи.

– Прежде всего, мой государь, спокойствие духа. Вы ж закаленный воин, вы ж друг великого Фридриха.

– О да! – не поняв насмешки, напыщенно воскликнул Петр, выпятил, как индюк, грудь и проткнул тростью воздух. – Дальше, фельдмаршал...

– Спасение ваше, государь, в Кронштадте: там снаряженный флот и верный гарнизон. Счастье переменчиво. Лишь бы выиграть один день. И все это ночное бунтарство в столице само собой иссякнет. А ежели б и продолжалось оно, то на вашей стороне, государь, будут грозные силы, которые могут заставить трепетать восставший Петербург... Тр-ре-петать! – с треском произнес Миних и погрозил в сторону столицы.

Петр вырвался от Миниха, как с привязи щенок, и, помахивая тросточкой, помчался к толпе придворных с криком:

– Господа, мы спасены!

В Кронштадт немедленно отплыл на шлюпке генерал голштинского отряда Девьер и князь Иван Сергеевич Барятинский с высочайшим повелением приготовить крепость к приятию государя. А первый приказ о присылке в Петергоф военной силы в три тысячи штыков – отменить.

Из Ораниенбаума подошли тем временем с развернутыми знаменами голштинские войска и небольшие русские части. Одушевленный их приходом и советами фельдмаршала, Петр впал в воинственное настроение. Велел привести отряд в боевой порядок, а свите запальчиво сказал:

– Мне не подобает бежать, не сразившись с неприятелем. И вы все трусы, трусы! И Миних трус.

Приказал войскам занимать высоты в зверинце, рыть окопы, выставить все пушки. От Петра утаили, что у артиллерии ядер очень мало, а картечи вовсе нет. Общее командование голштинским отрядом и русскими частями Петр поручил своему любимцу генерал-майору Измайлову.

– Михайло Львович, я тебя почитаю своим другом. Будешь ли верен мне?

– Буду, государь.

– Клянешься ли?

– Клянусь!..

Было четыре часа дня.

4

В этот час у Зимнего дворца начался маскарад с переодеванием: каптенармусы привезли в особых фурах старые елизаветинские мундиры; солдаты срывали с себя ненавистную прусскую форму, бросали каски, облачались в прежнее обмундирование.

Выйдя из Зимнего еще недостроенного дворца, чтоб перебраться в Елизаветинский, что у Полицейского моста, Екатерина не узнала своих переодевшихся войск, так же шумно приветствовавших ее.

В Елизаветинском дворце состоялось совещание генералитета: как быть с низложенным Петром и вообще что делать дальше? И опять спешно строчились указы, приказы, имен-ные повеления, опять летели во все стороны гонцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.